

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ АЛДАН-СЕМЕНОВ

ГРОЗА НАД РОССИЕЙ

Повесть о Михаиле Фрунзе

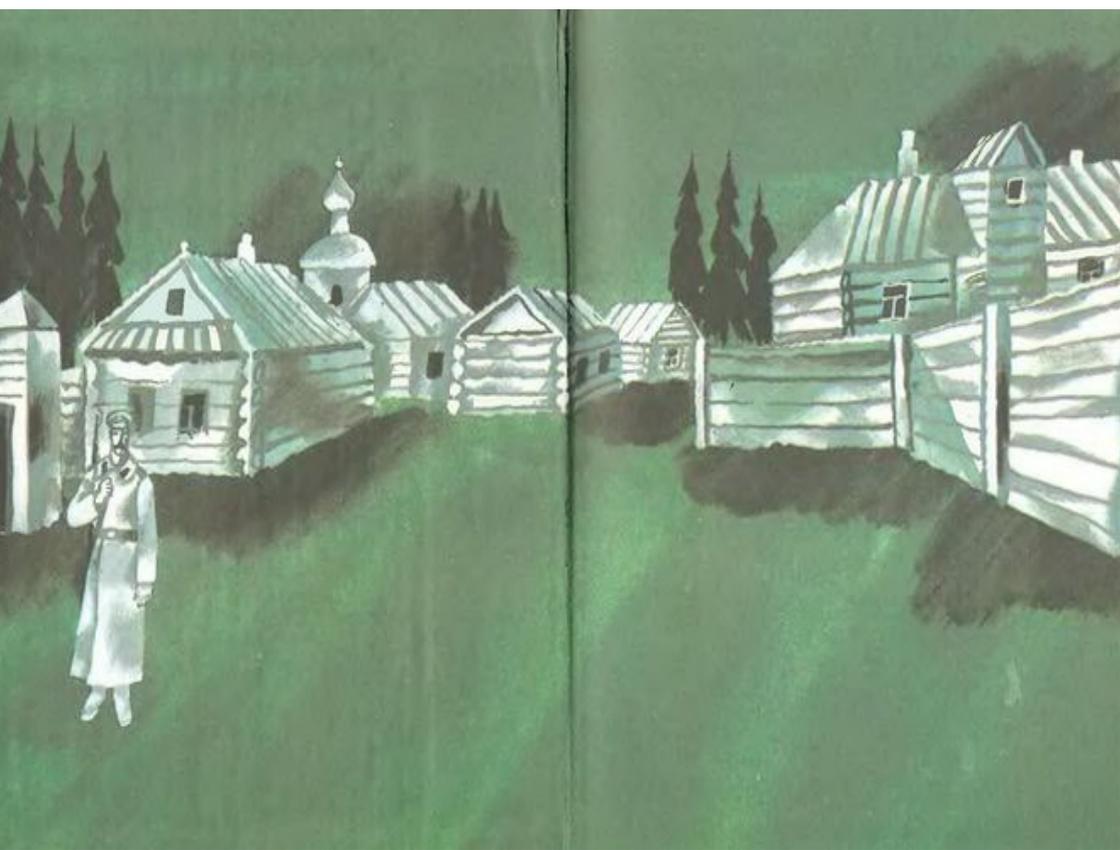
Второе издание

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1984

А. Алдан-Семенов — автор широко известных как у нас в стране, так и за рубежом революционно-исторических романов «Красные и белые» и «На краю океана». Повесть «Гроза над Россией» посвящена жизни и деятельности Михаила Васильевича Фрунзе. Революционер-большевик, государственный деятель, непобедимый полководец, сердечный человек — таким предстает Фрунзе в этой повести. Книга, получившая широкий отклик читателей и прессы, выходит вторым изданием.

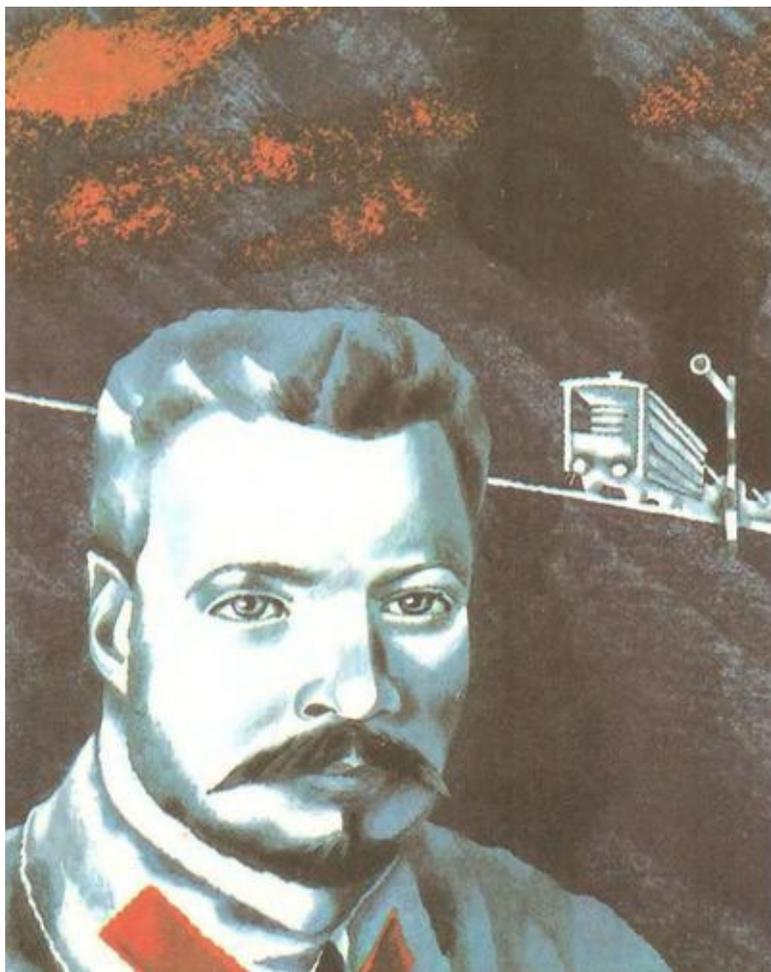
Алдан-Семенов А. И. Гроза над Россией: повесть о Михаиле Фрунзе. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1984. — 414 с.: ил. — (Пламенные революционеры).



КНИГА ПЕРВАЯ

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.*

Тютчев



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Солнце медным диском висело в дымной мгле, давно и безнадежно горела тайга. Запахи гари подавляли аромат поспевшей брусники. Заросли шиповника, усеянные продолговатыми, как пули, ягодами, грустили над речными потоками.

Михаил Фрунзе смотрел, как пунцовые безобидные пульки падали в воду и уносились вместе с листвой. Печально было от тяжелых осенних красок, но к печали примешивалась и радость свободы.

Подумать только: быть дважды приговоренным к смерти, семь лет переносить мерзопакости каторжных острогов и оказаться в верхнеленской тайге на положении поселенца... Такой доли хватило бы на целый век любому человеку, а ему только тридцатый год. У него еще все впереди, и устрашающие слова «вечная ссылка» вызывают ироническую усмешку.

В камере смертников, в тюремных казематах он предавался воспоминаниям, теперь мечтает о будущем. Его будущее так же безгранично, как и тайга с ее падами, сопками, реками, лукавым зверем, доверчивой птицей.

Он вечный поселенец, но глубоко ощущает счастье даже такой относительной свободы. Кто не сидел в тюрьме, не поймет этого хотя и неполноценного счастья, не посмотрит с наслаждением на солнце в дымном небе, на движущиеся пласты листопада в реке.

Далеко от верхнеленской тайги второй год бушует мировая война, фронтовые новости приходят в поселок Манзурка с большими опозданиями, цензура вымарывает из газет все, что касается военных неудач. Друзья пишут, что угар шовинизма захлестнул русскую буржуазию, гром военных оркестров заглушает плач матерей и жен и что многие социалисты оправдывают эту войну.

В Манзурке жила горсточка политических ссыльных: большевики, эсеры, меньшевики, анархисты. Между ними постоянно вспыхивали споры о войне, о путях и целях будущей революции.

Знание военной истории, к которой он пристрастился еще в гимназии, давало ему преимущество в этих спорах. С помощью оперативных сводок и карт, опубликованных в газетах, Михаил предсказывал неожиданные повороты в военных действиях, делал довольно точные прогнозы, удивляя ссыльных обстоятельным знанием предмета.

— Откуда у тебя такая осведомленность? — недоумевал и его друг, ссыльный большевик Иосиф Гамбург.

— Мой отец был полковым фельдшером. Я военный от рождения, это моя вторая натура, — отвечал он смеясь. — Правда, так говорил Наполеон, а я просто прочитал уйму книг по истории войн. К сожалению, историки больше описывают баталии, поля, усеянные трупами, да полководцев на триумфальных парадах. Множество исторических анекдотов рассказали они, но так никто и не выяснил классовой подоплеки ни одной из войн. Иные книги о войнах ставят важнейшие вопросы, но разрешать их придется нам самим...

В манзурских спорах редко рождалась истина: слишком разными были политические убеждения большевиков, меньшевиков и эсеров и обычно противники договаривались до резкостей. От иронических мнений, надутых афоризмов, политических анекдотов некуда было деться, особенно когда говорили все сразу, не признавая за собеседниками права на собственное мнение. Особенно нападали на Фрунзе и Гамбурга левый эсер Павел Кулаков и анархист Несо Казанашвили.

— В дыму этой войны мне видится революция, — сказал Фрунзе, откладывая газету с последней сводкой о военных действиях на Западном фронте.

— С усталым народом ее не сотворишь, — возразил Кулаков, нервный, злой, признававший только категоричный тон. — Но если царя как следует поприжать, Россия получит демократические свободы.

— Народ давно имеет свободу помирать с голоду, — язвительно ответил Фрунзе.

— Война — это смерть и неисчислимые страдания. Революция тоже кровь и те же страдания...

— Ненавижу бесплодных страдателей за народ! Наивные простаки! Да и у вас самих ничего нет для народа, кроме душеспасительных слов, — вступил в спор Гамбург.

— У кого это «у вас»?

— У эсеров. Вы дети политического недомыслия...

— Циник! Хам!

— Ругань не доказательство в споре, — засмеялся Гамбург. — Надо уважать своих противников.

— Ты — мой противник? Ты макет моего противника! — сразу закипел злостью Кулаков.

— Давайте без неврастения, — потушил вспыхнувшую ссору Фрунзе. — Ты, Кулаков, мечтаешь о захвате власти, а царский орел клюет да клюет народное сердце. И будет клевать, пока мы не свернем ему шею.

— Для меня орел — символ могущества России, а не империи, — сквозь зубы процедил Кулаков.

— Какой-то генерал вырезал двуглавых орлов на каблуках своих сапог. Орлы отпечатывались на морозных снегах России, а генерал радовался ее могуществу. Ты похож на генерала из этого анекдота, — пошутил над Кулаковым Гамбург.

— Язык тереть — не плуг переть. А мирный захват власти мне дороже кровавых бурь.

— Да пойми же ты, наконец: если философу необходимо спокойствие души, то настоящего политика воспитывают только бури, — уже серьезно убеждал Гамбург.

Несо Казанашвили стоял у стола, засунув руки за узкий, украшенный серебряными бляшками кавказский ремешок, сосредоточенно слушая спор. Среди нищенски одетых ссыльных выделялся он показной яркостью. Длинные волосы падали на плечи, роскошная борода закрывала грудь, глаза блестели лихорадочным темным огнем. Черкеска с газырями обтягивала осиную его талию, мягкая кожа ичигов будто обливала стройные ноги. Пресыщенный вином, легкими победами над женщинами, Несо казался старше своих тридцати лет.

— Политика — дело грязное, грубое, но необходимое, — заговорил Казанашвили медленно, раздельно, с уверенностью человека, знающего цену своим словам. — Я член партии анархистов, стою за любое насилие над властью и общественным правопорядком.

ком. И если революция будет подчинять свободную личность своим законам — мне она не нужна. Я дерусь за право делать что хочу и не потерплю никаких препон для личности. Мои желания — вот единственный закон для меня...

— Тогда ты станешь тираном! — воскликнул Гамбург. — А тираны, словно гады, вылупляются из яиц свободы! Подобно Чингисханам, этим кровавым тиграм истории, они разорвут на клочья свободу...

— Вот это верно! Насилие в крови у всех анархистствующих революционеров. Хорошо когда-то сказал Достоевский: «Тиранство — это привычка, оно развивается в болезнь. Человек и гражданин погибает в тиране», — ледяным тоном добавил Фрунзе. — Лично я вижу в революции не разрушение, а творчество...

— Все в жизни усложняется и как-то раздваивается, — распялся Казанашвили. — Я сын грузинского князя — стал революционером, недавно шел с большевиками — теперь иду с анархистами. Анархисты должны быть жестокими потому, что борются с жестокой системой. Свернем шею царизму, и тогда пусть каждый делает что хочет. За такой программой пойдут все, она каждому придется по сердцу.

— Пойдет всякая сволочь, а не народ, — сердито возразил Гамбург.

— И народ тоже. Поставим на Сенатской площади виселицу для непокорных, остальные — пойдут, — ответил Казанашвили, поглаживая смоляную бороду.

— Наклонись ко мне, Несо, я тебе что-то скажу, — попросил Гамбург.

Казанашвили наклонил голову.

— Ох и сукин же ты сын! Так и хочется дать тебе в морду, — шепнул Гамбург в волосатое ухо Несо.

Казанашвили что-то хотел возразить, но постоял с открытым ртом, сверху вниз махнул рукой, как бы утверждая своим жестом: «Не хочу с вами связываться и зря тратить силы».

Споры часто заканчивались скандалами, но на следующий день все начиналось сызнова. В глухих местах, да еще людям ссыльным, невозможно жить без общения, как и без поддержки.

Фрунзе и Гамбург были не только единомышленниками, товарищами по партии, но и неразлучными друзьями.

Их дружбу прочно связывала совместная жизнь в манзурской ссылке и, как это иногда бывает, противоречивость характеров. Спокойный, уравновешенный Фрунзе и всегда возбужденный, мятущийся Гамбург дополняли друг друга.

Они любили охоту и почти ежедневно уходили в тайгу. Первым шел по тропе Фрунзе, за ним следовал Гамбург, сдвинув на затылок измятую шляпу, пофыркивая и поминутно вспоминая стихи. Даже подкарауливая в камышах утиную стаю, он кричал Фрунзе:

— Помнишь тютчевские строчки: «Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе, — лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник?» Помнишь, нет?

— Тише, тише! Распугаешь всех уток! Я тоже люблю Тютчева, но всему свое время, — ворчал на приятеля Фрунзе.

Гамбург умолкал. Фрунзе не шевелился, боясь вспугнуть подплывающих уток.

— Эй, погубитель пернатого царства! А ведь надо же так дивно сказать: «И ропщет мыслящий тростник»... Иммануилу Канту понадобилось бы двадцать страниц для выражения такой мысли.

Утки срывались с воды от громкого вскрика, грохотал запоздалый выстрел, потом слышался возмущенный голос Фрунзе:

— Чтоб тебя черти забрали вместе с Кантом и Тютчевым!

Они развели костер, вскипятили чай. Фрунзе пил кипяток, заваренный смородиновым листом, и любовался синим таежным озером. На противоположной стороне высились сопки, одетые в курчавую зеленую шкуру тайги, над ними висели легкие пепель-

ные облака, и вокруг была такая звонкая тишина, что ломило в ушах.

Фрунзе отставил кружку и с мечтательным выражением стал вслушиваться в тишину. Березовый листок, описав спираль, упал к ногам. Он поднял листок — нежный, теплый, еще живой. «Краски осенней тайги не вызывают дум о смерти. Как красивы гроздья спелой рябины — в них жизнь! Сопки, покрытые красной брусникой, дороже мне почерневших листьев. Бруснику попытаются уничтожить морозы, но она переживет и мороз, и снег. Жизнь цветет и созревает благодаря любви, любовь продолжается в жизни, — думал он. — Но ученые, проникающие в тайну листка ли, камня ли, часто проходят мимо человеческого сердца, а поэты ищут в сердце только счастье или муки любви. Социальные идеи, общественные страсти, классовые столкновения, философия, не просто объясняющая жизнь, но и призывающая перестроить ее, еще не стали объектами творчества...»

Неожиданно его мысли изменились: «Невоплощенная мечта — фантазерство. Мало мечтать, надо действовать, а я вот сижу в таежной глухомани, покорно подчиняясь жандармам, напрасно растрачивая свои лучшие годы. Действия, действия хочу я, революционного действия, а для этого необходимо бежать...»

— О чем размышлялся, Миша? — спросил Гамбург, очнувшись от дремоты.

— О побеге мечтаю. На что ни погляжу — все манит к побегу. Вон вода движется, напоминая о свободе, осиновый листок крутится над водой и зовет на волю. Вчера знакомый охотник сказал: «Летающий камень мохом не обрастает», и слова его тоже прозвучали скрытым намеком.

— Отсюда бежать не просто. Тайга на тысячи верст, а на таежных тропах заставы. Поймают — пристрелят, и словно не жил на свете. — Гамбург выхватил из костра уголек и прикурил самокрутку. — Смотри-ка, только что было облачко и вот уже грозовая туча. Я почему-то во время грозы пугаюсь не молнии, а грома. Понимаю, что гром безобиден, а боюсь...

Туча быстро затянула полнеба, подул ветер, взламывая неподвижную воду. Молнии били по сопке, по озеру, властно прокатывался гром. Деревья хлестали сучьями по воздуху, неслись, кувыряясь, ветки, листья, выдранные кусты голубицы; перепуганные утки пытались лететь против ветра и не могли.

Ударил неистовый ливень, крупные капли пробивали листья, обстреливали хвою, трава закипала от дождевых пузырей. При каждом ударе грома Гамбург вздрагивал и жался к березе. Фрунзе выбежал на обрыв — возбужденный, радостный, словно гроза вливала в него новые силы.

Гроза пролетела над тайгой быстро, как и появилась; солнце подожгло воду, озеро опять засветилось.

Гамбург раздул погасший костер.

— Как свежо и легко стало, — облегченно вздохнул он. — А на фронте полыхают тяжелые грозы. Когда же, когда пройдет над Русью очистительная буря?..

— Революций не дожидаются — революции совершают, — ответил Фрунзе, перекидывая через плечо двустволку.

Они возвращались с охоты, переполненные каким-то смутным, но бодрящим, светлым ожиданием. Все вокруг было чистым, блистающим, был веселым даже ворон, скользивший между деревьев.

Ссылка и нужда многому научили Фрунзе и Гамбурга: они охотились, ловили рыбу для больных товарищей, даже плотничали, чтобы заработать лишнюю копейку.

В начале войны царское правительство прекратило выдачу скудных средств на содержание ссыльных, и Фрунзе создал нелегальную кассу взаимопомощи для политических, разбросанных по тайге. Осведомители донесли, что касса превратилась в очаг пропаганды. В Манзурку тотчас примчались жандармы, устроили повальный обыск, арестовали четырнадцать человек, и конечно же Фрунзе и Гамбурга. Их погнали в Иркутск. Два дня брели они по тайге, ночевали в этапных бараках. Под Иркутском конвоиры, заперев на замок арестантов, отправились спать к жившим по соседству охотникам.

Представлялся хороший случай, и Фрунзе сказал Гамбургу:

— Я решил бежать, Иосиф. Сегодня ночью, пока есть возможность.

— Барак обнесен высоким забором. Как через него перебраться? — засомневался Гамбург.

— А вот так...

Они зашептались, обсуждая план побега.

Ночью, когда все спали, Фрунзе, сопровождаемый товарищами, направился к ограде.

— Прощай, друг! Да будь осторожен, не попадись в лапы жандармов, — остерегал Гамбург.

Друзья устроили живую лесенку: по спинам Фрунзе поднялся на забор и прыгнул с саженной высоты. Утром в Иркутске он разыскал явочную квартиру ссыльных большевиков.

— Жандармы сегодня же пойдут по твоему следу. Остаться в городе нельзя, немедленно уезжай в безопасное место, — посоветовали товарищи.

Вечный ссыльнопоселенец Арсений, он же Михаил Васильевич Фрунзе, исчез, зато в Чите появился дворянин Владимир Василенко. Он поступил статистиком в губернское переселенческое управление.

Новый чиновник оперативно давал подробные сведения о состоянии частных предприятий в Забайкалье, о взаимоотношениях между рабочими и хозяевами. Он дотошно разбирался в таких материях, как прибыль, рента, рыночная стоимость. Управляющий сказал своей юной сотруднице Соне Колтановской:

— Чертовски нравится мне этот Василенко. Он соткан из рассудительности, спокойствия, деловитости. Отличный работник!

— Влюблен в свою статистику, а мужчина, влюбленный только в службу, неинтересен для женщин, — с улыбкой ответила Соня.

Новый сотрудник действительно с рвением принялся за дело. Его видели в Верхнеудинске, на Петровском заводе, за Ингодой-рекой, на золотых приисках. Рабочие слушали правдивые слова о

войне, голодных бунтах, антиправительственных мятежах в России. Он, прирожденный агитатор, был везде в своей стихии...

Соня оказалась права. Вскоре она сама проявила интерес к новому статистике. Как-то они бродили по берегу только что замерзшей Ингоды.

— О чем я сейчас думаю? — спросил Василенко у девушки.

— Я не угадчица чужих мыслей.

— И не догадаетесь?

— О чем же вы думали?

— Почему все влюбленные вспоминают стихи Пушкина?

— Не знаю. А по-вашему — почему?

— Поэзия всегда или предчувствие, или ожидание, или продолжение любви...

— Вы тоже пишете стихи?

— Поэзия не для меня. Творчество не терпит баловства, оно требует всей жизни. Моя — устремлена к иной цели.

— Не говорите загадками. В вас и так много непонятного.

Соня пригласила его на чай с брусничным вареньем, за чаем рассказала про свое детство и юность.

Ее отец — народоволец Алексей Колтановский — был сослан в Верхнеудинск, там она родилась, росла, училась.

— Отца я вижу редко. Здесь, в Чите, у меня нет друзей, даже среди ссыльных. Моя жизнь течет без особых приключений, — говорила Соня, любуясь бледным открытым лицом нового знакомого. Она поймала себя на мысли, что сказала неправду. «Может, признаться, что я связана с подпольщиками? — подумала девушка. — Нет, пока невозможно, я так и не знаю, кто он такой».

— Зато моя жизнь изобилует приключениями. А родился я в Пишпеке, в Небесных горах. Слышали про такие горы?

— Имею о них только географическое представление. Что такое Пишпек?

— Малюсенький кишлак. А отрочество мое прошло в городе Верном, у подножия Заилийского Алатау. В Верном я окончил

гимназию, и помог мне в этом Александр Сергеевич Пушкин. Пять лет получал я пушкинскую стипендию и мог спокойно учиться.

— И поэтому, наверное, обожаете Пушкина?

— Обожаю за его стихи. Они навсегда вошли в меня. Если у меня когда-нибудь будет дочка, назову ее Татьяной. В честь пушкинской героини.

— Я хотела б услышать пушкинские стихи...

Он поднялся со стула, лицо его стало серьезным, словно ему предстояло свершить что-то очень важное. Поспешно провел ладонью по волосам.

— Стихи, особенно пушкинские, надо читать стоя. Тогда и сам вырастаешь. Что же прочесть?

— Попробуйте угадать любимые мои строки, — сказала она многозначительно.

— Угадаю не угадаю, а вот в этих строчках, на мой взгляд, вся поэзия любви:

*Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами...
И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни...*

— Да, лучше не выразить, — благодарно сказала Соня.

С этого дня она не могла оставаться по вечерам дома и бродила по городу. Курились снегом сопки, раскачивались звенящие от мороза лиственницы. Было тяжело идти против ветра, дующего с вершин хребта Черского, но девушка шагала, словно ввинчиваясь в упругую воздушную стену. Поднялась на берег реки, вышла на Дамскую улицу, застроенную домами, почерневшими от времени и

непогоды. Над ними маячила ветхая церквушка, за ней мрачнело здание острога.

Соня всегда волновалась, когда попадала на Дамскую улицу, здесь все казалось историческим. Острог — в нем сидели декабристы. Церковь — они посещали ее. Старенькие дома — они построили их для своих жен, приехавших из России. Даже название улице было дано в честь преданных русских женщин, разделявших печальную судьбу своих мужей.

Соня благоговейно относилась к памяти Волконской и Трубецкой, они были для нее символом женской верности и мужества, победившего все страдания. Она, пожалуй, выдержала бы испытания, если бы рядом с ней был достойный избранник.

Соня вышла на перекресток Дамской и Уссурийской улиц, к старому дому, постучала в обледенелые ставни.

— Наконец-то, наконец, — радостно заговорил Михаил, снимая с нее шубку. — Устал прислушиваться ко всем женским шагам...

Она присела к столу, заваленному книгами, рукописями. У единственного окна зеленел высокий, с жирными листьями, фикус; керосиновая лампа бросала меловой круг на стол. Между лампой и чернильницей из байкальского синего камня (его почему-то называют амазонским) стояла ее фотография. Соня улыбнулась и подумала, что жизнь ее стала значительнее с тех пор, как она подружилась с Василенко...

Она часто слышала в переселенческом управлении от чиновников, от случайных посетителей:

— Василенко выступал с антивоенными лекциями в Чите...

...в Верхнеудинске...

..на станции Мысовой...

— Владимир Василенко призывает углекопов Тарбагатайских копей к забастовке...

— Этот странный дворянин разъясняет рабочим Петровского завода, что война с немцами перерастет в революцию...

— Да, он в самом деле странный, необычный.

На глаза ей попался читинский еженедельный журнал «Восточное обозрение» с его статьями. Он писал о неудачах русского оружия, о причинах этих неудач, о разрухе народного хозяйства.

Слух о деятельности Василенко дошел до читинского губернатора; тот изъявил желание послушать хотя бы одну из его лекций.

Соня встревожилась:

— Если при губернаторе не скажешь правды о войне, слушатели тебя назовут трусом. Если скажешь — арестуют. С такой лекцией выступать невозможно. Скажись больным или уезжай куда-нибудь. Прошу тебя... будь осторожным, — посоветовала она, уже догадавшись об истинном характере его действий.

Он послушался ее совета и отправился на Петровский завод, более известный своими каторжными рудниками, чем изготавливаемыми корабельными якорями.

Он неприкаянно бродил по заводскому поселку, зашел в трактир пообедать. К нему подсел общительный сибиряк в меховой куртке-безрукавке. Познакомились. Заказали пельмени, бутылку «Ерофеича» — настойки крепкой, как забайкальский мороз. Сибиряк оказался из тех собеседников, что знают массу исторических пустяков.

— Вот пьем настоечку, «Ерофеичем» прозываемую. А почему так? Да наречена она в честь Хабарова — землепроходца нашего славного. Выпил рюмашечку и вспомнил Ерофея Павловича. Крупный человек по Сибири гулял...

Сибиряк задушевно поведал, что скупает у бурят скот и продает мясо военному ведомству, в Чите и Верхнеудинске у него свои лавки, от Шилки до Байкала знает всех именитых людей. Спросил, с кем имеет честь познакомиться.

— Владимир Василенко, дворянин.

— В Чите проживаете? В переселенческом управлении служите? Кстати, как поживает ваш батюшка? Я ведь Григория Никаноровича по Верхнеудинску знаю, много раз гостевал...

Михаил вздрогнул от неожиданного вопроса и почувствовал себя как на неокрепшем льду: каждый неверный шаг опасен. «Меня выследили. Этот сибирячок — агент охранки!»

— Так, так, — повторил новоявленный знакомец, словно говоря: «Ну и врешь же ты, братец!»

— Я давно из дома, писем не получаю...

— Как так? Вы же в действующей армии должны обретаться. Как же в нашей глуши очутились?

Сославшись на дела, он поспешно распрощался с сибиряком. На улице лихорадочно соображал: нельзя оставаться в Петровском заводе, невозможно возвращаться и в Читу.

Он уехал в Иркутск и оттуда написал Соне. Ее ответ не удивил Михаила: на квартире побывали жандармы, охранке уже известно, кто скрывается под именем дворянина Василенко.

...И вот пассажирский поезд ползет на запад и перед Фрунзе мелькают сопки, леса, равнины, редкие городки, кондовые сибирские села. Он сидел у окна, и никто из пассажиров не мог даже подумать, что этот милый, застенчивый, немного грустный молодой человек — профессиональный революционер...

А в это время читинский полицмейстер докладывал генерал-губернатору, что обнаружили следы опасного государственного преступника.

— Он скрывается под именем дворянина Василенко. На самом же деле это Фрунзе, большевик, бежавший из ссылки. Дважды приговорен к смертной казни, — сообщал полицмейстер, нервно развязывая тесемки «дела».

— Вот так так! А я еще хотел побывать на его лекции, — воскликнул генерал-губернатор, сердясь на себя и недоумевая, как такого вредного для российского престола человека полиция до сих пор не может арестовать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сибирского беглеца приютил московский друг — студент Павел Батурин. Был он большевик и часто предоставлял свою квартиру подпольщикам. Павел несказанно обрадовался возвращению Михаила.

— Нашего полку прибыло... — обнимал он Фрунзе. — Живи сколько хочешь, за мной пока нет слежки. А что теперь творится в России — тебе и не снилось! «Военные неудачи вызывают всеобщую ненависть к самодержавию», — говорил Павел, уверенный, что его друг сильно поотстал в ссылке.

Он ошибался. Фрунзе не хуже его знал обо всех военных и политических событиях.

— Наша цель сейчас — превратить империалистическую войну в гражданскую, и цель эту надо объяснить каждому солдату, — сказал Фрунзе.

Прожив несколько дней у друга, Фрунзе выехал в Петроград. В столице встретился он с руководящими партийными работниками. Было решено направить Фрунзе на Западный фронт для агитационной деятельности в частях армии.

Западный фронт в те дни был главным фронтом. Полтора миллиона солдат сидели в грязных окопах, за колючей проволокой заграждений, многочисленные военные предприятия находились в прифронтовой полосе. Там работали тысячи рабочих Петрограда, Урала, Харькова; среди них особенно активно вели политическую пропаганду большевики. Опытный, образованный организатор масс, мастер политической конспирации, Михаил Фрунзе был незаменимым человеком для такой деятельности.

Фрунзе вернулся в Москву, сказал Батурину:

— Еду на Западный фронт. Хорошо бы приобрести надежные документы, а то армейская контрразведка быстро разоблачит.

— Постараюсь, — пообещал Батурин.

Так третий раз сменил Фрунзе свою партийную кличку. Теперь в Минск уже ехал вольноопределяющийся Михаил Михайлов.

Случай — счастливый устроитель человеческих судеб — столкнул его там на улице с Исидором Любимовым, товарищем по подпольной работе в Иваново-Вознесенске. Сейчас Любимов работал во фронтовом комитете Союза земель и городов. По его рекомендации Фрунзе поступил в минский комитет Союза земель и городов — добровольную организацию, снабжавшую фронт провиантом, одеждой и медикаментами. Через несколько дней он встретился с Мясниковым на квартире Любимова, и они создали инициативную группу для объединения минских большевиков...

Война ежедневно уносила тысячи жизней. Солдаты погибали в атаках, умирали от голода и болезней. Среди них шли откровенные разговоры о необходимости перемен. В воинских частях стали возникать большевистские ячейки, появились листовки, призывающие к вооруженному свержению самодержавия. Одна из них попала на стол самого минского губернатора Гирса. Он приказал начальнику жандармерии Клесту арестовать автора. Сыщики Клеста сбились с ног, разыскивая смутьяна. Наконец донесли: в 57-й артиллерийской бригаде некий Михаил Михайлов ведет антиправительственные беседы с солдатами.

Фрунзе пришлось прекратить поездки на передовую, к тому же аппендицит уложил его на госпитальную койку. После операции, получив отпуск, он поехал в Москву.

— Тебе надо бы отдохнуть где-нибудь в деревне. Я позабочусь об этом, — сказал Батурин, взглянув на осунувшегося друга. Он познакомил Фрунзе со студенткой Анной. Она отвезла Михаила к себе на хутор под Рязанью.

Была та короткая пора, когда все хрустально, бездумно, легко, раскованно, но печально. Паутины бабьего лета прорезывают воздух, земля пахнет увядшими цветами, тишина прочеркивается прощальными криками журавлей.

Он бродил в рощах, в полях неубранной ржи, и было больно смотреть на погибающий урожай: пока мужики заняты кровавой страдой на полях сражений, их собственные поля пропадают.

По ржаному полю пробирался он к пруду, засеянному опавшей листвой. Садился на пенек, и в памяти всплывал образ Сони. Только в тридцать лет по-настоящему полюбил он женщину и понял счастливую тревогу любви. Как там она, в далекой Чите?

В небе стояла багровая луна, когда он вернулся на хутор. После ужина Анна, ее мать и набожная старушка-соседка, усевшись в старинных креслах, слушали его рассказы о странствиях по России. Он избегал разговоров о войне, голодных бунтах и забастовках (старушки могли проболтаться и навести сыщиков на его след) и потому рассказывал о событиях тишайших, делах нравоучительных и житейских.

Старушки ушли спать, они остались с Анной одни. Сидели молча: он — погруженный в раздумья, Анна — радуясь его присутствию.

— О чем размечтались? — спросила она.

— О Соне, невесте своей.

— Счастливица! Когда женщину любят — она это чувствует даже на расстоянии.

— Любовь возвышает людей и делает их добрыми. Если любишь — хочешь счастья для всех, — ответил он.

Анна вздохнула и ушла. Темная тишина завладела хутором. Михаил придвинул к себе листок, захотелось писать стихи, но из-под пера выбегали какие-то вялые, банальные слова.

«Нет, я не родился поэтом, — пришлось признаться Михаилу. — Я и переживаю и чувствую глубже. Не лучше ли приберечь слова для прокламаций, ведь скоро опять на фронт...»

Мысль его невольно сосредоточивалась в эти блаженные дни на истории войн, на военном искусстве. «Полководцами становятся на полях сражений, но безграмотный, невежественный военачальник не приведет своих армий к победе. Живой пример тому — сам император и его генеральный штаб.

У них нет определенных представлений по основным вопросам военной теории, нет даже представления, в чем состоят сами вопросы. Скучность их военно-стратегических замыслов прямо-таки

удручающа. Нерешительно наступают, пассивно обороняются, всякая смелая мысль подвергается сомнению. А Николай Второй не только безволен, он бездарен как главнокомандующий. Царские армии терпят тяжелые поражения, и даже храбрость русского солдата не спасает положения».

Он взял карандаш, стал чертить похожие на оловянных солдатиков ломаные линии, контуры каких-то предметов, но ум продолжал свою напряженную работу. «Рано или поздно Россия станет республикой, и у нее появится своя армия. Армия победившей республики. Какой же она будет? Народной, вроде добровольческих или милицейских отрядов, или регулярной, но тоже народной? И какая военная доктрина станет основой ее? Жаль, что я не специалист, хорошо бы написать на эту тему статью...»

Луна теперь светила с правой стороны, бесконечно далекая, призрачная и холодная. Слитки ее света лежали между черными оголенными деревьями, и была какая-то обреченность в ночном пейзаже. Тени, пересекавшие друг друга, казались то кладбищенскими крестами, то виселицами, то ломаными линиями.

Ночь теряла свою реальность, все искажалось, смещалось, становилось призрачным, таинственным. Из лесов поднимались туманы, принимая неожиданные очертания горных округлых вершин, острых пиков, скал, повисших над пропастями, седых трепещущих водопадов. Он увидел горное озеро, крутые берега, обросшие елями, диким урюком, ореховыми деревьями, самого себя на отвесной скале.

Как давно не был он в Небесных горах, на Иссык-Куле — озере своего детства! Радость захлестнула его сердце, и, замерев на высоте, он продолжал вглядываться в синеву иссык-кульских вод.

И вдруг над озером появился орел. Он летел, постепенно набирая высоту, его тень скользила по водам, горным склонам, тьяньшаньским елям.

Чей-то выстрел развалил тишину, но орел метнулся в сторону, взмыл еще выше.

— Счастливого тебе полета, орел! — крикнул он, радуясь промаху неизвестного охотника, и почувствовал, как скала стала приподниматься, уходить из-под ног, горные вершины закачались из стороны в сторону, мир начал разваливаться на куски.

...И снова вокруг был мрак и опасная тишина, сердце его колотилось, предательский страх наполнял каждую клеточку тела. Он протянул в темноту руку, натолкнулся на сырую стену смертной камеры. Все безмолвствовало, но сигналы тревоги всегда возникают неожиданно.

«Который теперь час? — спросил он у непроглядного мрака. — Если за полночь, то они не придут. Уже много ночей я жду их. Распахивались соседние камеры, из них уводили на казнь других — люди кричали, плакали, просили пощады. Я не стану молить о пощаде». Когда откроется дверь и надзиратель скажет: «Выходи с вещами», до виселицы останется сто шагов. Она на тюремном дворе, у правой стены, около засохшего дерева. Смертники не спят, прислушиваясь к стуку прикладов, топоту подкованных сапог. «Выходи с вещами» — обыденная фраза, но звучит очень властно и неодолимо. Нет, невозможно думать о смерти постоянно, уж лучше вспоминать стихи. Он мысленно повторил сперва по-английски, потом по-русски:

*Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Працам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут,
Сразить их
Противоборством?*

«Шекспир... Вечный учитель мудрости жизни. Но Гамлет его не для меня. Гамлет — это чувство долга при отсутствии воли. Не помню, кто так сказал, но сказано верно. А я не Гамлет. Я сработан из иного материала, чем принц Датский, и не могу пожаловаться на безволие. А что такое воля? Постоянное преодоление препят-

ствий ради поставленной цели. Товарищи говорили, что смешно учить английский, когда не сегодня завтра тебя повесят. Семьдесят суток жду палачей, они все не приходят. Уже пятерых увели на казнь. Теперь они явятся только через двадцать четыре часа, а это тысяча четыреста сорок минут. Это же целая вечность!...»

К двери подошел надзиратель, приподнял защелку на круглом отверстии. Сейчас, как обычно, сунет на завтрак кусок лишнего хлеба и кружку кипятку.

Гремят тяжелые засовы, скрипит дверь. Надзиратель объявляет с порога:

— На выход!..

Его привели в тюремную контору.

— Смертный приговор за молодостью лет вам заменен шестью годами каторги, — объявил начальник тюрьмы.

Он слушал равнодушные слова, смотрел на большой табель-календарь с четкими черными цифрами «1910», на неясную желтую полосу за окном. Небо желтело все сильнее, и вот уже неприятный свет сменился нежным, алым, заря захватывала восток, и таяли, испарялись тюремные стены, ржавые решетки, тусклая физиономия начальника тюрьмы.

...Фрунзе проснулся, открыл глаза. Вставало во всем своем великолении солнце, бездымными кострами пламенели клены, над прудом покачивались легкие светлые испарения.

«Хорошо, что это был только дурной сон из моего прошлого», — облегченно вздохнул он, и мысль его опять ускользнула в былые дни, но сейчас вспомнился Петербург, классы и залы Политехнического института, студенческие сходки, страстные споры о судьбах России, о декабристах, Герцене, Чернышевском, о путях революционной борьбы против самодержавия.

Он, еще совсем желторотый юнец, приехавший из захолустного городка Верного, от белоснежных вершин Тянь-Шаня, очутился в водовороте политических страстей, мечтаний, разногласий, увлечений.

Он зачитывался произведениями разночинцев, его увлекали суровые обличения Салтыкова-Щедрина, расплывчатые, но с искрами злой критики, статьи Михайловского, труды Лаврова.

Он был переполнен стремлением к борьбе за переустройство уклада русской жизни на новых, справедливых началах, но еще не знал, еще не видел путей этой борьбы.

Они открылись ему со страниц сочинений Карла Маркса. Фундаментальный «Капитал» стал как бы гранитной скалой, с которой виделись перспективы грядущих классовых битв. Маркс помог ему и в критическом отношении к исканиям народников; уже с его позиций стал рассматривать Фрунзе проблемы жизни и борьбы.

В те годы он писал своему шуйскому другу: «Сейчас у нас идет сильное брожение, да не только у нас, но и во всех слоях общества; в печати теперь пишут так, как никогда не писали; везде предъявляются к правительству требования конституции, отмены самодержавия; движение очень сильно».

Бурные сходки рабочих, студентов, курсисток, манифестации, митинги на фабриках, в институтах, ожидание новых социальных перемен — все дышало грозой. Россия шла к революции, и царизм, страшась ее, надеялся войной с Японией потушить взрыв. Поражения на Дальнем Востоке, разгром русской эскадры в Цусимском проливе показали народу полную несостоятельность самодержавия.

Еще в институте Фрунзе вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. «С конца 1894 г. стал принимать активное участие в деятельности различных большевистских организаций», — писал он.

Он выполняет ответственные поручения большевиков, выступает в рабочих кружках. Во время демонстрации студентов, несших лозунги «Долой войну», «Долой самодержавие», Фрунзе арестовали и выслали из столицы. Всего пять месяцев пробыл он в Петербурге, но за это короткое время приобрел опыт партийной работы, познакомился с произведениями Ленина, получил закалку для дальнейшей подпольной революционной работы.

Дни целительного покоя близились к концу, пора было возвращаться на Западный фронт. Что там творится — неизвестно, на хутор не поступает газет, не заглядывают соседи, здесь живут, словно улитки в ракушках.

За день до его отъезда выпал снег, мир стал белым, чистым, чем-то напоминая грустную опрятность госпиталя. Михаил долго бродил по первому снегу, глубоко дышал настоящим на запахе трав прохладным воздухом, расставаясь с тишиной.

Анна устроила прощальный ужин. Он ел гречневые блины с луком, пил домашнюю вишневую настойку, выслушивал старушечьи наставления — беречь себя, не лезть на рожон, не соваться в пекло раньше батьки.

— Жил ты у нас, почитай, с месяц, теперь уезжаешь, а мы даже не знаем, кто ты таков, — неожиданно сказала старуха-соседка.

— Большевик, — ответил он, уже не опасаясь своей откровенности, да и какой вред могут принести ему добрые, милые старушки...

— Это что ж за народ такой — большевики? Каких кровей, веру какую исповедуют? Христиане или вроде турков? — любопытствовала старушка.

— Я в бога не верю.

— И креста на шее не носишь?

— Нет, — ответил он мягко, даже застенчиво.

— Надо же... А с другой стороны, плохой человек с крестом хуже антихриста. Дьявол-то креста как огня боится, а кому ничего не страшно, тот сам страшен. Лучше уж без креста, чем с крестом, — примирительно сказала старушка. — А ты человек душевный, тихий, береги себя на фронте-то. Ежели проклятая война истребит таких хороших людей, то Расея попадет в когти дьявола. Апостол-то Иоанн предсказывал приход антихриста, видел святой-то и железных птиц, и трех всадников — на черном, белом и красном коне. Всадники лютые погубят род человеческий, и наступит цар-

ство тьмы на тыщу лет, — крестилась старушка. — Я тебе, батюшка мой, почитала бы Святое писание, да не вижу, почти ослепла.

Он, глядя на старуху серыми улыбчивыми глазами, процитировал:

— «Первый ангел вылил свою чашу на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях... Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, и все одушевленное умерло... Третий ангел вылил свою чашу в реки и источники, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как живут на земле люди. Такое землетрясение. Такое великое...» — и добавил: — Впереди нас ждет еще более великое землетрясение...

Старушки с открытым ртом слушали слова из Апокалипсиса, произнесенные этим странным молодым человеком. Анна улыбалась. Он, поблагодарив за гостеприимство, тепло распрощался с женщинами. Навсегда.

Был конец шестнадцатого года. Занятый революционной пропагандой, Михаил не замечал зимних хмурых деньков, зато по ночам его захлестывала тоска по Соне. Любимая женщина удалялась в воспоминания, и это страшило его. Любовь, как жизнь, не может ждать без конца, бесплодные ожидания приводят к невосполнимым потерям. Утвердившись в этой мысли, он телеграфировал Соне, настаивая на немедленном ее выезде в Минск.

Вскоре получил ответ: «Еду».

Короткое слово осветило его, словно молния ночную рощу, все приобрело новый яркий смысл, и нетерпеливое ожидание наполнилось трепетом предстоящей встречи. Тоска, радость, тревога сменяли друг друга. Неприкаянно бродил он по заснеженным улицам, подсчитывая, сколько верст еще остается проехать Соне.

За час до прихода поезда он уже стоял на перроне, с удовольствием слушая крахмальный скрип снега под ногами. Все было необыкновенным в то утро: и ледяные узоры на вокзальных окнах, и вороны на березах, и веселая переключка паровозных гудков, даже

стоявшие на платформах полевые орудия, опущенные иглистым инеем, выглядели красиво и безобидно.

Поезд подкатил к перрону с особенным шиком, пассажиры шумно выходили из вагонов. Он с испуганно-радостным видом разыскивал Соню и, не видя ее, волновался все сильнее.

Она сошла с вагонной площадки прямо в его объятия.

— Больше мы не расстанемся. Я не хочу одиночества, наполненного мыслями о тебе, — говорила Соня.

— Моя жизнь полна опасностей, — напомнил он, целуя ее.

— Буду делить их с тобой...

— Может, мне придется снова уйти в подполье.

— Разве в нем не хватит места для двоих? Но только почему подполье? — спохватилась Соня.

— Борьба между царем и народом усиливается, а мы, большевики, и дети народа, и борцы за него.

— Наконец я могу назвать тебя своим мужем, Арсений, — сказала Соня.

— Жене пора открыть свое имя. Арсений, Владимир Василенко, Михаил Михайлов — всего лишь псевдонимы. А я — Михаил Фрунзе. Только в Центральном Комитете партии знают мою настоящую фамилию да еще охранка...

— Фрунзе? Что это значит?

— «Зеленый листок» по-молдавски. Я сын молдаванина и воронежской казачки.

— Фрунзе, Зеленый Листок... Это хорошо! Это очень поэтично.

— Все поэтическое заключено в тебе, моя Сонюшка! В одной тебе.

Это был вечер редкого, но совершенного счастья.

— В Чите нас разлучила глупая случайность. Если бы купец-доносчик не знал отца Владимира Василенко, тебе не пришлось бы бежать из Сибири. Сколько лет оставался ты для меня инкогнито, Зеленый Листок, — сказала Соня счастливым голосом.

За окном мела метелица, скрипели ставни, елозили по стенам заледенелые сучья берез.

Исидор Любимов пригласил на чашку чая Фрунзе, Соню, Мясникова. За столом продолжались все те же нескончаемые разговоры о войне, о положении солдат на Западном фронте, страдающих не только от ран, морозов, эпидемий, но и от своих бездарных, трусливых, высокомерных командиров.

— Офицеры презирают солдат, солдаты отвечают им ненавистью, пока еще стихийной, но классовые противоречия проявляются все сильнее, — говорил Любимов.

— Я недавно был в Могилеве, — перехватил нить разговора Мясников. — Город живет в каком-то леденящем страхе перед верховным главнокомандующим и его Ставкой.

Всюду табуны жандармов, сыщиков, офицерские батальоны, охраняющие царя и Ставку. Мимо губернаторского дворца, где пребывает царь, не пропускают ни одной души, тащат в каталажку любого, кто кажется подозрительным. Солдаты мрут как мухи, а царь в могилевском соборе часами слушает молебны во славу русского оружия...

— Расскажи Михаилу о секретном, но уже всем известном письме начальника штаба генерала Алексеева председателю Государственной думы Родзянко, — попросил Любимов.

— Удивительное письмо! Оно каким-то образом попало в «Биржевые ведомости», газета опубликовала выдержки. Начальник штаба жалуется, что в Ставке, среди высших офицеров, царит нравственный и физический разврат. Мне особенно врезались в память слова генерала: «Если на войне можно пить и есть, как на празднике, и до поздней ночи играть в карты — это не война, а разврат. Если эпикурейство и роскошь офицеров не вырвать с корнем, Ставка не может руководить армией».

— В окопах ходит по рукам прошение генерала Куропаткина на царское имя, — сказал Фрунзе. — Куропаткин советует царю посылать на фронт больше гусяров и певичек для подъема солдатского духа и патриотизма. Вместо патронов — гусли, взамен

каши — веселенькие шансонетки! «Умри, Денис, лучше не напишешь!»

— Газета «Речь» напечатала недавно заметку, что Распутин на вопрос одного адвоката: «Скоро ли кончится война?» — ответил: «Плюнь мне в рожу, если в шестнадцатом году не подпишем мир», — рассмеялся Мясников.

— Распутину поносят и аристократы, и гвардейцы, и простые люди. Они считают его виновником всех военных ошибок и промахов царя, духовным растлителем царской семьи и приближенных царедворцев. Глупцы! Не понимают, что Распутин, рожденный в грязи социального болота, созрел в удушливой атмосфере высшего общества. Гады приютили гада, взявшего их же за горло, — вот диалектика полного гниения верхушки, правящей нашим народом. Но что бы ни говорили о Распутине, он был удивительным авантюристом нашего времени. Казанова или граф Калиостро даже в подметки ему не годятся. Как бы там ни было, а в распутинской истории отражена жизнь всего правящего класса, начиная с самого императора. Но не в Распутине сейчас дело, а в нарастании народной ненависти ко всему, что связано с монархией, и эту стихийную ненависть мы должны использовать для революционной борьбы. Кстати, мне предстоит поехать в Могилев, — сказал Фрунзе и, увидев печаль на лице Сони, добавил успокаивающе: — Всего на несколько дней.

Он бродил по снежным улицам еще недавно тихого провинциального города, ставшего теперь известным всему миру. В овчинном полушубке, валенках, мерлушковой шапке, нахлобученной до ушей, Михаил казался обыкновенным верноподданным мещанином; такое безмятежное спокойствие было разлито по обросшему русой бородкой лицу, что никто не обращал на него внимания.

Однажды он затерялся среди зевак, толпившихся у губернаторского дома.

Было время царской прогулки; у подъезда каменели часовые Георгиевского батальона, в саду дежурила дворцовая полиция, на

крышах соседних домов виднелись пулеметы. Николай Второй вышел из дверей парадного подъезда, за ним потекла пышная свита — великие князья, генералы, адмиралы, военные атташе союзных стран. Портреты многих из них Фрунзе видел в газетах, биографии самых видных знал наизусть.

Они шли надменные, заносчивые, прекрасно воспитанные, но равнодушные ко всему, властители великой

России, бросающие в кровавое пламя войны миллионы людей.

Если бы они знали, что ждет их завтра, если бы судьба хоть на минуту приоткрыла перед ними завесу будущего, тогда, возможно, они не были бы такими самоуверенными. Может быть, тогда кто-нибудь из генералов и кинул бы любопытный взгляд на молодого скромного человека в толпе зевак.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Голубой императорский поезд растворялся в снежных сумерках, караульные коченели на безлюдном перроне.

Дворцовый комендант генерал-майор Воейков поднялся на подножку салон-вагона и сразу из властного и самоуверенного превратился в робкого и почтительного. Приподняв правую руку с пачкой депеш, левой осторожно приоткрыл дверь, проскользнул в салон. Замер у порога.

Император сидел, опершись спиной о вагонную стенку, обтянутую зеленым шелком. Сидел прямо, неподвижно, с закрытыми глазами; казалось, он спит, положив руку на ломберный столик.

Воейков не шевелился. «Вести из Петрограда одна страшнее другой, а я принес еще более страшные», — подумал он, рассматривая желтое лицо самодержца. Кожа под глазами в тонких морщинах, резкие складки оттягивают нижнюю губу, кадык выпирает из-под воротника — совершенно незнакомое, не царственное лицо.

Воейков едва дышал, чтобы не разбудить императора. Но тот не спал. Он исподтишка наблюдал за Воейковым, догадываясь, что генерал принес отвратительные известия.

— Что там? — спросил император, открывая глаза.

— Письмо ее императорского величества. — Воейков осторожно положил на столик конверт и пачку телеграмм.

Император разорвал конверт, вынул твердый, белый, исписанный мелким почерком листок. Сразу выхватил требовательные слова: «Будь тверд, покажи властную руку — вот что надо русским. Дай им теперь почувствовать твой кулак. Они еще боятся тебя. Они должны бояться еще больше. Заставь их дрожать. Прошу тебя, дружок, сделай это поскорее...»

Император отложил письмо и отрывисто, раздраженно спросил:

— Какие новости из столицы?

— Ужасные, ваше величество! — не сдержался генерал. — Это не бунт бесшабашной черни, это революция. В столице бурные манифестации, на перекрестках баррикады. Забастовщики заняли Дворцовую и Сенатскую площадь, идут схватки с верными вашему величеству полками, — говорил Воейков, чувствуя неприятную сухость во рту. Ему казалось неделикатным, даже неприличным все то, что он сообщал императору. — На Невском драгуны открыли огонь по толпе. Есть убитые. Это произведет скверное впечатление на наших союзников. Очень скверное...

— Генерал Хабалов предупредил забастовщиков — если не прекратят бунт, то будут отправлены на фронт? — спросил император, и глаза его остановились на Воейкове: он разглядывал свитского генерала, как посторонний предмет. — В депешах что еще важного?

— Родзянко требует создания нового правительства...

— Толстяк вопит о необходимости правительства общественного доверия, иначе полный развал империи! Глупости! Даже отвечать не хочу на такой вздор. Надо готовить карательную экспедицию в столицу. Вот что надо.

Император поднялся с кресла — пора на прогулку; даже самые неприятные события не должны нарушать привычный распорядок дня. Одеваясь, он продиктовал телеграмму командующему Петро-

градским военным округом Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай».

Падал снег, заволакивая станционные пути, пакгаузы, заиндевелые березы. Император прогуливался по перрону, заложив руку за борт полковничьей шинели; от прожекторов и чистого снега лицо его приобрело выражение значительности. За императором, соблюдая почтительную дистанцию, следовали Воейков и генерал-адъютант Иванов.

Император внезапно прервал прогулку.

— В такие часы не до гулянья. Я решил, Николай Иудович, — обратился он к Иванову, — направить вас в Петроград. Наведите там железный порядок...

— Из пулеметов расстреляю бунтовщиков! Из пушек, ваше величество! Когда прикажете выступать, ваше величество?

— Сегодня же ночью. Я выделяю для вас самые надежные войска, дам даже из своего конвоя батальон георгиевских кавалеров. С Северного фронта снимаю два полка пехоты, две бригады — с фронта Западного. В вашем распоряжении тридцать стрелковых батальонов, шестнадцать кавалерийских эскадронов, гвардейские полки петроградского гарнизона. Совет министров отныне подчиняется вам. Требуйте, приказывайте, действуйте...

Император преобразился: глаза блестели, складки у рта исчезли, сутулая фигура распрямилась, не осталось и следа от обычного равнодушия. Уж кто-то, а он-то умеет воевать со своим народом! Эта перемена подействовала и на Иванова: он приосанился, щелкнул каблуками лакированных сапог, сразу уверовав в свою историческую роль спасителя империи.

Торопливо с новыми депешами вошел Воейков.

— Ваше величество, ваше величество... — волнуясь, заговорил он.

— Что еще случилось?

— От Родзянко опять депеша. Председатель Думы извещает, что настали последние часы династии. Он осмелился советовать

вашему величеству не присылать войска в столицу, он утверждает — эти войска не будут стрелять в бунтовщиков.

— Какой вздор! Повелеваю закрыть Думу, Родзянко — в Петропавловскую крепость!

— Это невозможно, ваше величество. Петроград уже в руках восставших, солдаты переходят на их сторону. К мятежникам присоединились гвардейцы Павловского и Преображенского полков. Столичный арсенал взят приступом, все ключевые позиции города — от мостов до вокзалов — в руках мятежников. Лишь Адмиралтейство еще защищается. Только что звонил обер-гофмаршал Бенкендорф. Он сообщил — толпы восставших идут на Царское Село, ее величество собирается спешно выехать сюда, в Могилев...

— Ее величеству выезжать не следует. Я сам отправлюсь в Царское, — решительно сказал император.

За окнами салон-вагона мелькали черные деревья, кровавым ядром падала в сугробы луна, проносились седые, таящие неведомые опасности равнины.

Император смотрел в окно отчужденно, неприязненно: не любил он природы и не ценил ничего в ней, кроме прилизанных, искусственных царскосельских пейзажей. Воейков следил за каждым движением своего повелителя, пытаясь прочесть его сиюминутные мысли. «Если он спросит, где теперь генерал Иванов, я не смогу ответить. Просто не знаю, где Иванов. А все-таки, о чем думает император?»

Император, чувствуя, как его охватывает суеверный страх, думал о недавнем убийстве Распутина. Социальные катаклизмы увлекают в пропасть самодержавие, не на кого, не на что опереться в борьбе с революцией; не только гвардейские полки, даже царедворцы ненадежны: Григория убили самые близкие к трону люди. В убийстве участвовал и великий князь Дмитрий Павлович.

Император нахмурил брови. Он сослал князя в Персию, в армию графа Кутайсова, а на письменной просьбе его матери, княгини Палей, написал: «Никто не имеет права убивать». Ему припомнилась эта фраза, он отвернулся от окна.

— Что угодно, ваше величество? — спросил Воейков.

— Ничего не угодно. А ведь князь-то Дмитрий убил не просто мужика, он уничтожил опору трона. Из-под собственных ног вышиб опору, — угрюмо проговорил император.

— Простите, но я не совсем понял... — наклонил голову Воейков.

Императору стало скучно не только разговаривать с генералом, но и размышлять о недавнем прошлом. Прошедшее всегда кажется более значительным, чем сегодняшней день.

— Если что, разбуди меня.

Император пересел на диван, поправил подушку с вышитой зеленым шелком короной. «Что творится в Петрограде? Хабалов не в состоянии навести порядок, Иванов еще не добрался до столицы. Сумеет ли он усмирить бунтовщиков? Достаточно ли хорошо охраняется Царскосельский дворец, хватит ли у Алис терпения дожидаться моего приезда? Надо предупредить ее». Император написал жене телеграмму: «Генерал Иванов спешит на усмирение Петрограда».

Оттого ли, что Иванов продвигается в столицу через Царское Село и что с ним идут верные части, император почувствовал себя успокоенным. Под размеренный стук колес он начал читать Юлия Цезаря, но вскоре уронил книжку на одеяло...

— Ваше величество, ваше величество! — осторожно, но настойчиво будил императора Воейков.

Николай приподнялся, сел на диван. Поезд стоял, окна бледнели от подступающего рассвета.

— Что случилось? Где мы?

— Станция Малая Вишера, ваше величество. Дальше ехать невозможно, бунтовщики перекрыли путь, — доложил спазматическим голосом Воейков.

— Подай мне халат.

Генерал трясущимися руками накинул халат на худые плечи императора. Николай Второй наступил на оброненную книжку,

отшвырнул ее ногой, Воейков поспешно поднял ее, положил на столик.

— Отправь ее величеству телеграмму.

— Отсюда невозможно...

— Что значит «невозможно»?..

— Телеграфная связь с Петроградом контролируется восставшими. Руководители восстания распорядились не пропускать поезд вашего величества в столицу, — говорил, кусая пересохшие губы, Воейков.

— Тогда едем в Псков, к генералу Рузскому, — решил император.

Утром императорский поезд появился в Старой Руссе. Здесь Николай узнал, что командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов арестован восставшими, что последние верные части войск покинули Адмиралтейство, что эшелоны генерала Иванова только-только прошли станцию Дно.

— Что же он медлит? Надо скорее в Псков, там под защитой армий Северного фронта я могу что-то сделать, — сказал раздраженно император.

Вечером он прибыл в Псков.

Главкомандующий Северного фронта доложил, что войска переходят на сторону восставших; самые надежные полки, посланные с генералом Ивановым, взбунтовались под Гатчиной.

Император ничего не ответил. В салон-вагоне стояла ледяная тишина.

— Нам осталось подчиниться требованию победившего народа. Иначе фронты будут открыты и немцы хлынут в Россию, — заговорил генерал, встревоженный зловещим молчанием императора.

— Подождем до утра. Я не люблю принимать важные решения в ночной обстановке, — наконец сказал царь.

Наступило утро последнего дня царствования династии. Это был четверг, бесприютный, пасмурный. Все, что было связано с императором, жило ожиданием катастрофы.

Главнокомандующий фронта сообщил о своем разговоре по прямому проводу с председателем Думы: Родзянко предлагает отречься и передать трон Алексею.

Император слушал, заложив руки за спину, угрюмо разглядывая узоры на ковре. Как и вчера, у него было совершенно спокойное лицо, только заметнее пульсировала жилка над левым виском.

— Россия ждет, ваше величество, — склонив голову, прошептал генерал.

— Я хочу узнать мнение главнокомандующих фронтов. Немедленно свяжитесь с ними. Я повелеваю, — повысил голос император и почувствовал, что привычное слово «повелеваю» теперь потеряло смысл и всю силу: повелевать, отказываясь от престола, не только странно, но и смешно.

Через час он читал ответные телеграммы. За отречение от престола были и главнокомандующий Кавказского фронта великий князь Николай Николаевич, и главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал Брусилов. Генерал Эверт (Западный фронт), генерал Сахаров (Румынский фронт) — тоже за отречение. Только командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак воздержался от ответа.

Поблескивая золотой оправой очков, зябко поводя плечами, генерал ждал, что скажет император. А тот, пощипывая рыжую бородку, косился на телеграммы безжизненными глазами.

— Может, снять войска с Юго-Западного фронта и бросить их на столицу?.. — неуверенно спросил он.

Генерал безнадежно пожал плечами.

— Двинуть донских казаков? — продолжал искать спасительное решение император. — С их помощью усмирим бунтовщиков и сохраним от развала армию...

Генерал молчал.

В час пополудни Николай Второй продиктовал телеграмму на имя председателя Государственной думы: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения

родной матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына — с тем, чтобы оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего великого князя Михаила Александровича».

Генерал отправился на телеграф, император сел в зеленое кресло у столика. Смятенные мысли проносились в уме: «Неужели все кончено и нет никакого выхода из трагического положения? До какой степени виноват в этой катастрофе я сам? Что будет после отречения от престола?»

В салон-вагон вошел Воейков, все еще не верящий в отречение императора, — события, происходящие в этот мартовский день, казались ему каким-то дьявольским наваждением.

— Прибыли член Государственного совета Гучков и член Государственной думы Шульгин. Просят аудиенции у вашего величества.

— Проводите их ко мне.

Первым заговорил Гучков, известный московский домовладелец. Сказал, что Петроград в руках восставших, что борьба бесполезна и отречение от престола — дело само собой разумеющееся.

— Я советую вам принять очень трудное, исторической важности решение. Готов подождать до вечера, пока вы обдумаете такой решающий шаг, — заключил Гучков.

— Я уже все обдумал. Если я сначала отрекался от престола в пользу своего сына, то теперь передаю престол брату моему Михаилу...

Генерал-майор Воейков, стоя за спиной императора, старался запомнить каждое слово: наступил переломный момент в истории русской и его надо запечатлеть свидетельством очевидца, думал он, видя, как нетерпеливо переминается с ноги на ногу Шульгин.

— Мы должны вернуться в Петроград с актом отречения, — заявил Шульгин. — Мы просим немедленно составить такой акт, основу его я набросал. — Шульгину тяжело было говорить — он, бескомпромиссный монархист, знал, что знаменитая формула: «Король умер, да здравствует король!» — давно, часто и успешно

применялась после всяких революций в Европе. Может быть, и на этот раз она не даст осечки?

Николай ушел в спальню. Вернулся через полчаса с окончательным текстом отречения.

— Кажется, всё, господа? — спросил он скучным голосом.

— Час подписания акта я прошу отодвинуть назад. Не хочу, чтобы после говорили — мы вырвали силой согласие вашего величества, — умоляюще сказал Шульгин.

Император поставил под актом время — три часа дня.

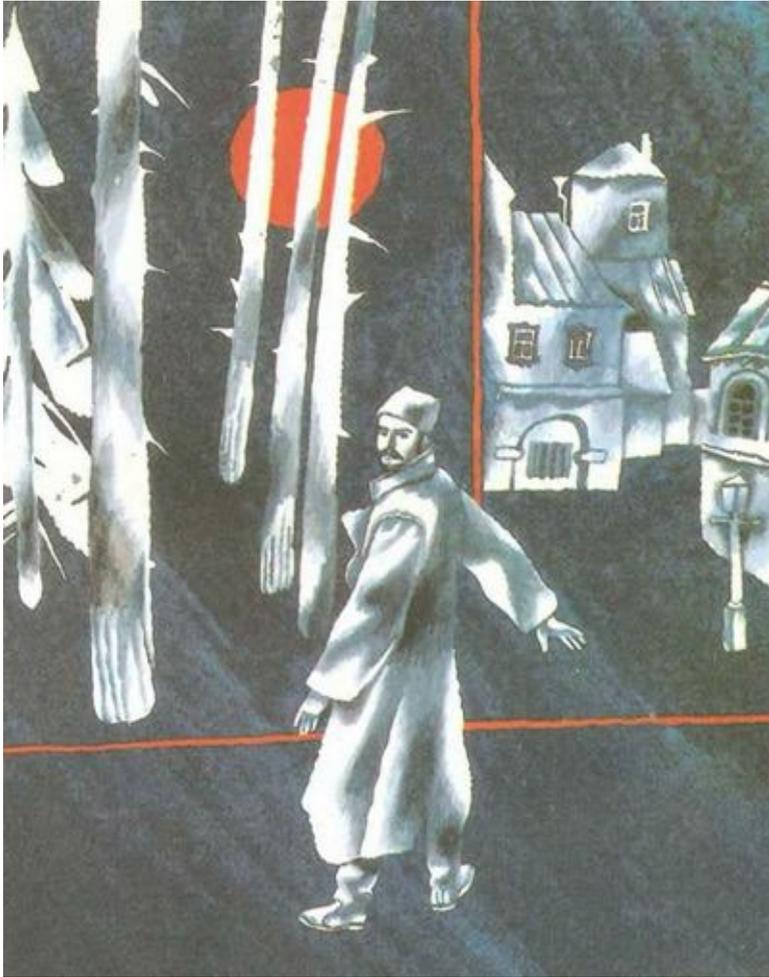
Вскоре поезд покинул Псков, увозя в небытие хозяина земли русской.

Вместе с бывшим царем ехал крупнейший украинский помещик, владелец сахарных заводов, хозяин газеты «Киевлянин», яростный русский монархист Шульгин. Человек широкого кругозора, он владел острым пером, но отличался желчностью и исключительной ненавистью к демократии. Шульгин мрачно смотрел в окно, и тяжелые, дымные мысли разламывали голову: «Что теперь будет с великой империей? Михаил недолго удержится на престоле, его интеллект тому порукой. Может быть, Государственная дума возьмет в свои руки всю полноту власти? Нет и нет! Но нельзя же управлять государством Российским из-под стола!»

Поезд замедлил ход, приближаясь к станции. На перроне толпились солдаты, казаки, рабочие, и все кричали и размахивали руками, будто грозили. У хлебной лавки стояла бесконечная очередь, в ней плакали женщины, угрюмо сутулились инвалиды, но вид их не вызывал в Шульгине ни жалости, ни сострадания. Его мысли были полны ненависти, как сосуд яда: «Ах, толпа, толпа, особенно русская! Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны, и одно сменяется другим мгновенно. Это люди из другого царства, чем мое, из другого века, нежели мой. Пулеметов — вот что мне хочется! Только язык пулеметов доступен толпе, только свинец может загнать обратно в берлогу страшного зверя. Увы, этот зверь — его величество русский народ. Ах, пулеметов сюда, пулеметов!

Русский царь был всегда главной осью империи, и ось потеряна. Исчезло единственное понятие власти. Есть ли еще Российская держава? Государство ли это? Или сплошной сумасшедший дом?..»

Начиналась метель. Тяжелый по-весеннему снег заметал зеркальные стекла голубого поезда, идущего в Петроград.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— В Петрограде революция! Николай Второй отрекся от престола! Создано Временное правительство! — кричал возбужденный Мясников, ворвавшись в присутствие и потрясая столичными газетами.

Фрунзе и Любимов, корпевшие над документами о помощи фронту, подняли головы, недоуменно поглядели на своего друга.

— Вы что, глухие тетери, не слышите: царь отрекся от престола. В Петрограде революция, — втолковывал Мясников.

— Не предвосхищай событий, — рассмеялся Фрунзе и склонился над ведомостью.

— Вот газеты, — торжественным голосом возвестил Мясников. — Я тоже сперва не поверил, но вот же газеты. Вот они...

Фрунзе потянулся за газетой, быстро пробежал глазами кричащие заголовки, с грохотом отодвинул стул и кинулся обнимать Мясникова, потом Любимова.

— Наконец-то, наконец! — горячо воскликнул он.

Годами мечтавшие об этом великом часе, отдавшие все силы его приближению, они еще не могли сразу осознать свершившееся, слишком невероятным казалось событие.

Фрунзе продекламировал:

— «Сегодня я получил парижские газеты — это были солнечные лучи, завернутые в бумагу. В Париже революция! Цветов, цветов дайте мне и лиру! Я украшу цветами голову и сыграю на лире, и песни мои достигнут неба и сотрясут звезды, и звезды будут осыпаться на землю, освещая хижины и сжигая дворцы. Мир хижинам, война дворцам!..»

— Что за стихотворение в прозе? — поинтересовался Любимов. — И при чем тут Париж? Революция-то в Петрограде...

— Я читал Генриха Гейне. Возможно, переврал немного, но за смысл ручаюсь.

— Пойдемте на улицу, посмотрим, что творится в городе, — предложил Мясников.

На улицах, как в большие праздники, играл духовой оркестр, какие-то люди сбрасывали императорский герб с официальных зданий, лавочники поспешно и как-то застенчиво убирали из витрин царские портреты.

То там, то здесь возникали стихийные митинги; ораторы проносили зажигательные речи. Говорили о наступившем равенстве

и братстве, повторялись имена Робеспьера и Марата, раздавались призывы к полной анархии. Вспыхивали страстные звуки «Марсельезы». Словно на пасху звонили колокола.

Радостное возбуждение цвело на лицах, особенно солдат. Самодержавие пало, скоро конец войне — в эту надежду верили, как в солнце после долгого ненастья...

— С праздником тебя, Зеленый Листок! С праздником наших осуществленных мечтаний, — встретила мужа Соня, и глубокий грудной голос ее прозвучал с особенной мягкостью и теплотой.

Но Фрунзе уже отрезвел, сердце подчинилось разуму.

— Соня-Сонечка, в Петрограде создано Временное правительство. Помещики и капиталисты пожинают плоды революционной победы народа. Рабочий и мужик получили только красивые слова о свободе, равенстве и братстве. Русский народ по-прежнему будет стоять на коленях, если мы не превратим буржуазную революцию в свою, пролетарскую. А ее надо готовить. Побеждают только вооруженные революционеры...

И вспомнился ему Стокгольм, IV съезд социал-демократов, ленинские слова — четкие, отточенные, как острие клинка, слова о вооруженном восстании в декабре девятьсот пятого года: «В народных массах... зреет сознание необходимости бороться за реальную власть».

— Вот где истина! В ленинских словах — программа борьбы. — Он подошел к Соне. — Так говорил Ленин еще одиннадцать лет назад, я запомнил его слова навсегда...

В первые же дни Февральской революции Фрунзе созвал руководителей инициативного центра большевиков, партийных ячеек 3-й и 10-й армий Западного фронта. Совещание решило немедленно создать Совет рабочих депутатов для борьбы за народную власть. Четвертого марта собралось первое легальное собрание большевиков Минска. Оно предложило приступить к выборам депутатов в Минский Совет. Первым кандидатом был назван Фрунзе.

Совет немедленно создал свою газету «Известия Минского Совета», и одним из ее редакторов стал Михаил.

В эти дни Фрунзе начал энергично укреплять охрану революционного порядка. По его предложению возникли первые отряды народной милиции. Совет назначил Михайлова-Фрунзе (он все еще носил свой партийный псевдоним) начальником милиции.

Фрунзе обратился к населению города с воззванием: «Граждане! Старый строй пал. Прежняя власть, опиравшаяся на произвол и насилие, исчезает во всей стране, и на ее месте возникает новая, сильная народным единством и доверием, власть. Городская милиция уже разоружила полицию и стражников и заняла полицейские участки...»

Через несколько дней в городе возник единый Совет рабочих и солдатских депутатов. От большевиков были избраны Исидор Любимов — заместитель председателя — и Михаил Фрунзе — член исполкома Совета. Совет сразу стал центром революционного движения, которое приобрело большевистскую целеустремленность. По всему Западному фронту, Белорусскому краю, в городах, в местечках начали рождаться рабочие, солдатские, крестьянские Советы.

Вчерашние царские чиновники, военачальники, жандармы, местные богачи отчаянно сопротивлялись народной милиции. Фрунзе со своим помощником Гамбургом повел беспощадную борьбу с бандитами, спекулянтами, саботажниками. Как-то вечером он сказал:

— Возьми, Иосиф, двух милиционеров, пойдем на важную операцию.

Не спрашивая, куда и зачем пойдут, Гамбург и милиционеры следовали за Фрунзе. Поняли, когда подошли к жандармскому управлению. В вестибюле дежурный потребовал у них пропуск.

— Я начальник народной милиции, по срочному делу к полковнику жандармерии, — внушительно сказал Фрунзе.

Дежурный не стал возражать; они поднялись на второй этаж, вошли в кабинет. Полковник Клест побледнел, увидев четверых неизвестных с револьверами. Не скрывая испуга, спросил:

— Кто вы такие? Что вам угодно?

— Нам угоден полковник Клест. По решению Минского Совета рабочих и солдат вы арестованы. Прошу сдать оружие и секретные документы, — приказал Фрунзе.

Полковник не сопротивлялся. Пока Гамбург производил обыск, Фрунзе просмотрел досье с секретной перепиской. Среди бумаг было и донесение полковника Клеста минскому губернатору Гирсу, что в городе образован подпольный комитет партии большевиков, и ордер на арест его руководителя Михаила Михайлова.

— Роли переменились, господин полковник, — улыбнулся Фрунзе. — Вы собирались арестовать меня, но вышло наоборот.

— Надо немедленно освободить из тюрьмы всех политических, — напомнил Гамбург.

— И как можно быстрее.

По дороге к городской тюрьме Иосиф говорил полусерьезно-полушутя:

— Ну не чудеса ли это! Вчера жандармы охотились за нами и гнали на каторгу, сегодня мы прячем жандармов под замок.

— Просто чудеса истории стали целенаправленными, — в тон ему ответил Фрунзе. — Я всегда ненавидел полицию, постоянно с ней воевал, а теперь вот организую милицию. Ведь и это кажется необыкновенным.

Сам начальник тюрьмы дрожащими руками открывал железные двери камер. Фрунзе встречал выходивших политических арестантов ошеломляющей фразой:

— Именем революции — вы свободны!..

Среди освобожденных был молодой солдат в рваной шинели. Он стоял, грязный и бледный, в резкой полосе солнечного света, недоуменно и растерянно щурясь на неожиданных освободителей.

— Михаил! Миша! — вскрикнул солдат, кидаясь к Фрунзе. — Не узнаешь? Да ведь это я, Алексей Южаков, — вспомни Питер, Политехнический институт, на одном курсе учились...

Фрунзе сразу вспомнил столицу, и Политехнический, и веселого рыжеволосого, синеглазого вятича Южакова, который так хорошо пел под гитару революционные песни.

— До чего ж они тебя довели, Алеха! — Фрунзе обнял товарища. — За что?

— За агитацию в окопах. Только ты напрасно волнуешься, меня не сломили. Я готов хоть сейчас снова идти к солдатам.

Фрунзе чуть ли не ежедневно выступал со статьями в «Известиях Минского Совета». Он писал о трагическом положении солдат на передовой, призывал к немедленному прекращению войны и заключению мира. Но и размышлял. Война или мир? Если продолжение войны, то в чьих интересах? Если мир, то на каких условиях? При мирной жизни нужна ли армия? Может, лучше заменить армию, по примеру Швейцарии, всеобщим вооружением народа? Как такую, почти фантастическую, идею сделать реальностью?

Солдаты нарасхват читали статьи и заваливали редакцию своими письмами. Они писали, что за самую малую провинность офицеры ставят их под ружье на бруствер окопа, чтобы немцы стреляли по наказанным, как по мишени. Сообщали, что выбиваются из сил, а в тылу табуны отлынивающих от фронта богатых бездельников истошно призывают к продолжению войны.

Как-то вечером, просматривая «Правду», Фрунзе наткнулся на воззвание к солдатам всех воюющих стран, призывающее к братанию русских и немецких солдат на фронте: «Неужели мы будем затягивать эту войну, становясь на сторону своих национальных правительств, своей национальной буржуазии, своих национальных капиталистов и тем разрушая международное единство рабочих всех стран, всего мира?» А под возванием стояла подпись — Ленин.

— Ленин вернулся в Россию! Вот долгожданная весть. Теперь революционные события ускорят свой ход, теперь мы получим ясную и боевую программу действий. Прочти-ка его воззвание о братании на фронте. Что скажешь? — взволновался Фрунзе, передавая газету Южакову.

— А что тут говорить. Сейчас в самый раз отправиться на фронт, затеять душевный разговор между русскими и немецкими солдатами. Цены такому разговору не было бы!

— Тогда — на передовую...

Они выехали в действующую армию мокрым майским утром, но без препятствий добрались только до прифронтовой станции. Дальше поезда не ходили. На вокзале, привокзальной площади, прилегающих к ней улочках кружился человеческий водоворот: тысячи людей спешили в тыл. Солдаты, спекулянты, беженцы штурмовали вагоны, сидели на крышах, в тамбурах, на буферах.

Фрунзе и Южаков пробились в станционный буфет, отыскивали свободные места за столиком. Напрасно они пытались заказать завтрак, официант уныло повторял:

— Ничего, кроме чая и бутербродов с селедкой.

Селедка оказалась гнилой, чай — холодным. Фрунзе отхлебывал из стакана, грустно оглядывая замусоренный буфет.

— Позвольте предложить вам легкий завтрак, господа. Тот, кто приезжает из фронтового ада, имеет право хотя бы на стопку русской горькой, — с сердечной улыбкой заговорил капитан, сидевший за соседним столиком.

— А мы не с фронта. Мы как раз едем на фронт, — ответил Южаков.

Капитан удивленно взглянул на них.

— У вас отличное настроение. Либо вы очень наивны, либо одержимы патриотической идеей. Сейчас этого уже почти не встретишь у тех, кто едет на фронт, — сказал он. — Наоборот, радуются, когда вырываются оттуда.

— Так точно, господин капитан! Одержимы патриотической идеей, — тоном бывалого служаки ответил Южаков.

— Вы мне нравитесь, господа...

— Михаил Михайлов...

— А я Южаков.

— Лаврентий Андерс, — представился офицер, — капитан гвардии Преображенского полка. Между прочим, сочувствую анархистам.

— Почему «между прочим»?

— Сейчас модно состоять в какой-нибудь партии. Они появляются, как дождевые пузыри, играют радугой революционных слов, а радуга соблазняет, как дам красивый мужчина.

— Вам, пожалуй, больше к лицу партия кадетов, — съязвил Южаков.

— Для меня любая партия — фикция. Я только хочу победы русскому оружию, а народу — облегчения его участи, — пропуская мимо ушей колкость Южакова, продолжал Андерс.

— Многие хотели облегчения народу, а принесли могильный покой, — вызывающе сказал Южаков.

— Это вы про нас, дворян? К слову скажу, все видные революционеры — дворяне.

— Таким манером и Ивана Грозного в революционеры зачислите, — опять не удержался от шпильки Южаков.

— Зачем тревожить царские тени? Кстати, есть слух, что Николай Второй будет сослан в Сибирь.

— Пока Временное правительство заключило его в собственный Царскосельский дворец. Сладкая каторга!

— К царю надо относиться, как парижане к Людовику Шестнадцатому. Они говорили: кто обидит короля, того побейте палками, кто станет рукоплескать королю, того вздерните на фонаре. Вот такое отношение к низложенным царственным особам можно повторить и у нас, — вкрадчиво улыбнулся Андерс и выжидающе поднял коричневые глаза на своих странных собеседников.

— Слишком уклончивое отношение к царю и у вас, господин капитан. Фрондируете на русский манер, а мы простые люди и поступим просто! Николая Кровавого — на фонарь за его преступления перед Россией, — гневно произнес Южаков, забыв про всякую осторожность.

— А по-вашему как? — повернулся к Фрунзе капитан.

— А что отвечать мне, дважды приговоренному к смерти царской властью?

Капитан помолчал и снова сказал:

— Все же не понимаю, что гонит вас на фронт?

— Читали воззвание Ленина к солдатам воюющих стран? — спросил Южаков.

— Нет, не читал. К чему же он призывает?

— К братанию на фронте...

— Братание? На передовой линии? С врагами России? Странное занятие! Что можно сказать своим врагам? Да они и не поймут вас: вы не говорите по-немецки, они не знают по-русски. — Капитан презрительно оглядел поношенную шинель Фрунзе.

— Wir sagen: es ist soweit, daß die russischen und die deutschen Arbeiter ihre Bajonette in den Boden stecken. Es ist sinnlos, für die Interessen der Goldsäcke zu sterben.

— Sie sprechen nicht schlecht die Sprache von Schiller und Goethe. Wo haben Sie gelernt?

— In der Verbannung, in Sibirien...¹¹

— А ведь война — совершенно нормальное состояние для человечества, — с темным злорадством продолжал Андерс. — В ней, в войне-то, ярче всего проявляется звериное начало, пещерный инстинкт. Да, мы боимся смерти, но третий год на полях Европы высятся горы трупов, текут реки крови. Деятельность человека — разрушение и смерть, и никакие новые общественные формации не уничтожат войну...

— Откуда у вас такая уверенность? — спросил Фрунзе.

— Потому что война живет в нас самих. Какая разница, за что воюют — за Дарданеллы или новые идеи, — убивают-то везде одинаково.

— А вот мы, большевики, против войн, и, когда возьмем власть, в России наступит мир. Уж мы позаботимся о мире, докажем, что человек во многом отличен от зверя, — возразил Фрунзе.

Капитан Андерс опять скупно улыбнулся. Он теперь знал, с кем имеет дело; в улыбке его таилось вежливое равнодушие и превосходство аристократа над человеком из народа.

— Наивное и опасное заблуждение. Большевики могут захватить власть, но вот удержат ли? Сразу же начнутся споры о том, у кого больше политической мудрости, чтобы распорядиться народами. Споры усложнятся личными устремлениями демагогов. И потом, вечного мира не существует, господин Михайлов.

— Мы стоим по разные стороны баррикад. Я ратую за классовую борьбу, а классовая борьба и диктатура пролетариата — понятия жесткие, о них расшибут голову и русское дворянство, и русская буржуазия, — с непреклонной убежденностью ответил Фрунзе.

— Знаю, слышал. Диктатура пролетариата — любимая тема у апологетов большевизма. Но болтать о диктатуре масс — невежество, а невежество плюс диктатура — это разбой и беззаконие. — Андерс проскрипел стулом, недовольно оттопырив нижнюю губу.

— Аристократы разбойничают не хуже «невежественных» пролетариев, — заметил Южаков.

— А что прикажете делать? Ждать, когда пролетарий возьмет тебя за горло? Это совершенно естественно, когда дело доходит до крайности: или ты их, или они тебя. Таковы, видимо, перспективы русской истории. Но если случай столкнет нас в минуту схватки, вы найдете во мне доброго друга. Вы понравились мне, а в жизни бывает, что и пролетарий аристократу товарищ. В жизни все бывает, господа. Ну, мне пора. Кидайте, господа, горящие факелы мира в сердца своих и чужих. — Андерс поднялся, отдал честь, легкой походкой вышел из буфета.

— Вот это гусь... Такие вырежут Россию, чтобы сохранить свои привилегии, но вырезать будут изысканно, как и подобает благородным господам, — заключил Южаков.

Между соснами висели полосы солнечного света, в зеленой полумгле стонали дикие голуби. Глубоким, грудным голосом пела иволга, напоминая о чем-то таинственном и хорошем. С радостью чувствовал Фрунзе, как это утро, со снопами солнечного света и поющей иволгой, отодвигает в небытие войну. Душа наполнялась сладким покоем тишины, но был покой неверным, обманчивым, как первый ледок над водной бездной. Фрунзе всюду замечал близость фронта: на дороге темнели воронки от снарядов, валялись шинели, сломанные винтовки. Безобразны искалеченные орудийным обстрелом сосны, печальны березовые кресты над братскими могилами, — весна не могла затянуть цветами истерзанную, испоганенную землю.

Депутация русских солдат шла через сосновый бор на передовую, к немецким окопам. Впереди шагал парламентар с белым флагом и медной трубой.

В армейском комитете 3-й армии к идее братания отнеслись довольно холодно, но все же был созван митинг, на котором выступил Фрунзе.

— Начнем братанием — кончим миром. И тогда конец войне. Никто не станет погибать за буржуйские интересы, — заключил он под одобрительный гул солдат.

— Изменник! Торопишься продать Россию тевтонам! Смотри вперед, да оглядывайся, — услышал Фрунзе злой полусшепот и увидел поручика с горящими от ненависти глазами. — Пущу тебе пулю в лоб и перекрещусь от радости...

С приближением к вражеским окопам становилось все беспокойнее. Фрунзе боялся провокации со стороны командования полка. А как отнесутся немцы? Депутация вышла на лесную опушку, перед ней открылась колючая путаница провололочных заграждений, блиндажи с бойницами, замершие в ожидании немецкие солдаты.

Парламентер вскинул над головой белый флаг, поднес трубу к губам; звонкое пение взорвало утреннюю тишину, и был в нем такой страстный призыв, что Фрунзе вздрогнул.

Парламентер перестал трубить, но поющее эхо еще долго перекатывалось по сосновому бору. Депутация русских остановилась.

На бруствере появился немец с белым флагом. Взмахнул им, белое облачко затрепетало в утреннем воздухе, и тотчас раздался ответный зов трубы. Фрунзе облегченно вздохнул, выпрямился, подтянулся. «Все будет хорошо. Люди не могут постоянно находиться в воинственном угаре».

Из немецкого окопа вышла группа солдат. Вновь раздался голос трубы, взлетел белый флаг, русские и немцы стали сходитьсь. Шагов через двадцать остановились, будто чего-то опасаясь, чему-то не веря. Фрунзе опять захлестнуло волнение: братание могло оборваться пулей какого-нибудь маньяка. Сдерживая себя, он шагнул вперед, из группы немцев выступил офицер.

— Я есть самый жаркий сторонник мира с Россией, — по-русски сказал офицер, пожимая влажной ладонью руку Фрунзе. — Ви придите в штаб наш батальон, но я обязан одеть повязка на ваш оба глаз. Таков есть военный закон...

Русским завязали глаза и повели, и вскоре они очутились в сухой просторной землянке — батальонном штабе. Полевые телефоны, электрический свет как бы предупреждали: делегация делегацией, а мы еще долго можем сидеть в окопах, обшитых досками. Но это было обманчивое впечатление: в немцах также жила жажда мира. Фрунзе почувствовал ее по напряженной, тревожной тишине, по ждущим глазам. Они вышли из штаба к солдатским шеренгам, и тысячи испытующих взглядов устремились на русских.

Фрунзе видел обтрепанные мундиры, порванные ботинки с грязными обмотками — окопное сидение давно уничтожило всю прусскую парадность:

— Солдаты! Русские и немецкие рабочие! Простые люди двух великих держав! Я хочу спросить: во имя чего мы воюем? Ради каких целей гибнем от пуль, снарядов, эпидемий? Нашей кровью за-

литы поля Европы, наших страданий не выразить никакими словами. Так во имя чего же творится это кровавое безумие? — заговорил Фрунзе; в голосе его звучали и удивление, и гнев, и уверенность в своей правоте. Он говорил сперва по-русски, потом по-немецки, стараясь с предельной ясностью выразить свои мысли.

— Я отвечу вам, во имя чего погибают простые люди, горят города, отравляется газами все живое. Во имя баснословных прибылей русских буржуев и немецких капиталистов. Погибать ради наглых хищников, беззастенчивых политиканов, дележа чужих земель, липового престижа наших правителей — это слишком дорогая цена. Оплачивать своей кровью благополучие собственных врагов даже не безумие. Это — преступление!..

Его слова падали в солдатские души, как капли расплавленного металла, и пока он говорил, произошли еле уловимые, но важные перемены. Немцы и русские сближались, перемешивались, настоженное недоверие таяло на лицах, появились печальные улыбки, одобрителный гул нарастал и ширился, как океанский прилив.

Фрунзе кончил речь, его обступили со всех сторон, к нему тянулись руки, одобрителные возгласы были дороже всяких наград.

Революционный подъем, вызванный Февралем, разрастался. Минские большевики начали энергично проводить в жизнь ленинские идеи о превращении буржуазной революции в пролетарскую. Их действия встретили сопротивление соглашателей из объединенной социал-демократической партии Минска. Два течения — большевистское и меньшевистское — сшибались по любому вопросу, и все острей, все напряженнее становилась борьба. Контрреволюционеры всех мастей ожили, зашевелились, чувствуя поддержку меньшевиков.

Большевикам стало ясно: необходим полный разрыв с меньшевиками. И вот по инициативе Фрунзе, Любимова, Мясникова был создан Минский комитет партии большевиков под председательством Мясникова. Всего лишь горсточка — тринадцать коммунистов представляли вначале партию, а через месяц она уже насчи-

тивала шестьсот членов. Рабочие, солдаты, крестьяне шли к большевикам, и Минская партийная организация быстро превратилась в передовой отряд рабочего класса.

Минский Совет рабочих и солдатских депутатов решил созвать съезд представителей от солдат Западного фронта, чтобы решить дальнейшую судьбу армии и разоблачить политику Временного правительства, продолжавшего войну «до полной победы».

И такой съезд состоялся в Минске.

Временное правительство, меньшевики, Ставка верховного главнокомандующего пытались вырвать инициативу из рук большевиков. На съезд прибыли из Петрограда самые видные меньшевики — Чхеидзе, Церетели, от кадетов — Родзянко, Родичев, сам главнокомандующий Западного фронта генерал Гурко.

Сторонникам Ставки, Временного правительства, буржуазных партий на съезде противостояли большевики во главе с Фрунзе, Мясниковым, Ногиным, Бадаевым. Фрунзе выступил на съезде с короткой страстной речью:

— Революция защищается не только штыками, но и идеями, которые объединяют солдата-рабочего с солдатом-мужиком. Есть ли у нас такая объединяющая сила? Есть! Это идея немедленного окончания войны, идея мира без аннексий, без контрибуций. Ее, эту идею, выдвинули большевики, и она уже овладела сердцами простых людей...

Солдаты избрали Фрунзе во фронтовой комитет армий Западного фронта, имя его приобрело известность.

Русская армия агонизировала. Дисциплина разваливалась, солдаты больше не хотели сражаться. Барин в офицерском мундире и мужик в солдатской шинели готовились к схватке друг с другом.

Временное правительство назначило верховным главнокомандующим Лавра Корнилова, генерала, на железную руку которого оно возлагало большие надежды.

Правительство объявило наступление на фронтах, солдаты отказывались идти в бой, ненависть к офицерам росла. Солдатская ярость обрушивалась на агитаторов правительства, призывавших к

войне до победного конца. Какого-то штабс-капитана, посмевшегося сказать: «Совет собачьих и рачьих депутатов», солдаты пригвоздили к забору штыками. Другого офицера, интенданта, за похвальбу: «Еще год такой войны — и я миллионер!» — забили прикладами.

Губернский комиссар Временного правительства Авалов упивался своей властью. Было что-то щекотливо-приятное для его души в том, что вот он, сын аптекаря и сам вчерашний провизор, может запрещать, наказывать, распоряжаться людскими судьбами. Еще было приятно сознавать, что ему доверяют Александр Керенский и Борис Савинков; теперь от них, только от них зависит его карьера.

— Сегодня управляю губернией, завтра — чем черт не шутит — стану министром. Надо только вовремя схватить свое счастье за горло, — размышлял Авалов.

Солнечный свет, проникая через гардины, золотистой пылью рассеивался на ковровых дорожках, нежно переливались хрустальные подвески люстр, мраморный камин дышал теплом. Строгая роскошь кабинета усиливала хорошее настроение Авалова.

Он был доволен собой: ему казалось, что он начинает путь к власти и к славе, как Керенский. «Александр Федорович был все-го-навсего адвокат, а теперь великий политический деятель», — подумал Авалов, беря с этажерки французский роман. Раскрыл на случайной странице. Прочитал: «Тени великих людей на вещах, им принадлежавших, имеют особое значение для людей обыкновенных. Вещи напоминают о могуществе и славе владельцев. Приятно погреться даже у чужой славы». Авалову понравилась фраза, и настроение еще больше улучшилось.

Он опять погрузился в сладостные размышления.

Да, он мог бы быть собой доволен, если бы не большевики. Они портят всю музыку, особенно этот Михайлов. Его речи возбуждают рабочих, статьи его в газетах покупаются нарасхват, к тому же он обладает реальной властью. В его распоряжении милицейские отряды, а это уже опасно. Надо принимать какие-то меры.

Авалов прошелся по пушистому ковру, остановился у двери, приподнялся на цыпочки, прищелкнул каблуками.

Этот Михайлов уже давно ведет пропаганду против войны. Печатает возмутительные статьи в большевистской «Звезде». Постой, постой! — Он вспомнил, что утром поступила телеграмма из Питера. Где же она? Он даже не прочел. Нашел телеграмму в ящике письменного стола. «Приказываю закрыть «Звезду» за антиправительственные выступления. Керенский».

У Авалова еще выше поднялось настроение.

— Немедленно вызвать ко мне начальника милиции Михайлова, — приказал он адъютанту и потер ладони, сардонически улыбаясь.

— В приемной начальник милиции, — доложил через некоторое время адъютант.

С еле скрываемой злостью смотрел Авалов на вошедшего. Раздражал его и белый воротник, и черная бабочка галстука, и вообще весь вид Фрунзе.

— Хочу сообщить неприятную новость. По распоряжению правительства большевистская «Звезда» закрывается, — вкрадчиво и с наслаждением объявил Авалов. — Приказываю вам, как начальнику милиции, немедленно исполнить правительственное распоряжение. («Ну что, съел? Как будешь выкручиваться?»). — И добавил пренебрежительным тоном: — Помещение редакции и типографии опечатать, бумагу конфисковать...

— Немедленно исполню ваш приказ. Можно идти? — спросил Фрунзе.

Авалов кивнул. Фрунзе удалился. Минут через десять он был в редакции газеты.

— Керенский прихлопнул нашу «Звезду». Сейчас же вывозите бумагу, шрифты и все ценное и нужное. Спрячем в укромном месте до поры до времени.

— От кого я это слышу? Ты один из сотрудников газеты и сам закрываешь ее! — закипятился редактор. — Беспрецедентный случай в истории русской революционной печати...

— Я закрываю газету как начальник милиции, но как редактор не допущу, чтобы ею завладели местные эсеры. Завтра, слышишь, завтра же будем выпускать газету, но под другим названием. А пока вывози всё из редакции и типографии. Через час приду с милиционерами...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В августовскую тишину воскресного московского утра звучно и сильно ударил звон колокола храма Спасителя, его звук прокатился над улицами и площадями, словно властный призыв. Колокола бесчисленных церквей как будто ждали этого сигнала, над городом разразилась буря звона — так встречала Москва только Рождество Христово, Пасху да торжественный въезд царей. Теперь колокола трезвонили в честь приезда генерала Корнилова — кандидата в диктаторы.

В Москве в Большом театре открывалось Государственное совещание, на которое съехались представители крупной буржуазии, царские генералы, помещики.

Утром к Александровскому вокзалу устремились толпы праздного люда. Зонтики, котелки, военные фуражки, дамские шляпки морской зыбью покачивались над площадью, солнечные блики скользили по физиономиям. Толпа ожидала Корнилова с той истерической возбужденностью, которая так характерна для всех зыбких надежд.

Поезд подошел под звуки оркестра и яростные приветственные крики. Дамы размахивали зонтиками, солидные господа дружно, словно по команде, поднимали над головами котелки. Гвардейские офицеры застыли чеканными шпалерами на перроне.

Генерал Корнилов в мундире защитного цвета, с фуражкой, прижатой к груди, показался в тамбуре; золотой знак георгиевского ордена цепко держал его за горло. Корнилов стал спускаться с вагонной площадки, ощупывая сапогами ступеньки, офицеры подхватили его на руки. Корнилов поплыл над встречающими, при-

подняв черную голову, улыбаясь всеми морщинами своего лица; улыбались даже его большие оттопыренные уши и висячие усы.

Офицеры внесли генерала на широкие вокзальные ступени. От оркестра и колоколов у него шумело в ушах, человеческое море сдвигалось и раскачивалось. Поставленный офицерами на землю, он пошатнулся, но тут же оправился и принял бодрый вид.

Перед ним рухнула на колени красивая дама, обхватила руками генеральский сапог, золотое кольцо с бриллиантом на белом мизинце отражалось в черной коже голенища.

— Слава спасителю и освободителю, — простонала дама. — Россия дождалась настоящего правителя.

В толпе приближенных Корнилова маячил капитан Лаврентий Андерс. Он что-то шептал своему другу, лидеру правых эсеров Борису Савинкову. Управляющий военным министерством Временного правительства был тайным руководителем предстоящего переворота против Керенского, и об этом знал Андерс.

— Что вы сказали? — переспросил Савинков.

— Корнилов не очень внушительная фигура для диктатора, народ любит представительного, мощного властителя, даже по виду...

— Верно, неказист генерал, но это неважно. Я сделаю из него диктатора...

— Все, что вы делаете, вы делаете с размахом, — почтительно заметил Андерс.

— Не вижу особенного размаха, но пора что-то предпринимать. В борьбе с большевизмом я решил опереться на человека с саблей. Сейчас самая подходящая сабля — Корнилов. Вы уже встречались с господами из Московского офицерского союза? — спросил Савинков.

— Не успел еще, но собираюсь.

— Адрес помните?

— Остоженка, три.

— Возможно, я загляну на Остоженку. Если выберу свободную минуту, то загляну. Обещайте офицерам мою поддержку во всем,

особенно в деньгах. Ну, мне пора, генерала повезли в Большой театр. — Савинков, жестко скрипя желтыми крагами, пошел к ожидавшему его автомобилю.

В Большом театре при появлении Корнилова долго не смолкала овация. Ликовали даже престарелые генералы, обычно завидовавшие друг другу по мелочам. Только один Алексей Алексеевич Брусилов поглядывал на бушующий зал безнадежными глазами; перед мысленным взором его вставали картины недавних времен. Он вспомнил, как Корнилов прибыл в его армию на должность командира дивизии. Он водил в атаку солдат, стоял в полный рост под пулями, спал на голой земле, но отличался раздражительным своеволием; своеволие наносило вред и войскам, и ему самому; сказалось оно и в первом же сражении на Юго-Западном фронте. Корнилов преждевременно атаковал немцев. В той яростной атаке пехотная дивизия оторвалась от своих, выдвинулась вперед и попала в окружение.

Трагической оказалась для Корнилова и весна пятнадцатого года. Противник особенно сильные удары обрушивал на его дивизию, зажал ее в клещи и предложил сложить оружие. Корнилов сдался на милость победителей. Правда, через несколько дней он бежал из плена и за свой побег был даже удостоен георгиевского креста. Царь назначил Корнилова командующим 25-м корпусом.

На этом посту застала генерала Февральская революция. Временное правительство выдвинуло его в командующие 8-й армией Юго-Западного фронта. А теперь Борис Савинков, ловкий интриган с изощренным умом Макиавелли, решил использовать Корнилова в своей борьбе против Керенского. Савинков вообще боролся со всеми, кто стоял на его пути к власти, очень часто действуя через подставных лиц.

В тревожной политической атмосфере заседало Государственное совещание. Эсеры призывали к единению с врагами революции, генералы требовали обуздать партию большевиков. Наконец, выступил сам Корнилов. Он настаивал на введении смертной казни в тылу, военизации железных дорог, заводов и фабрик, предостав-

лении военачальникам всей полноты власти, упразднении Советов и солдатских комитетов, запрещении демонстраций и митингов.

— Если требования не будут удовлетворены, я не ручаюсь за оборону Риги. Город может пасть под ударами немцев, и тогда откроется путь на Петроград, — с металлом в голосе закончил Корнилов.

В ответ на генеральский ультиматум московские рабочие объявили стачку и вышли на манифестацию, протестуя против заговора буржуазии и ее генералов.

И буржуазия поняла: немедленное выступление против революции грозит провалом, надо обстоятельнее подготовиться к перевороту. С этой целью Корнилов отправился в Могилев, в Ставку верховного командования.

На Остоженке сошлись молодые офицеры — аристократы и сынки богачей, трепетно мечтавшие о военной диктатуре. Капитан Андерс был принят как представитель Ставки, каждое его слово воспринималось словно приказ.

— Господа офицеры! В Ставке ждут сигнала, — заговорил Андерс. — Приближается время, когда так называемое Временное правительство сменится нашей диктатурой, и тогда конец политическому разврату. Солдатским комитетам — конец, и снова армия будет армией. Генерал Корнилов решил направить в Петроград отборные войска и прикрыть все Советы. В Ставке готовятся к перевороту, но, чтобы отвлечь от него внимание, будет пущен слух о большевистском заговоре. Распространяйте этот слух и вы по всей Москве.

— А если восстания не будет? — спросил пожилой морщинистый человек в черном костюме. Среди гвардейских офицеров он был единственным штатским и этим сразу же привлек внимание капитана Андерса.

— Разве я сказал о восстании? Вы плохо меня слушали. В Петрограде под видом большевиков начнут действовать казаки, и это позволит ввести в столицу войска. На разгром большевиков и Петроградского Совета направляется офицерский отряд в три тысячи человек. То, что я сообщаю, господа, разумеется, строго секретно,

у кого есть вопросы? — спросил Андерс, картинно скрещивая на груди белые руки.

— А как отнесется к перевороту Керенский? Ведь это же переворот и против самого Керенского, — снова сказал человек в черном костюме.

— Переворот готовится с его согласия. Будет создан совет народной обороны, который станет коллективным диктатором России. Председатель совета — Корнилов, его заместители — Керенский, Борис Савинков, вице-адмирал Колчак...

— Коллективных диктаторов не бывает. Диктатор — тот, кто правит единолично, кому подчиняются все, он же — никому, — возразил человек в костюме.

— Не бывает того, не происходит этого, — нервно рассмеялся Андерс. — В России не происходило революций, не бывало большевиков, а теперь они есть.

— Еще вопрос. Почему Савинков не стремится в диктаторы? А ведь он, только он подходит для такой роли из всех наших партийных деятелей.

— Генерал Корнилов — верховный главнокомандующий русских армий. Но если он железный кулак, то Борис Савинков — голова. Быть головой несколько сложнее, чем обыкновенным кулаком.

— Какая роль отводится нашей лиге? Мы что, будем ждать у моря погоды? — по-прежнему не унимался человек в костюме.

Андерс пристальнее взгляделся в его узкое бледное лицо. Кто он? Почему он, штатский, состоит в офицерской лиге?

— С кем имею честь разговаривать? — сухо спросил Андерс.

— С Павлом Андреевичем Кулаковым, членом партии эсеров.

— Офицерской лиге предстоит огромное дело. Именно вам, господа, свергать в Москве комиссаров Временного правительства, а заодно и Совет рабочих и солдатских депутатов. Итак, господа, гвардейские офицеры начнут дело в Питере, вы — в Москве. Ночью я выезжаю в Петроград и позабочусь, чтобы вы знали точный срок восстания. Помните, согласованность — величайшее условие

всякого успеха, военного особенно, — авторитетно заключил Андерс.

На вокзал его провожал Павел Кулаков. Они шли по неосвещенным пыльным улицам, обмениваясь короткими фразами.

— Вы вроде белой вороны среди гвардейских офицеров. Вы дворянин? — спросил Андерс.

— Выходец из народа, окончил Петровскую академию, но мое происхождение не имеет значения.

— Напрасно так думаете. Гвардейские офицеры вряд ли признают вас своим. Они аристократы, вы для них человек из толпы.

— Я тоже аристократ, только аристократ духа, что гораздо важнее, ибо у меня больше воли, силы, решимости, чем у этих лощеных мальчишек, кичащихся своим происхождением. Жаль, что не существует всемирного братства сильных личностей: оно на равных правах признало бы Чингисхана, Малюту Скуратова и Наполеона. На крутых поворотах истории наполеоны и чингисханы всегда шагают рука об руку...

— Между бонапартизмом и чингисхамством все-таки существует разница, — рассмеялся Андерс.

— Я и не ставлю знака равенства. Я только отмечаю общие черты. А это вы тонко подметили — чингисхамство. Палачи и мраконосители всегда и всенепременно хамы.

— Судорожные пути истории, — задумчиво повторил Андерс. — На этих путях мы с вами, голубчик Павел Андреевич, видимо, встретимся — если не друзьями, то противниками наверняка. Вы член какой политической партии?

— Я же сказал — левый эсер. Вернулся недавно в Москву из ссылки.

— Моя цель — восстановление монархии и сохранение дворянских прав и привилегий, а ваши?

— О моих целях поговорим, когда левые эсеры придут к власти. Ваш поезд через десять минут, — напомнил Кулаков, взглянув на вокзальные часы.

— Прощайте, господин Кулаков!

— Желаю успеха, господин капитан!

Петроград встретил Лаврентия Андерса сквозными туманами, тревожным дыханием Балтики, напряженным ожиданием каких-то новых событий.

Столица, пленявшая еще недавно его воображение, постарела, утратив свою северную красоту: проспектами и садами завладели мастеровые и солдаты, на невских набережных вместо чистеньких гимназисток и светских молодых людей прогуливались матросы под ручку с фабричными девицами. Матросы и солдаты были ненавистны Андерсу, но он умел беречь свою ненависть, как драгоценность. Ненависть необходимо обрушивать только на сильного, благородного врага, ничтожествам, рабам достаточно одного презрения, считал он.

Дома он нашел старую полуглухую служанку; отец и сестры еще осенью уехали на Кавказ. Старуха не могла следить за огромным особняком, и все Андерсу казалось запущенным, выморочным; он равнодушно рассматривал гостиную: как прежде, стояли на своих местах оттоманки, те же текинские ковры устлали палисандровый паркет, такими же величественными были портреты государя и государыни между зеркальными итальянскими окнами, но это уже не радовало.

Комнаты родного дома больше походили на музейные залы, семейные реликвии утратили былую ценность, прошлая жизнь была сокрушена, обесцелена, обесславлена. При мысли о развале своего бытия щеки Андерса подернулись зеленоватой бледностью.

«Не узнаю с детства любимых мест и вещей, — думал он, с волнением шагая по комнате. — Не узнаю столицы, своего дома, комнаты, в которой родился, дивана, на котором спал. Сегодня не так повернуты и дворцы, и люди, и даже мысли. Французы говорят: «У кого плохо повернуты мысли, тот плохо кончает». Впрочем, это вздор. Моя жизнь зависит от меня самого».

Утром Андерс отправился к инженеру Николаевскому, председателю «Республиканского центра». Николаевский, сорокалетний мужчина с русой бородицей во всю грудь, краснощекий и светло-

глазый, был предупрежден о приезде Андерса и встретил его без особых предосторожностей.

— Рад, рад познакомиться лично! Борис Викторович и Лавр Георгиевич отзывались о вас самым наилучшим образом, — говорил Николаевский, усаживая гостя за стол, накрытый для завтрака. — Мне доставит удовольствие вам, именно вам, — подчеркнул он, — доложить о деятельности нашего центра. Доложите его высокопревосходительству генералу Корнилову, что к нам идут не одни офицеры, но и банкиры, и профессора. На нашей стороне не только прапорщики да юнкера, но все те штатские, кому дорога великая, единая, неделимая Россия. Мы не только готовы к военному перевороту, но еще и собираем кадры для армии, которая остановит движение всякой революции в России. В этом я вижу высшую нашу цель, — пришепечывая от волнения, говорил Николаевский.

Андерс пил кофе со сливками, ел сдобные булочки. Отставив в сторону серебряную чашечку, сказал с очаровательной улыбкой:

— Не скрою, действиями генерала Корнилова движет одна идея — восстановление монархии. Только монарх может править русской империей, но это будет конституционный правитель, вознесенный на трон армией. Высшие офицеры в Ставке уже придумали и для армии точное, я бы сказал, чеканное название...

— Какое же? — заинтересовался Николаевский.

— Белая армия...

— Глубокое, символическое название...

— Да, это отличная мысль — назвать новую армию цветом белой идеи, — согласился Андерс. — Чистая символика становится силой, и это закономерно, если за свои идеи люди готовы идти на смерть. Но для того, чтобы люди шли на смерть, мало одной, даже самой прекрасной, идеи. Нужны духовные вожди, которые бы превратили идею в грозное оружие, нужны проповедники и поэты, особенно поэты. Они могут самым заурядным идеям придать возвышенный смысл, алмазный блеск, торжественность. Да, только поэты умеют создавать слова-лозунги, слова-девизы, соблазнительные в своей реальности миражи...

Андерс вернулся в Могилев и прямо с вокзала отправился в Ставку. По дороге и в самой Ставке он видел необычно сдержанных, чем-то озабоченных офицеров.

В общей суматохе никто не обращал на него внимания. Андерс напомнил о своем приезде начальнику штаба Духонину, тот посмотрел на него пустыми глазами, ответил небрежно:

— Верховный главнокомандующий занят.

— Я исполнял чрезвычайное поручение его высокопревосходительства и обязан доложить, — настаивал Лидере.

— Капитан, — повысил голос начальник штаба. — Лавр Георгиевич только что объявил Керенского изменником отечества и направил в Петроград войска для ареста Временного правительства. Как можно отвлекать генерала в такие минуты?..

— Так точно, нельзя, — просиял сразу всем лицом Андерс и перекрестился. — Слава богу, началось...

— Подождите минутку, голубчик, — перешел на дружеский тон начальник штаба. — Его высокопревосходительству я...

Дверь кабинета распахнулась, в ее проеме показался генерал Корнилов. Он сразу заметил Андерса.

— Здравствуйте, капитан. Рад вашему возвращению, проходите в кабинет. — Корнилов стал боком, пропуская Андерса. Недовольно спросил у начальника штаба: — Почему нет генерала Краснова? Где он? Как только появится, просите ко мне. — Корнилов прикрыл дверь и быстрым, твердым шагом направился к столу.

Андерс, желая показать верховному главнокомандующему, что чувствует и понимает историчность момента, вытянулся в струнку, не сводя с Корнилова преданных глаз. Корнилов догадался о чувствах капитана и заговорил доверительно.

— Я объявил Керенского изменником отечества и поставил вне закона. Для свершения государственного переворота направил на Петроград войска.

Андерс кратко доложил о «Республиканском центре», о готовности его поддержать действия Корнилова в столице и как особой

милости попросил нового, пусть даже опасного для жизни, поручения.

— У нас теперь одно главное дело — арестовать Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, захватить Зимний дворец и Смольный институт. Успех переворота можно только тогда назвать полным, когда в наших руках окажутся Керенский и Ленин, — сказал Корнилов, поправляя черные обвисшие усы.

В кабинет стремительно вошел генерал Краснов, звякнул шпорами, отдал честь Корнилову. Верховный окинул его оценивающим взглядом и без обиняков спросил:

— Вы с нами, генерал, или против нас?

— Я старый солдат, ваше высокопревосходительство! Всякое приказание исполняю беспрекословно, а свержение Временного правительства и солдатских комитетов считаю святым делом. Когда России угрожает гибель, что остается делать солдату? Сражаться за Россию или умереть за нее, — ответил Краснов, вытягиваясь еще выше и запрокидывая голову.

— Ну вот и прекрасно. Назначаю вас командиром Третьего конного корпуса. Сейчас же отправляйтесь в Псков. От генерала Духонина получите дальнейшие указания, — распорядился главноверх и добавил уже неофициальным тоном: — Теперь от вас, генерал, да вот от таких патриотов, как капитан Андерс, зависит спасение русской империи. Кстати, возьмите с собой капитана, он будет надежным помощником. — Корнилов протянул на прощание руку. — Да поможет вам бог!

— Я воздаю должное Лавру Георгиевичу, он задумал смелую и нужную операцию, но, капитан, такая операция требует порыва и вдохновения не только от командования, но и от солдат. Для государственного переворота необходимы и торжественность момента, и даже театральность: они зажигают сердца отчаянным желанием победить или умереть. А что происходит у нас? Войска идут на столицу, не зная зачем. Будут свергать Временное правительство — во имя какой цели? Верховный главнокомандующий не высту-

пил перед войсками, не сказал им проникновенных напутственных слов. Не обещал награды за храбрость и подвиги. Над воинскими частями не прошумели боевые знамена, не прозвучали походные марши, сам Корнилов остался в Могилеве, будто сомневается в успехе собственного дела. Нехорошо, нехорошо, — сетовал генерал Краснов.

Андерс был согласен: действительно, нехорошо как-то начинался так долго подготавливаемый мятеж. В него вложены огромные деньги, к нему привлечены лучшие силы армии, но дух легкомыслия и пошлого авантюризма витает над заговорщиками. Воинские части отправились в столицу, словно на праздничный парад, но по дороге утратили свой строгий порядок.

Генерал Краснов и капитан Андерс убедились в этом печальном факте, как только прибыли на станцию Дно, где стояли эшелоны кавказской «дикой дивизии». На вокзале было вавилонское столпотворение: офицеры не находили свою часть, никто не знал, что делать, чьи распоряжения выполнять.

Офицеры дивизионного штаба встретили генерала Краснова с каменным равнодушием.

— Где начальник дивизии? — спросил Краснов.

— Дома, по соседству с вокзалом, — ответил старший по чину офицер.

— Вам известны, господа, цели нашего похода на Петроград? — обратился к офицерам Краснов.

— Идем свергать Керенского...

— Это все, господа?

— Ликвидируем Петроградский Совет депутатов...

— Вы объяснили своим горцам, что предстоит им свершить в столице?

— А зачем? Им все равно куда идти, кого резать.

Краснов сердито хмыкнул и, сопровождаемый капитаном Андерсом, пошел к командиру кавказской дивизии. Тот только что встал и встретил их с кислой улыбкой.

— Очень рад вашему приезду. Ночью получил из штаба корпуса диспозицию и план Петрограда, — сообщил генерал. — В диспозиции все предусмотрено: мы ударим по столице горскими эскадронами и казачьими сотнями.

Краснов слушал, покусывая усы, им овладевало то угарное состояние духа, когда все видится в мрачном свете и каждая мелочь кажется ловушкой. У него, донского атамана, недавно ставшего генералом, были боевой опыт, недюжинный хитрый ум.

— Предусмотрено все, кроме одного. И это — встреча с противником у ворот Петрограда. А что, если Керенский уже двинул против нас свои войска и большевики приняли какие-то меры?

— Керенский объявил генерала Корнилова изменником и отстранил от поста главнокомандующего.

— Ну вот, видите! Ваша дивизия знает об этом?

— Возвания Керенского передаются из рук в руки.

— Приказываю немедленно выгрузиться из вагонов и в конном строю двигаться на Петроград. Никаких промедлений, никаких колебаний! Сам еду в Псков, чтобы скоординировать наши действия.

— Я звонил в штаб. Командование выезжает из Пскова, чтобы вместе с войсками вступить в столицу, — неопределенно сказал генерал.

Краснов повернулся к двери, но добавил приказным тоном:

— Капитан Андерс остается в вашем распоряжении. Думаю, он вам будет полезен.

Генерал посмотрел в окно на удаляющегося Краснова и, когда тот скрылся за углом дома, дружелюбно спросил:

— Хотите водки, капитан?

— С утра, господин генерал?

— Мне все равно когда пить, когда опохмеляться. Все полетело вверх тормашками: империя, царь, дворянство; над всем торжествуют плебейские хари. В такие времена власть становится прозрачной, и смешно свергать Керенского, чтобы установить еще более прозрачную диктатуру Корнилова...

— А кто же не призрак? — недовольно спросил Андерс.

— Ждете, что скажу: Ленин? Напрасно. Для меня Ленин — такой же призрак, как и Керенский; а вот кто действительно страшная сила, так это наши солдаты, — с трудом подбирая слова, говорил генерал. — Сегодня армия опасна для ее командиров, но безвредна для немцев.

Солдат заражен идеей мира, и мир ему нужен, чтобы освободиться от помещика, от нас с вами, от собственной совести. Грабь и жги барские усадьбы, стреляй офицеров — вот о чем мечтает солдат. Когда Керенский пообещал мир и свободу, солдаты полюбили в нем именно идею мира. Когда же он потребовал войны до победного конца, солдаты возненавидели его и теперь видят идею мира в Ленине. Так что мятеж Корнилова всего лишь увертюра к гражданской войне, а когда братья начинают воевать друг с другом, отечество неминуемо гибнет...

— Россия не может погибнуть, — убежденно возразил Андерс.

— Из пепла, как известно, возрождается одна сказочная птица феникс, а из костей русской империи вырастет новое, неслыханное государство. Вы представляете, что принесет оно Европе и миру? Я лично — нет. Я, как и вы, дворянин, нас императорская Россия охраняла от нашего же народа. Казалось бы, только нам и поддерживать мятеж Корнилова, а я не верю в его успех, — безнадежным голосом заключил командир дивизии.

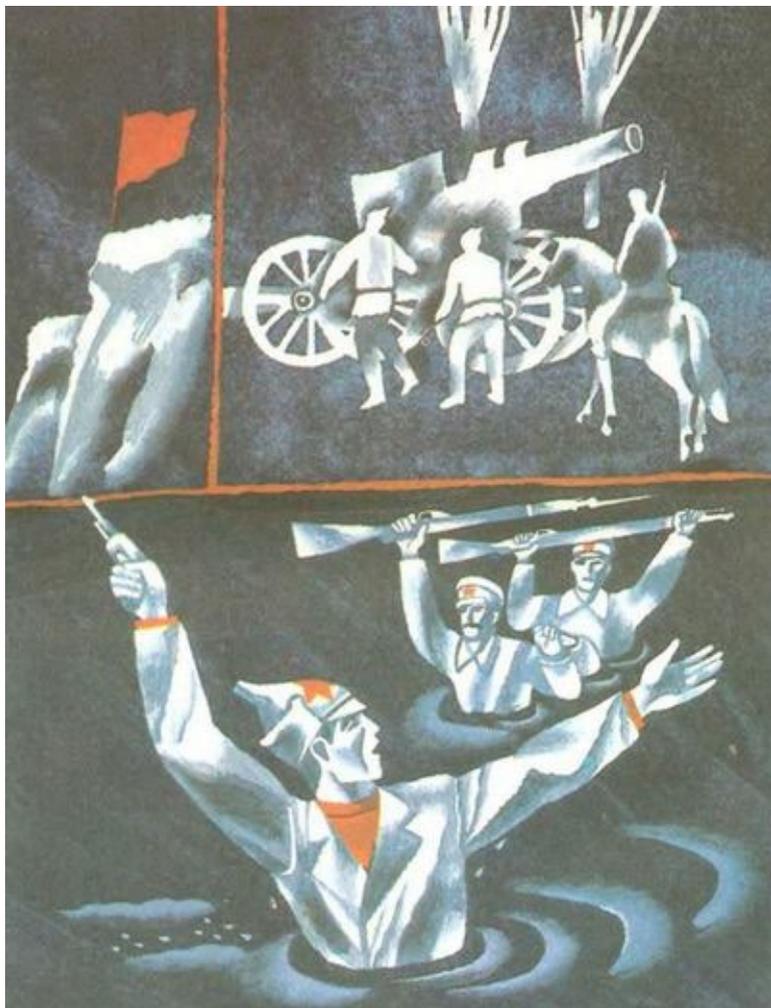
— Но вы же командуете дивизией, на которую возложена одна из главных задач переворота, — воскликнул Андерс.

— Я командую тоже призраком. И не знаю, где находятся мои эскадроны; одни, по туманным сведениям, уже около Царского Села, другие все еще торчат в Орше, — уныло закончил генерал.

Они пришли на вокзал, в штаб, где ждали их невеселые новости. Третья кавалерийская бригада добралась только до Вырицы, дальше железнодорожный путь оказался разобранным. Горцы в конном строю двинулись на Царское Село, но были остановлены огнем рабочих дружин. Откуда появились эти странные дружины, в штабе дивизии не знали. Из Петрограда перехвачена телеграмма: солдаты гвардейских полков отказались поддерживать мятеж. В

Орше два эскадрона горцев взбунтовались и не желают следовать на столицу.

— Капитан Андерс, отправляйтесь в Оршу и усмирите бунтовщиков, — приказал командир дивизии.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Большевики неусыпно следили за подготовкой корниловского мятежа и были в курсе всех дел заговорщиков. Они первыми предупредили рабочих и солдат столицы о смертельной опасности, грозящей революции.

— Революция в опасности! — короткая эта фраза прозвучала набатом над смятенной столицей.

Рабочие предместья, солдатские казармы всколыхнулись, взволновались, все пришло в движение. Большевистские агитаторы выступали в полках столичного гарнизона, на балтийских кораблях, на фабриках и заводах. Всюду создавались отряды Красной гвардии. Рабочие требовали оружия, и Керенскому пришлось уступить: военные склады раскрылись.

А в Минске на третий день мятежа большевики создали Временный военно-революционный комитет, и возглавил его Михаил Фрунзе.

— Изолировать Ставку верховного командования, не пропустить корниловские войска на Петроград — вот наша цель, — заявил на первом же заседании Фрунзе. — Возьмем под свой контроль железнодорожные станции, не допустим корниловцев в столицу...

По приказу Минского ревкома рабочие дружины и милицеские отряды заняли железнодорожные узлы Минск, Гомель, Витебск, Оршу. Рабочие отцепляли паровозы от эшелонов, разбирали рельсы, рвали телеграфную связь. Среди солдат работали большевики агитаторы, их слова действовали на душу, как грозовой ливень на иссохшую землю.

— Большевики за мир, генералы за войну, а вы за что?..

— Царя свергли, а диктатора захотели? Эх вы, рабы, рабы...

— Корнилов несет свободу жить голыми на голой земле.

Агитаторы будоражили корниловских солдат, идея классовой солидарности приобретала такую же весомость, как слово о мире и хлебе.

Для первого удара по Петрограду Корнилов избрал кавказскую «дикую дивизию». Ее эшелоны двигались через Оршу, офицеры зорко оберегали горцев от агитаторов.

Фрунзе узнал о продвижении «дикой дивизии», когда ее передовые части прибыли в Оршу.

— Задержать, распропагандировать, а если надобно — разоружить, — предложил он солдатскому комитету Западного фронта. — Кто может исполнить приказ?

— Разоружение горцев может вызвать кровопролитие. Народ они горячий, оружие для них что для попа икона, — возразил Южаков.

— Направить бы к горцам умного агитатора, да чтобы ихний джигит был и словом владел, как кинжалом, — сказал Фрунзе.

— Знаю такого джигита. На трех языках говорит, как пишет. Командир эскадрона Хаджи-Мурат, а фамилия такая — язык сломаешь. Дза-ра-хо-хов, — по складам произнес Южаков.

— Где же он? Позовите его.

— Он как раз в Орше.

— Тогда отправляйтесь в Оршу. И действуйте, действуйте, время не ждет! Когда разоружите горцев, сообщите мне, — приказал Фрунзе.

Поезд, в котором ехал капитан Андерс, часто останавливался на полустанках, пропуская эшелоны с воинскими частями. Части эти растянулись на многие версты и больше стояли, чем продвигались к столице, и Андерс был невольным свидетелем солдатских митингов.

Горцы сбивались в толпы, и сразу же начинался разноязычный говор. Бородатые, искаженные страстями лица, глаза в темном огне, пальцы, хватающиеся за рукоятки кинжалов, — от этого зрелища мурашки пробегали по телу капитана.

Ночью капитан приехал в Оршу, но не нашел эскадронов горцев. На вокзале была только казачья сотня. На глаза ему попался горбоносый лохматый кавказец с погонами вахмистра.

— Где тут горцы? — спросил Лидере.

Вахмистр, сверкнув выпуклыми масляными глазами, прищурился на капитана.

— А что такое? — в свою очередь спросил он, похлестывая нагайкой по голенищу.

— Спрашиваю — так отвечай.

— Ты мне не тыкай, я тебе не кунак.

Андерс опешил от такого нахальства, но, смиряя злость, сказал миролюбиво:

— Я из штаба дивизии. Тут должны быть два эскадрона...

— Не видать тебе этих эскадронов! — дерзко захохотал вахмистр. — Мы их тут разоружили и отправили в Быхов...

— Что ты врешь! Как смеешь так разговаривать с капитаном! Фамилия?

— Ца-ца-ца... Фамилие мое — по-жа-луста: Дзарахохов, Хаджи-Мурат, будем знакомы. А ты корниловец, да? — Вахмистр выдернул из кобуры револьвер. — А ну иди в вокзал и не рыпайся!

Андерсу пришлось подчиниться.

В станционном буфете за столиком что-то писал рыжеволосый мужчина, — лицо его показалось знакомым Андерсу.

— Корниловца заарканил, товарищ Южак. Такой джигит — голыми руками взял, — доложил Хаджи-Мурат.

Рыжеволосый поднял на вошедших глаза.

— Неожиданная встреча, не правда ли? Если не ошибаюсь, капитан Андерс?

— Все стало неожиданным в наше проклятое время, — проворкотал озадаченный Андерс.

— Удивлен вашей неосторожностью, капитан. Вы же образованный человек. Как вы могли вступить в заговор обреченных?

— Почему же обреченных?

— Ваш заговор в самом начале погиб. Руководители мятежа сдались, не совершив ничего интересного для истории.

— Вы или обманываете меня, или сами обманываетесь. Я еще утром видел генерала Краснова.

— Вы же видели генерала вчерашним утром. А за сутки произошли решающие перемены. Корнилов, Деникин и другие генералы арестованы. Кавказская «дикая дивизия» отказалась поддерживать мятеж. Об этих событиях вы еще, видно, не знаете, капитан...

Андерс молчал, ошеломленный, не желая верить, но уже не сомневаясь в правдивости этого сообщения.

— Кто же теперь верховный главнокомандующий? — растерянно спросил он.

— Александр Федорович Керенский, но это только пока. Его правительство, как вы знаете, ведь тоже временного характера.

— Участников мятежа станут судить по законам военного времени?

— А как же иначе... Они сдали Ригу, открыли немцам путь на Петроград. Такие действия называются изменой отечеству. Я уже не говорю о том, что генералы подняли мятеж против революции.

— Мне казалось, большевики и Временное правительство — непримиримые враги, а они совместно громят Корнилова.

— Мы спасаем революцию, а не Временное правительство, — холодно объяснил Южаков.

В Минском ревкоме непрерывно звонил телефон, выстукивал свои точки-тире телеграфный аппарат. За окном резвились воробы, мелькали тени, но Фрунзе не замечал наступившего утра. Он или отвечал на звонки, или же читал нескончаемую телеграфную ленту. «Генералы Корнилов и Деникин посажены в тюрьму. Генерал Крымов застрелился. В Орше Южаков разоружил два эскадрона «дикой дивизии» и под конвоем отвел в Быхов. Чеченский эскадрон под командой Хаджи-Мурата Дзарахохова перешел на сторону большевиков», — читал Фрунзе.

Телеграфный аппарат перестал выстукивать, телефон замолчал. Фрунзе обернулся к окну. Верхушки тополей купались в заре, от ее густого пламени загорались лужи, в распахнутую форточку тек вкусный освежающий воздух.

Фрунзе расправил плечи, потянулся до хруста в костях.

— Удивительная сегодня заря. Похожа на алую завесу, прикрывшую горизонт, — с удовольствием сказал он...

Если бы люди не только предчувствовали грядущее, но и представляли его во времени, они бы знали: до великого октябрьского дня оставалось только пятьдесят утренних зорь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все было дорого ему здесь: и березовые рощи, где собирались на маевки ткачи, и глинистые берега Талки, над которой происходили их гневные манифестации. В шуме осеннего ветра, в звучании речной воды чудился ему отдаленный гул шагающих рабочих колонн, конский топот, свист казачьих нагаек, звук летящих в полицейских камней. Уйма разнообразных событий толпится в памяти, на многих уже печать истории.

Невольно вспомнился Петербург. Осень. Девятьсот четвертый год. Он, студент Политехнического института, готовится к борьбе против самодержавия. Бунтарство в крови у юных, молодежь требует всего, что кажется ей совершенно необходимым, но одно дело — желать конституции, хотя бы и куцей, и совсем иное — ликвидации самодержавия.

В первый же студенческий год он вступил в партию социал-демократов, примкнув к ее большевистскому крылу. Он жаждал конкретной революционной деятельности и не терпел отвлеченных рассуждений о свободе и равенстве. Начавшийся 1905 год заставил его действовать.

Вместе с народными толпами шел он в Кровавое воскресенье к Зимнему дворцу, а после написал матери: «Потоки крови, проли-

тые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен. Рубикон перейден, дорога определена. Отдаю всего себя революции».

Это были не просто слова: он человек действия, а не фраз. С Кровавого воскресенья для Фрунзе началась новая, полная опасностей жизнь: он стал профессиональным революционером, перешел на подпольную работу. Московский комитет РСДРП послал его в Иваново-Вознесенск. Там все было контрастно: роскошь и нищета глядели друг на друга, в глазах сытых мерцало барственное превосходство, в глазах голодных — тихая ненависть; но еще была неосознанной, смутной, как глубь лесных омутов, эта ненависть. Он работал неумоимо — распространял нелегальную литературу, готовил рабочих к стачке. Первая стачка началась в зеленый майский вечер на берегу реки Талки.

Тогда смолкли заводские гудки, перестали дымиться фабричные трубы. На митинге он выступил с горячей речью, рабочие услышали от него то главное, ради чего бастовали. Фрунзе требовал восьмичасового рабочего дня, оплаты по болезни, врачебной помощи, пенсий потерявшим работоспособность.

Пять дней собирались на митинги забастовщики, на шестой губернатор запретил их. Тогда же рабочие создали Совет для руководства стачкой. Так возник первый Совет рабочих депутатов, и он — двадцатилетний — был одним из его создателей.

Когда Совету стала угрожать полиция, Фрунзе организовал для его защиты боевую дружину. Даже форму для дружинников — рубахи с широкими поясами — придумал он.

Через несколько дней снова всколыхнулась жизнь Иваново-Вознесенска. Когда рабочая манифестация направилась на реку Талку, перепуганные богачи поспешно покинули город.

Рабочие шли во всю ширину городских улиц, вооруженные только песней. Но какая это была песня! Под знаменами, пламенеющими на майском ветру, над холодной синей водой Талки призывно звучали слова «Марсельезы». Фрунзе шагал в первой шеренге и пел вместе со всеми: «К оружию, граждане!»

Он любил «Марсельезу», ставшую боевой песней и русских революционеров, но сожалел, что у граждан нет оружия и самыми пламенными словами не отобьешь конную атаку казачьих сотен. Казаки ожидали в зарослях ивняка и напали, как всегда, неожиданно. Жандармы еще раз одержали бесславную победу, в упор расстреливая рабочих. Манифестанты были разогнаны, многих посадили под замок. Его же, организатора стачки, которого все знали под именем ткача Трифоныча, укрыли товарищи.

Расправа с манифестантами породила новую бурю классового гнева. В городе запылали текстильные фабрики, особняки богачей, магазины, повреждалась телеграфная связь с Москвой и Владимиром. Рабочие снова сошлись на Талке. На одном из митингов Фрунзе зачитал протест рабочих, адресованный губернатору:

— «Вы расстреляли рабочих на реке Талке, залили ее берега кровью. Но знайте, кровь рабочих, слезы женщин и детей перенесутся на улицы города и там все будет поставлено на карту борьбы. Мы заявляем, что от своих требований не отступим».

Осенью девятьсот пятого года забастовочное движение захлестнуло всю Россию. Бастовали Москва, Петербург, Прибалтика, Украина, Сибирь. Правительство двинуло против народа полицию и войска. Самодержавие не жалело ни пуль, ни виселиц, пытаясь устрашить великий народ.

Фрунзе обратился с прокламацией к иванововознесенцам:

— «Пусть теперь каждый из вас скажет, положив руку на сердце: не правы ли были мы, социал-демократы, когда говорили вам, что царь — это первый грабитель, что он прикрывает своим именем всякое насилие?»

Прокламации воодушевляли рабочих и приводили в ярость жандармов. Трифоныча искали на окраинах Иваново-Вознесенска, он же скрывался у рабочих Шуи. Однажды, когда возвращался с подпольного собрания, его все-таки схватили...

С пронзительной ясностью, словно это было вчера, Фрунзе увидел себя с веревкой на шее, привязанным к казачьему седлу. Он бежал тогда за лошадью, сунув руки под петлю, чтобы не задох-

нуться. Бежал из последних сил, а казаки избивали его нагайками. Он упал и потерял сознание. Очнулся в тюремной камере.

Через две недели его выпустили: не было серьезных улик. Не успел он взяться за работу — в Москве началось вооруженное восстание. Рабочие из Иваново-Вознесенска, Шуи поспешили на помощь восставшим; вместе со своими друзьями-дружинниками на баррикадах Пресни дрался и он.

После разгрома Декабрьского восстания он вернулся в Иваново-Вознесенск. Опять началась черновая работа, но тут произошло событие, сыгравшее в его жизни исключительную роль. Губернская организация РСДРП направила его делегатом на IV Объединительный съезд РСДРП в Стокгольме.

С трепетом поднимался он по ступеням Народного дома, где открылся съезд русских социал-демократов. В клубных комнатах — большевики и меньшевики, причем меньшевиков значительно больше. С каждым годом политические разногласия между ними становятся все непримиримее. Обе фракции формально еще состоят в одной партии, но их пути неудержимо расходятся.

В кулуарах клуба он впервые увидел многих русских революционеров, познакомился с ними. На шведской земле сошлись разные русские и нерусские люди, но из всех делегатов один особенно интересовал Фрунзе, с ним хотелось поговорить, посоветоваться о революционной работе.

Он посмотрел в окно на площадь, заштрихованную сеткой дождя.

Шведы бегут по своим делам, черные зонтики над головами колышутся, словно мелкая морская рябь, мокро лоснятся островерхие крыши, чужой, незнакомый город живет за окнами.

— Где этот товарищ из текстильного края? Я хочу с ним познакомиться. Так это вы — Арсений! Здравствуйте, товарищ Арсений! — Ленин пожимал ему руку и добродушно смеялся, и он сразу почувствовал себя легко и раскованно в присутствии этого невысокого, коренастого человека.

Присев на подоконник, Ленин расспрашивал о первом рабочем Совете в Иваново-Вознесенске, митингах на реке Талке, баррикадах на Пресне. Интересовался и боевыми дружинами, и настроением рабочих после восстания в Москве. А потом сказал:

— Декабрьская борьба 1905 года доказала, что вооруженное восстание может победить при современных условиях военной техники и военной организации. Вот в чем его главный успех! Пролетариат собирает силы и готовится к великому бою, вот тогда-то и станут архи необходимы боевые дружины. Готовьте их, товарищ Арсений, и чем больше, тем лучше!

Фрунзе вернулся после Стокгольмского съезда в Шую, и опять началась его жизнь подпольщика. А полиция все искала и искала антиправительственного агитатора Арсения. Среди агентов был некий урядник Перлов; у этого сыщика зоркий глаз и тонкий нюх. Зимой девятьсот седьмого года он напал на след и уже не выпускал Фрунзе из виду. В пригородном лесу между ними началась перестрелка, урядник отступил.

Через несколько дней он снова выследил Фрунзе, на этот раз в домике старой ткачихи. Домик окружили жандармы, урядник стучал в окно и торжествующе выкрикивал:

— Попался все-таки... Лучше сдавайся!

— Возьмешь меня только мертвым. — Фрунзе вынул револьвер.

— И тебя, и хозяев перестреляем! — грозился урядник.

Фрунзе посмотрел на хозяйку, на двух дочек ее. Услышал голос урядника:

— Тащите хворост, спалим это логово...

— Пощади детей, Арсений! — Зарыдав, женщина склонила голову.

Тогда он, приоткрыв форточку, вышвырнул револьвер на улицу.

...Десять лет назад происходило все это, и вот перед ним снова шумят сентябрьским ветром знакомые березы, словно стараясь вы-

вести из воспоминаний. Но не так-то просто вернуться из прошлого в сегодняшний день.

А сегодня разворачивает перед ним бесконечный свиток противоречивых событий. Все спуталось, слилось в какое-то странное марево — кровь и слезы, слова любви и слова ненависти, правды и лжи, равенства и рабства. Народ совершил революцию, но богачи пользуются ее плодами. Большевики захватили было власть, но тут же уступили ее кадетам. Сегодня они хвастаются, что стали исторически необходимы Февральской революции. Иными словами, русской буржуазии. Политические хамелеоны! Между прочим, существует ли историческая подлость? Она, подлость-то, бесконечно разнообразна в формах своего проявления, но едина в сущности. Так может ли быть исторической заранее обдуманная бойня? Заведомо неправый суд? Еще до казни намыленная петля? Обман и ложь во имя грядущего? Остроги? пытки? Вечная ссылка? По всей вероятности — да, ибо история не только свиток героических дел, она также и человеческая кровь, народные страдания, политические преступления. История — в поисках путей к справедливости, она же и тупик произвола. Словом, исторично все, что накладывает свою печать на судьбы человечества. Вот и свержение Временного правительства стало исторической необходимостью. Для этой работы партия и направила его в текстильный край.

Вместе с ним приехали Исидор Любимов и Иосиф Гамбург. Они остались в Иваново-Вознесенске, Фрунзе же направился в Шую, где размещалось почти двадцать тысяч солдат. Шуйские рабочие просили, чтобы прибыл их старый друг — агитатор Арсений.

Он приехал перед выборами в городскую думу. Шуйские большевики отрицательно относились к ней: зачем, дескать, она, если в городе существует Совет?

— Нужно выбросить из думы соглашателей и взять ее в свои руки, — внушал Фрунзе.

Большевики выдвинули его кандидатом в думу. Выборы принесли большой успех: из сорока мест большевики получили трид-

цать. Фрунзе стал председателем думы, он же возглавил уездную управу и Совет рабочих и солдатских депутатов, осуществлял, как шутили друзья, троевластие.

Россией еще правил Керенский, а в Шуе уже существовала рабочая республика и председателем ее был Михаил Фрунзе.

Эхо времени

Настроение всюду, и особенно среди рабочих и солдат, было ярко революционное. Советы чувствовали свою силу и действовали в сознании абсолютной неизбежности окончательного перехода власти по всей республике в руки трудящихся.

Фрунзе

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Неотложные дела, обрушившиеся на Фрунзе, не оставляли свободной минуты. Он ложился спать запоздно, вставал на рассвете. Если бы не Соня, совсем забыл бы о еде и отдыхе.

В Шуе состоялся первый уездный съезд Советов, и, хотя делегаты говорили о войне, разрухе, надвигающемся голоде, Фрунзе в своем выступлении прямо сказал о передаче власти народу:

— В состоянии ли коалиционное правительство вывести страну из тупика и разрешить все те вопросы, которые выдвигаются жизнью? Пойдет ли правительство настоящего состава против себя? Нет. Пользуется ли новое правительство доверием широких народных масс? Нет. Единственным выходом из создавшегося положения является передача власти Советам...

Гул одобрения был ответом на его речь.

В тот же день он отправил Временному правительству телеграмму: «Город без хлеба, положение тревожное, волнения рабочих, необходимо принятие экстренных мер, шлите маршрутные поезда с хлебом».

Правительство не ответило.

Тогда Шуйский Совет призвал рабочих ко всеобщей стачке. В назначенный час остановились шуйские фабрики, вооруженные рабочие пикеты взяли их под охрану, стачечные комитеты не пропускали на предприятия даже хозяев.

Стачку поддержали Иваново-Вознесенск, Кинешма, Кострома. Фрунзе без усталости выступал на митингах, на собраниях и почти каждую свою речь кончал словами:

— Нам нужна Красная гвардия! Формируйте боевые отряды, вооружайтесь!

Мигала, оплывая, стеариновая свеча, в оконные стекла постукивал осенний дождь, из ночи доносились тревожные гудки паровозов. Уже три часа, надо бы лечь. Он снял пиджак, повесил на стул, оторвал листок настенного календаря.

«Двадцать пятое октября... Еще один день ушел. Обычный октябрьский денек, не оставит даже следа в русской истории. А что сейчас в Петрограде? Ведь должен был открыться Второй съезд Советов. Как жаль, что из-за неотложных дел не смог я поехать в Питер», — говорил он себе, неприязненно глядя на телефон, — по нему с трудом дозвонишься до Иваново-Вознесенска, а о связи со столицей и мечтать не приходится. Откуда-то из глубины памяти выплыла старинная английская пословица: «Вечность влюблена в явления времени». Он тихо рассмеялся. Английские пословицы слишком неопределенны. По форме хороши, но смысл какой-то ускользающий. То ли дело русские: «Время и труд все перетрут». Ясно и точно, как выстрел из маузера. Четвертый час, надо спать...

Раздался резкий телефонный звонок.

«Кто это в такое время?» — Он снял трубку.

— Говорит дежурный шуйского почтамта. Я только что принял депешу из Петрограда. Временное правительство низложено. Власть перешла к большевикам. Вы слышите, товарищ Фрунзе?..

Он молчал, ошеломленный новостью, такой долгожданной и такой невероятной, похожей на марево: пошевелись — и растает.

— Через пять минут я буду у вас.

Необычный энтузиазм охватил Фрунзе. Он быстро оделся и выбежал в дождливый предутренний сумрак. На телеграфе жадно прочитал новые депеши, приказал дежурному:

— Все новости обязательно передавайте в Совет! Я буду там.

Он поспешил в Совет, по дороге поднимая своих друзей:

— Революция совершилась! Власть перешла в руки народа...

Со всех концов города сбегались в Совет рабочие, солдаты. Фрунзе командовал решительно:

— Красной гвардии занять казначейство и банк...

Красногвардейцы тут же направились исполнять приказ.

— Третьей роте Владимирского полка взять под охрану военные склады...

Третья рота скрылась в предрассветном сумраке.

Рабочие дружины и восставшие солдатские роты занимали учреждения, почту, телеграф, казармы.

Утром двадцать седьмого Фрунзе связался с председателем Иваново-вознесенской думы Исидором Любимовым.

— В Шуе власть в рабочих руках. Переворот произошел без единого выстрела. А как у вас, Исидор?

— И у нас властвует рабочий класс. В городе оживление, народ поддерживает Советы, — коротко ответил Любимов. — По телефону всего не расскажешь. Такое надо видеть своими глазами, чувствовать своим сердцем. Есть ли у тебя новости из Петрограда?

— Шуя потеряла связь с Питером и Москвой. Мы как на необитаемом острове.

— Съезд Советов избрал ВЦИК — рабоче-солдатский парламент Российской республики. Поступают телеграммы о поддержке власти Советов из Киева, Красноярска, Казани. В Москве создан Военно-революционный комитет, возглавляемый большевиками...

— А Керенский что? Арестован?

— Керенский бежал в неизвестном направлении. Члены Временного правительства заключены в Петропавловскую крепость...

— Я тебе еще позвоню. Сейчас открывается собрание народных представителей.

Мир изменился для Фрунзе, время получило новое измерение; он ходил по комнате, ища и не находя слов для выражения мыслей и чувств. То, о чем он мечтал, за что боролся всю жизнь, из бесконечно далекого будущего стало настоящим. Мечты воплотились в действительность: Великая Революция совершена!

«Народ стряхнул со страниц истории правительство помещиков и капиталистов. Да и кто, и когда, и где может устоять против народа? Народ вздохнет — и разразится буря, народ топнет ногой — и будет землетрясение, говорят киргизы. Философам и поэтам придется только склонить голову перед народной мудростью», — размышлял он.

В Народном доме, переполненном рабочими и солдатами, он открыл заседание Совета депутатов, зачитал Воззвание к населению Шуи:

— «Наша Родина вновь переживает час великого испытания. Старая власть, власть Временного правительства, состоявшая из ставленников помещиков и капиталистов, сметена порывом народного возмущения. В муках и боли рождается новая, истинно народная власть, власть Советов рабочих, солдат и крестьян. Только она способна вывести страну из состояния развала и анархии...

Рабочий, солдат и крестьянин! От тебя зависит успех новой власти. Сплотимся железной стеной вокруг Советов и обеспечим победу новому правительству государства Российского».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Керенский бросился на оттоманку и замер, вслушиваясь в предрассветную тишину кабинета. Вкрадчиво тикали каминные часы, словно предупреждая о близкой опасности, обвисли в изнеможении фламандские гардины, на зеленом пышном ковре валялся растоптанный окурок сигары.

Приоткрыв глаза, он переводил их с одного предмета на другой: бесценные статуи, картины великих живописцев, развешанные по стенам, сами стены, давно уже ставшие синонимом цар-

ственной роскоши. Еще вчера он с плохо скрываемой радостью любовался удивительными созданиями человеческого гения, гордясь, что живет, ест, спит, думает среди них, сейчас же ум его воспринимал только одно — подступающую со всех сторон опасность.

Он поднялся с оттоманки, одернул полувоенный защитного цвета френч, провел ладонью по коротко подстриженным волосам. Такая прическа называлась «ежик», и, как только он стал министром-председателем, все столичные франты и молодые чиновники ввели моду на его прическу. Это доставляло ему удовольствие. Он был тщеславен, да и было от чего вскружиться даже самой расудительной голове. В тридцать шесть лет он глава правительства и верховный главнокомандующий армии великого государства.

Уверенно и смело взошел он на вершину государственной власти, но не успел укрепиться. Сегодня все колеблется, шатается, ускользает из рук, и кажется, не только власть — сама жизнь его обречена.

Он приподнял двумя пальцами гардину.

На Дворцовой площади, странно пустынной, все так же ввинчивается в небо Александровская колонна с ангелом на вершине, арка Главного штаба похожа на дуло невиданного орудия, нацеленного на Зимний дворец, и всё куда-то скачут в утреннем сумраке обезумевшие бронзовые кони.

Он опустил гардину, пробежал в спальню с окнами на Неву. У Дворцового моста напротив его окон маячили матросские патрули: восставшие уже овладели всеми мостами столицы. На Неве стояли боевые корабли. Вокруг Зимнего сжимается кольцо большевистских войск, очень скоро Временное правительство и он сам окажутся в железном капкане. Надо действовать сейчас же, немедленно!

Круто повернувшись на каблуках, он заспешил в кабинет — черные двойники сопровождали его от одного настенного зеркала к другому. Не успел перевести дух — в кабинет вошел адъютант.

— Большевики захватили центральную телефонную станцию. Телеграфная связь со Ставкой, со всеми фронтами прервана. Сведений о высланных с Северного фронта подкреплениях по-прежнему нет, а ведь только они могут еще спасти положение, — доложил посеревший от бессонницы и волнения адъютант.

— Где застряли эшелоны с войсками?

— Где-то около Гатчины...

— «Где-то около»... Черт знает что такое!

— Во дворце полторы тысячи человек охраны, мы продержимся до прихода казаков, — неуверенно сказал адъютант.

— Полторы тысячи?! Всего женский батальон да юнкера. — Он говорил, нервно размахивая руками, наседая на адъютанта, словно тот был виновен во всем. — Куда, черт возьми, запропались министры?

— Они в Малахитовом зале.

— Предупредите, чтобы не расходились. Сейчас начнем заседание кабинета...

Дежурный адъютант исчез. Он же, воспламененный подступающим чувством тревоги, когда все подозрительно, опять приподнял кружевную гардину. Дворцовая площадь стала суматошливо оживленной; из дворца к Главному штабу, из штаба во дворец спешили курьеры; у чугунных оград, у Александровской колонны появились юнкерские патрули. Вернулся адъютант и доложил, что члены правительства ждут.

Он по привычке глянул на себя в зеркало, взъерошил волосы и небрежным жестом стряхнул несуществующие пылинки с френча, сунул правую руку за борт, и тут новая мысль мелькнула в уме. « Попрошу подать автомобиль сразу же после заседания кабинета министров ».

— Ваш новый автомобиль наготове... — начал было адъютант, но он прервал его на полуслове.

— Мне нужен под флагом союзной державы, лучше всего Америки.

Из зеркальных окон Малахитового зала он увидел Неву и над ней серую громаду Петропавловской крепости. При его появлении министры встрепенулись, поднялись с диванов и кресел. Он подошел к столу, уперся кулаками в инкрустированную столешницу и, охватывая взором присутствующих, заговорил надсадным голосом, в котором было больше отчаяния, чем надежды:

— Большевики планомерно захватывают столицу. Петроград опутан сетью красных постов, телефонная станция в руках восстановивших, гарнизон перешел на их сторону. Разведенные мосты вновь наведены матросами, Зимний дворец окружен. Временное правительство может потерять свою власть, если вовремя не подойдут вызванные мною воинские части с фронта. Они застряли где-то под Гатчиной. Я решил лично встретить войска.

Он прервал свою речь, что-то прикидывая в уме. У министров создавалось впечатление, что он покидает их, или, говоря проще, бежит. Он разгадал, о чем думали министры, и повторил с нервной решимостью:

— Я вернусь с достаточным количеством войск, чтобы восстановить положение. Сегодня двадцать пятое, я вернусь не позднее тридцатого. Правительство должно продержаться эти дни в Зимнем дворце... во... что бы... то... ни стало... — разорвал он последнюю фразу.

Министры сидели, втянув головы в плечи, косясь друг на друга, боясь высказать недоверие его словам. Все той же стремительной походкой он направился к выходу. За дверью Малахитового зала его ждал адъютант.

— Я достал автомобиль в американском посольстве. Военный атташе посольства будет сопровождать вас, он убежден, что под флагом США можно проехать через все красногвардейские посты без задержек. Большевики вряд ли рискнут осматривать автомобиль иностранных дипломатов, — тихо, как бы по секрету сказал адъютант.

— Мы выезжаем через пять минут, — ответил он, спешно направляясь в свои комнаты.

Окинул взглядом статуи, вазы, картины. Все, к чему он так привык за короткое время своего правления, вдруг отступило и приобрело свое историческое значение, какое было здесь и до него. Он понял, что уже не вернется сюда и больше не увидит бесценных картин и статуй, не подойдет к окну, из которого так отчетливо виден ангел на Александровской колонне, бронзовые кони над аркой Главного штаба. Утро двадцать пятого октября превратилось для него в ту роковую черту, которую не перешагнуть обратно. Он почувствовал эту непреодолимость, хотя и не признавался себе. Это означало немедленное падение в пропасть истории с вершины власти.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Два автомобиля под звездными флагами мчались по улицам столицы; перед Керенским снова мелькали знакомые кварталы, дворцы, особняки, люди, только на этот раз не было приветственных криков, взлетающих в воздух шляп и шляпок, лиц, искаженных истерией восторга. На перекрестках патрулировали матросские и рабочие отряды, обидно равнодушные к нему. Их равнодушные оскорбляло — он привык к бурнокипящей своей славе, — но и радовал: если бы они признали его — арест неизбежен.

Автомобили развили бешеную скорость, когда въехали в рабочие кварталы за Московской заставой — самые опасные места для него на всем пути через столицу. Здесь их могли задержать рабочие — яростные приверженцы большевиков.

В Гатчине он узнал: никаких войск, вызванных им с фронта, в городе нет. Военный комендант сказал, что, возможно, верные войска стоят в Луге или Пскове. И опять началась погоня за призрачными эшелонами.

Ветер продувал до озноба, и не было даже зыбкой надежды, как не было просвета в пепельном навале туч. По сторонам мелькали мокрые поля, голые перелески, превращаясь в движущиеся стены. И вдруг ему почудилось, что, как он гонится за своими войсками,

так и за ним снаряжена погоня. Испуганно оглянулся, еще раз, еще, но пусто на осенней дороге. «А если в Луге меня ждут большевики?» — холодея, подумал он, но не посмел сказать об этом адъютанту.

Из Луги, не узнав ничего утешительного, он помчался в Псков. Сумерки опускались на дорогу, и все стало таинственным и по-особенному зловещим. Он не любил сумеречных часов, когда, увеличиваясь в размерах, искажаются деревья, камни, люди; еще не любил сумерек за то, что сам становился маленьким и беспомощным. Это особенно раздражало: ведь в нем еще жил верховный главнокомандующий и министр-председатель, повелитель полумира и кумир толпы. И вот теперь он увидел себя обиженным и жалким. Из темных глубин прожитого выскочило донесение великосветского шпиона — отзыв о нем царской родственницы княгини Палей. В кругу друзей княгиня говорила, что Керенский не упустил случая оскорбить царскую фамилию. «Нам не надо больше романовых и распутиных», — кричал он и был положительно комичен, подражая маленькому капралу Бонапарту. Керенский поселился в Зимнем дворце и спал на кровати Александра Третьего. Многие монархисты начали желать захвата власти Лениным для того только, чтобы свергнуть ненавистного Керенского. «Большевики сломят себе шею на другой день, но зато уничтожат Временное правительство», — говорила княгиня Палей.

У него цепкая адвокатская память, он может поручаться за точность цитат из донесений шпиона о разговорах в салоне Палей, — но княгиня — круглая дура!

— Дура, дура, но наплевать, — произнес он так громко, что дремавший адъютант очнулся. — На княгиню наплевать и на шпиона, — повторил он уже тише и опустил подрагивающую голову.

На окраине ночного Пскова он приказал ехать на квартиру своего родственника, генерал-квартирмейстера.

Тот ахнул, увидев его на пороге своего дома:

— Господи, Александр Федорович! Большевики штурмуют Зимний дворец. В Пскове уже действует ихний комитет, у нас есть

телеграмма о немедленном вашем аресте, если появитесь в Пскове. Командующий Северным фронтом генерал Черемисов не выслал войск на помощь Временному правительству: считает, что такая экспедиция не нужна...

— К кому можно обратиться за помощью? Кто мог бы стать на защиту высшей власти в этот трагический час? — спросил Керенский визгливым, неприятным для самого себя голосом.

— В Острове стоит казачий корпус генерала Краснова. Может быть, он...

— Генерал Краснов? Активный участник корниловского мятежа. Он вел свои эскадроны против меня. Разве станет Краснов спасать своего врага? — размышлял он вслух, меряя широким шагом кабинет. — Впрочем, история, как женщина, любит замысловатые пути, и если Краснову не услужить мне, то кому же он будет служить? Ленину? Не думаю.

— Вам надо немножко поспать.

Керенский устроился в кресле, пытаясь забыться, но забытье не приходило; неудержимо летели секунды, и каждая толкала в приближающуюся пропасть, и это становилось страшным. «Я все сильнее ненавижу так бессмысленно ускользящее время, — вяло подумал он. — Что сейчас происходит в Зимнем дворце? В каком положении правительство? Может, уже перестало существовать, сдалось на милость победителей? Но ждать милости от большевиков все равно что пощады от акул. Нет, я не дамся им в руки», — ударил он ладонью по креслу и неожиданно для себя решил утром же ехать в Остров к генералу Краснову. «К черту обиды генералов! Теперь у нас общая опасность. Краснов не может не понимать, что для него важнее».

Пронзительный звонок у парадной двери прервал его размышления. Он вздрогнул, вскочил с кресла. «Неужели большевики разнюхали, где я?»

Звонок повторился, и тотчас вбежал генерал-квартирмейстер.

— Генерал Краснов желает вас видеть...

Одним прыжком Керенский очутился в зале, где ждали его генерал Краснов и адъютант капитан Андерс.

После приветствия Краснов заговорил простуженным басом:

— Я не поверил, когда услышал, что командующий Северным фронтом отменил военную экспедицию на Петроград. Три часа назад я узнал о вашем приезде и стал разыскивать всюду. Спасибо капитану Андерсу, он раздобыл адрес, и вот я пришел, чтобы сказать: конный казачий корпус в полном вашем распоряжении.

— Сможем ли мы утром выступить на Петроград? — спросил Керенский возбужденно.

— Так точно, сможем!

— Тогда немедленно в Остров...

Разрывая фарами ночь, снова мчались автомобили. Керенский зябко кутался в воротник пальто, но теперь уже радовался: наконец-то зажглась крохотная надежда. «Это судьба толкнула ко мне генерала Краснова, чтобы я мог продолжать борьбу с большевиками».

Верой в провидение объяснил он и то, что Краснов и его конный корпус, еще недавно шедший на Петроград для свержения Временного правительства, теперь пойдут на столицу для его поддержки. Правда, от корпуса осталось несколько конных полков, остальные разбросаны по всему Северному фронту. Неудачный мятеж генералов понизил боевой дух казаков и усилил их недоверие к офицерам.

На рассвете они прибыли в Остров, и под тревожную дробь барабанов Краснов поднял свои полки.

Пока Краснов поднимал своих казаков, Керенский сидел в какой-то харчевне, облокотившись на стол, и сочинял в уме обращение к донцам и уссурийцам — единственным и последним защитникам Временного правительства. Речь его, он был уверен, распалят патриотической любовью суровые казачьи сердца и подвигнет их на спасение гибнущего отечества.

До него доносились приглушенное бречанье оружия, цоканье копыт, сдержанный людской говор — все то воинственное волне-

ние, которое он любил на парадах и маневрах. Казачьи сотни, подходившие к харчевне, были вне его власти, хотя он и оставался верховным главнокомандующим. Теперь только Краснов мог заставить казаков выступить походом на Петроград.

Он задремал, когда, волоча за собой запахи конского пота и липкой октябрьской грязи, вошел Краснов.

— Казаки построены и ждут вашего обращения, — гаркнул Краснов сиплым басом и тут же смущенно кашлянул: Керенский, положив на стол голову, причмокивая и вздыхая, крепко спал. Краснов снова кашлянул. Керенский очнулся, руками энергично взъерошил волосы.

— Все готово? Я сейчас выйду к нашим верным войскам.

— Войска — это сильно сказано. Я собрал всего-навсего семьсот всадников.

— Когда казаки узнают, что я с ними, это воодушевит всех. Вы это сами увидите, генерал, а пока я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград, — сказал он торжественно. — Дайте мне вашу полевую книжку, я напишу соответствующий приказ...

Они вышли на крыльцо, перед которым в тоскливом свете утра стояли казачьи сотни. То ли Краснов слишком много ожидал от Керенского, то ли тот был утомлен и обессилен, но его разочаровала речь. Краснов вслушивался в отдельные фразы, утратившие новизну и свежесть, и мрачное предчувствие неудачи охватило его.

А Керенский говорил:

— Революцию, совершенную бескровно, большевики собираются утопить в море народной крови. Они продают Россию немцам и затягивают иностранную петлю на шее нашего народа. Только вы, храбрые сыны отечества, еще можете спасти Россию...

Он говорил, повертываясь из стороны в сторону, приподнимаясь на носках, потрясая кулаками над головой. Его нервный, севший от натуги голос метался над казачьими сотнями, как призыв утопающего, и было в нем какое-то ожесточенное бессилие.

— Вы должны стряхнуть большевиков с России, как пыль с голенищ ваших сапог, протянуть руку помощи союзникам и вместе с ними довести до победного конца войну...

— Опять про войну шарманку крутит...

— Довольно! Остановите его!

Насмешливые и неуважительные возгласы эти оборвали взлет красноречия. Керенский запнулся па полуслове, растерянно прижал ладонь к груди. По шеренгам заискрилось ехидное веселье, бесстыдные матерки заklubились между рядами, и Краснов решил вмешаться.

— Смирно! — грозно скомандовал он. — Слушать мою команду...

Приказав движением глаз капитану Андерсу увести Керенского в харчевню, Краснов с казачьими сотнями направился на железнодорожную станцию, чтобы выстроить почетный караул для встречи Керенского. У вокзала собралась толпа любопытных.

Дама с цветами, сама похожая на увядший цветок, подбежала к Краснову:

— Скоро ли будет Керенский? Я слышала, как он темпераментно говорит. Его речь потрясает и покоряет. Ах, уговорите его сказать хотя бы несколько слов...

Керенский не стал ораторствовать перед случайной публикой, а торопливо, бочком проскользнул в мягкий вагон. Сел в предназначенное ему купе, рядом поместились Краснов и Андерс; так и сидели они молча втроем.

Поезд шел быстро, без остановок, и это поднимало настроение генерала. Он заранее приказал не останавливаться в Пскове. Революционно настроенные солдаты, бесспорно, уже пронюхали, что в поезде Керенский. Они могли потребовать его выдачи, и Краснов волновался до самого Пскова. Поезд проскочил опасный город, и генерал снова повеселел, но тут же подумал: «А не поддерживаю ли я политического мертвеца? Уже никто не подчиняется его приказам: командующий Северным фронтом задерживает отправку войск на Петроград, мои казаки открыто грозятся выдать его

большевикам. Так почему же я его поддерживаю? Вчера я верил, что лучше Корнилов, чем Керенский, сегодня мне кажется — лучше он, чем большевики...»

Капитан Андерс исподтишка наблюдал за Керенским и тоже думал о судьбе этого человека. «Если этот господин сумеет подавить мятеж большевиков, можно на него поставить карту».

Керенский дремал, сложив на груди руки, покачиваясь в такт идущему поезду. Лицо его, с толстым носом, припухшими веками, казалось больным, старым и очень печальным. Мир, такой простой и понятный при трезвом дневном свете, в ночной темноте принимал фантастические очертания, все сместилось с привычных своих мест, каждый офицер, каждый казак казался подозрительным. «Можно ли доверять самому генералу? Не предаст ли он, если сочтет выгодным? Предательство теперь гражданская доблесть в нашем отечестве», — уныло подумал он.

Чем больше думал он о своем бессилии, тем нестерпимее разжигало желание расправиться с большевиками.

За вагонным окном проносились искры от паровоза и будто отбрасывали бурные события октябрьских дней в небытие. Все отлетало в прошлое — пространство, время, власть, слава, политика. Покачиваясь то вправо, то влево, он склонился на плечо капитана Андерса и заснул.

В Луге, во время десятиминутной остановки, генерал Краснов вышел на перрон; к нему тотчас подошел знакомый поручик.

— Я только что из Петрограда. Что там происходит, если бы вы знали, что происходит! Временное правительство арестовано, всякое сопротивление большевиками подавляется беспощадно, на их стороне тысячи вооруженных матросов и рабочих. А петроградский гарнизон держит полный нейтралитет, — захлебывался словами поручик.

— В поезде сам Керенский. Доложите ему лично, — шумно вздохнул Краснов.

Керенский проснулся, вопросительно поглядел на Краснова, на поручика.

— Только что из Петрограда, — сказал Краснов.

— Что происходит в столице? — живо спросил Керенский, протягивая руку.

Поручик сделал вид, что не заметил протянутой руки.

— Я здороваюсь с вами, поручик, — напомнил о вежливости Керенский.

— Виноват, господин верховный главнокомандующий, но я не могу пожать вашу руку. По-моему, вы главный виновник русской трагедии. — Поручик повернулся и выбежал из купе.

Брезжило утро, когда поезд пришел в Гатчину. В глухой тишине казаки выгружались из вагонов, выводили оседланных лошадей. Никто не знал, что делать, а меньше всех — Керенский и Краснов.

— Советую отправиться в Гатчинский дворец и там дожидаться моих донесений. Для вашей охраны я выделяю казачью сотню под командой Андерса, — сказал Краснов.

— Действуйте решительно, генерал! Отныне вся Россия с надеждой смотрит на вас, каждый ваш поступок принадлежит истории, — своим излюбленным риторическим стилем произнес Керенский.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О пророках говорят, что они люди правды.

Всякий пророк — человек крайностей. Люди вообще мало интересуют пророков, они только отделяют правого от виноватого, добро — от зла, истину — от ложных представлений. Такими предстают они со страниц «святых» книг, но в жизни есть и другие пророки, проповедующие ложь, ненависть, насилие.

С первой минуты Октябрьской революции буржуазные пророки провозгласили, что большевизм — дьяволово учение и большевиков надо истреблять, как бешеных псов.

Новоявленные пророки подстрекали всех на борьбу с большевиками.

А революция яростно защищалась, Смольный бурлил энергией масс. Ленин взял в свои руки оборону столицы: со всех сторон стекались к нему сведения о действиях Керенского и Краснова. Собирались солдаты, отступившие от Гатчины, рабочие с петроградских окраин, телеграфисты передавали в Смольный приказы Керенского. Ленин, приглашая к себе представителей заводов, беседовал с командирами отрядов Красной гвардии, по его распоряжению рыли окопы, готовили броневики, создавали добровольческие отряды.

В эти тревожные октябрьские дни Южаков очутился в Петрограде: минские большевики избрали его своим делегатом на II съезд Советов.

Он штурмовал Зимний дворец, присутствовал при историческом провозглашении власти Советов. А затем поступил в распоряжение Якова Свердлова, по его указанию производил аресты активных контрреволюционеров и саботажников.

Яков Михайлович знал его еще по уральской ссылке: познакомились в заштатном городке Березове. Свердлову понравился жизнерадостный студент как своей неиссякаемой энергией, так и бескомпромиссностью.

На второй день Октября Свердлов пригласил его к себе в кабинет; Яков Михайлович был чем-то озабочен.

— Вот что, Алексей, тебе не осточертело заниматься арестами? Ты же военный! Решили мы бросить тебя на борьбу с Керенским и Красновым. Отправляйся сегодня же в штаб обороны Петрограда, — поблескивая пенсне, сказал Свердлов.

— Да что вы, Яков Михайлович, я всего-навсего окопник, а вы меня в штаб. Михаила Васильевича бы туда, вот он был бы на месте.

— Какого Михаила Васильевича?

— Фрунзе. Он знаток военного дела.

— Я слышал о нем от Ильича как об интересном человеке и большом умнице. Его избрали на Второй съезд Советов, но он почему-то не приехал.

— Наверное, не смог. Дела завертели.

— Войска генерала Краснова заняли Царское Село, — вернулся к прежнему разговору Свердлов. — Поэтому и посылаю тебя в Пулковку, в штаб командующего отрядами Красной гвардии Михаила Муравьева. Этот подполковник — эсер, мы ему дали большую военную власть, но за ним нужен глаз да глаз.

Южакков на попутном грузовике добрался до Московских ворот; у арки, воздвигнутой в честь победы над Наполеоном, присоединился к одному из рабочих отрядов. На его расспросы, где штаб командующего, никто не ответил, только какой-то матрос неопределенно махнул в правую сторону. Южакков зашагал вместе со всеми под ледяным хлестким дождем.

Он видел, как рядом с пожилыми рабочими идут безусые юнцы, матросы, переkreщенные пулеметными лентами.

Южакков оглянулся: сзади, на равнине, высились дворцы, купола, кресты, шпили великого города, ставшего колыбелью революции. Того самого города, что бросил всему свету сказочной силы слова: «Мир народам! Власть Советам! Земля крестьянам! Хлеб голодным!»

Слова эти вошли в сознание простых людей не только как призыв, но и как главная цель, за которую следует сражаться и умереть или же, сражаясь, победить. Поражение означало возврат к уже невозможному прошлому. Поэтому и шли люди к Пулковку сразиться за свой собственный мир и свое житейское счастье.

На подводах ехали женщины, держа на коленях чугуны с картошкой, укутанные платками свежее испеченные караваи, вареное мясо. Они везли пищу, состряпанную из последних скудных запасов, чтобы покормить отцов, мужей, возлюбленных. Фары обогнявших машин кидали снопы света на старые, иссушенные и на молодые, еще не успевшие поблекнуть женские лица. В пляшущем свете они казались высеченными из серого мрамора.

Склоны Пулковских высот были заняты выборгскими рабочими; на правом фланге, около деревни Новые Сузы, стояли матросы,

прибывшие из Кронштадта и Гельсингфорса, на левом расположились солдаты Измайловского и Петроградского полков.

Защитники Питера строили баррикады, рыли окопы, к ним подходили все новые и новые отряды.

Южаков разыскал штаб Муравьева в маленьком домике на окраине Пулкова. На пороге его остановил матрос с черной бородкой.

— Стоп, парень! Что тебе здесь нужно? — играя темными глазами, спросил матрос.

— Из Петрограда, к командующему Муравьеву.

— А может, ты не туда залетел? Тебе не в Петропавловскую ли крепость? Морда больно буржуйская, — озоровал словами матрос.

— От Петропавловки бог пока миловал, а вот «Крестов» не миловал — в тон ему ответил Южаков.

— Значит, свой. Дыбенко я. А Муравьева сейчас нет. Я за него...

Ночь прервала сражение за Пулковские высоты, орудийная и винтовочная стрельба утихла, но мокрая мгла переполнялась иными тревожными звуками. Приглушенный говор, чавканье грязи под ногами, треск кроваво горевших костров прокатывались по ночным полям, и непрестанно шумел, усиливая тревогу, октябрьский дождь.

Никто не смыкал глаз, все смотрели туда, где в непроглядной тьме таился гигантский город.

Дверь штаба распахнулась, в комнату стремительно вошел высокий красивый человек в офицерской шинели без погон и фуражке без кокарды. Дыбенко поднялся при его появлении.

— Телефон в исправности? — спросил вошедший.

— Так точно, товарищ Муравьев, — ответил Дыбенко.

— Звони в Военно-революционный комитет. В городе вспыхнуло восстание юнкеров...

Дыбенко долго крутил ручку телефонного аппарата, надрывался до хрипоты, умоляя соединить с Военно-революционным комитетом.

— Ну что, ну что? Какого черта копаешься? — гневно заторопил Муравьев и, вырвав из рук Дыбенко трубку, потребовал Смольный.

Станция не отвечала. Муравьев стоял, опершись рукой о стену, сдвинув на затылок фуражку. Потом повесил трубку, обвел лихо-радочными глазами комнату, спавших на полу матросов, Южакова, Дыбенко. Было в его нервном лице едва скрытое беспокойство и надменная самоуверенность, неприятно поразившая Южакова.

— Центральная телефонная станция в руках юнкеров, — устало проговорил Муравьев. — Надо посыльным известить Военно-революционный комитет, что требуются орудия. — Он посмотрел на свои подстриженные ногти и добавил: — Юнкера принесут много беспокойства господу богу...

— Не знаю, как богу, а нас они уже беспокоят, — съязвил Южаков.

Муравьев скосил на него глаза, спросил зло:

— А вы, собственно, что за птица?

Едва Южаков представился, раздался телефонный звонок.

— Да, это я, Муравьев. Слушаю вас, товарищ Свердлов. Что? Диктуйте, я запишу. — Муравьев показал Южакову на полевую книжку и карандаш. — «Юнкера выброшены с центральной телефонной станции. Идет обстрел Владимирского училища...» Хорошая новость, — оживился Муравьев. — «На подмогу посланы броневые автомобили, из Кронштадта миноносец, по железной дороге перебрасываются новые отряды». Прекрасно! Что? Есть передать всем защитникам слова Ленина: «Мы не можем потерпеть победы Керенского: тогда не будет ни мира, ни земли, ни свободы». Да, я вас хорошо слышу, товарищ Свердлов.

Южаков еле успевал записывать разговор, прорывая острием карандаша бумагу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Из Петрограда Борис Викторович Савинков. Просит принять по чрезвычайному делу, — доложил капитан Андерс.

— Пусть войдет, — обрадовался Краснов.

Савинков легкой походкой вошел в роскошный кабинет, который занял генерал в Царскосельском дворце. Как всегда, Савинков нес свое тело по-волчьи бесшумно, и во всем его облике было что-то хитрое, коварное и стремительное одновременно.

— Здравствуйте, генерал, рад вас видеть совершенно здоровым. А я привез ужасные вести, — заговорил Савинков, сразу же переходя на деловой тон. — Положение Петрограда трагическое, большевики бросают в тюрьмы не только аристократов и царских чиновников, но и демократов. Они закрыли все газеты, на свободное слово надели намордник. Керенский, вы и я объявлены вне закона...

— Что там происходит с гарнизоном, с донскими полками? — угрюмо спросил Краснов.

— Солдаты столичного гарнизона держат нейтралитет, но Первый, Четвертый и Четырнадцатый донские полки за вас, если начнете немедленное выступление.

— Вы в этом уверены? Донцы вконец развращены большевиками.

— В столице есть еще преображенцы, волынцы, есть юнкерские училища. Действует Комитет спасения родины и революции и Совет союза казачьих войск. Все это — реальная сила, на которую можно рассчитывать.

— А если все это фикция?

— Что — фикция?

— Восстание юнкеров, донцы, преображенцы... И что они присоединятся к нам... Давно им пора присоединиться, но они все медлят...

— Позор падет на казачьи знамена, если вы не решитесь, генерал, — нервно закусил губы Савинков. — Нет, нет! — воскликнул

он с гневным воодушевлением. — Большевики подняли бурю, но позабыли, что в России есть люди, могущие противостоять ей.

— Выступить сейчас с моими силами, не дождавшись подкреплений с фронта, — безумие. Мои казаки не желают сражаться за Временное правительство, а самого Керенского ненавидят. Теперь он вождь без партии, главковерх без армии. — Краснов побагровел до ушей и, набычившись, смотрел под ноги.

— Генерал! — патетически произнес Савинков. — Арестуйте Керенского и возглавьте антибольшевистское движение. С вами, под вашими знаменами пойдут все, — Савинков взмахнул правой рукой, прищелкнул пальцами, как бы показывая кривую взлета генерала Краснова.

— Вы ошибаетесь, я совсем не то знамя. Я генерал, да еще корниловец, да еще требую войны с немцами до победного конца, а солдаты не хотят воевать и переходят к Ленину. Я бы мог усмирить Петроград, если бы стал верховным главнокомандующим и немедленно заключил перемирие с немцами. Только такие меры могли бы привлечь на нашу сторону солдат, но это фантазия.

— Так вы прекращаете борьбу, не испытав счастья? — В голове Савинкова теперь слышались презрение и злоба, удивление и насмешка.

— Я не из тех, кто уходит с поля боя, поджавши хвост. Кроме казаков у меня есть орудия; гром моих пушек под Петроградом может повлиять на донские полки, находящиеся в столице. Есть еще надежда.

Смеркалось. Над голыми деревьями парка, над песочными дорожками его аллея моросил дождь, в тусклой пелене одиноко мкли часовые. У парадных ворот таились пулеметы, готовые открыть стрельбу по всему, что могло бы грозить дворцу.

— Чудесно! Комитет спасения родины и революции начнет восстание, как только вы войдете в Петроград, — оживился Савинков.

— Я могу войти в Петроград, но сумею ли из него выйти в случае необходимости — вот ведь какой вопрос... — начал было

Краснов, но замолчал, увидев, что в кабинет вбежал капитан Андерс.

— Господа, в Петрограде восстание юнкеров! На улицах рукопашные бои, — выкрикнул Андерс.

— Откуда это известно? — спросил Краснов с внезапной дрожью в голосе.

— Из Петрограда прорвался юнкер. Принес вам письмо от председателя Совета союза казачьих войск. — Андерс протянул листок.

— «Положение Петрограда ужасно. Режут, избивают юнкеров, которые являются пока единственными защитниками населения. Пехотные полки колеблются и стоят. Казаки ждут, пока пойдут пехотные части. Совет союза требует вашего немедленного движения на Петроград», — прочитал вслух Краснов.

— Что я вам говорю? Борьба разгорелась вовсю. Нас ждут, мы должны прийти на помощь юнкерам, — вновь заволновался Савинков.

— Если так, то я выступаю, — решил Краснов. — Заняли же мои казаки без боя Гатчину и Царское Село, почему же им не взять Петроград...

Краснов, широко расставив ноги, стоял в кустах у оврага, за которым темнели Пулковские высоты. Только этот овраг разделял казаков и красногвардейцев. Генерал без бинокля наблюдал, как развертываются для атаки бесконечные цепи красногвардейцев.

Цепи приближались: серые — рабочие в штатской одежде, черные — матросы в коротких бушлатах. На шоссе три броневика непрерывно били из пулеметов, отсекая казаков от Царского Села. Казаки начали отступать, и Краснов, проклиная все на свете, поспешил за ними. Коновод догнал его, посадил в седло. Генерал, не подбирая поводьев, затрусил по темнеющей дороге в Гатчину.

Снова пошел мелкий дождь, задерживая зыбкой сетью горизонт.

Краснову не хотелось смотреть, не хотелось думать, мир тускнел и гас постепенно, словно кто-то невидимый выключал источники дневного света.

В Гатчине, в большой дворцовой гостиной, его ожидали офицеры, растерянные и перепуганные переменой событий. Краснов молчал, он только распорядился выставить на все дороги, ведущие к дворцу, заставы с пушками. Потом бросился в кожаное кресло, вытянул ноги; шпоры оцарапали палисандровый паркет. «А, все равно! Теперь ничего не жалко, пусть все пропадает пропадом!»

Ему хотелось забыться, глубокого сна, он зажмурился, и сразу же появилась мыслишка, коварная, подстрекательная: «Что делать с главковерхом? Может, ценой его головы спасти собственную?» Но он и сам ненавидит большевиков не меньше Керенского и Корнилова.

Генерал полулежал, размышляя, и не слышал, как вошел адъютант.

— Командир артиллерийского дивизиона по срочному делу...

Краснов протер глаза, встал.

— Ну что еще? — спросил недовольно.

— Казаки отказались идти на заставу. Они не берут даже оружейных снарядов, объявили, что по питерцам стрелять не желают, — доложил командир дивизиона.

— Этого я от станичников не ожидал. Если уж казаки вырвались из-под нашей власти, то никакой надежды нет! Гатчина не охраняется?

— Никак нет, господин генерал.

— Красногвардейцы передушат нас, как крыс, — мрачно сказал Краснов, рассматривая узоры на паркете.

За дверями послышался шумливый говор, в гостиную вошла толпа — члены казачьего комитета 9-го донского полка.

— Зачем в такую рань, станичники? Что-нибудь приключилось? — спросил нарочито беззаботным голосом Краснов.

— Где Керенский? Мы требует Керенского, — разом заговорили казаки.

— Да зачем он вам?

— Отведем в Смольный. Не желаем ссориться с большевиками.

— Как вам не стыдно, станичники! Наши деды отвечали московским царям, что с Дона выдачи нет, — возразил Краснов, забыв собственную мысль о передаче Керенского в руки большевиков; теперь ему хотелось сыграть роль благородного человека. — С Дона выдачи нет, — повторил он.

— Так то ж были цари. А Керенский много навредил народу, пусть его судит народ.

— Большевики еще не весь народ, — урезонивал генерал казаков.

— Чего доброго, Керенский еще сбежит. Мы поставим свой караул к его комнатам. Так-то вернее, — галдели казаки.

— Хорошо, я согласен, станичники.

Казаки повалили из гостиной, Краснов приказал командиру дивизиона вместе с офицерами охранять подступы к Гатчинскому дворцу, а сам отправился к Керенскому.

Тот тоже не спал в эту последнюю ночь октября. Вдвоем с капитаном Андерсом сидели они в комнате при единственной свечке в тоскливом предзвездном сумраке. От сумрака казались черными их с провалившимися щеками лица.

— У вас еще есть время скрыться, — сдавленным голосом объявил Краснов. — Уходите любым путем, кроме парадного. Там стоят часовые. Замешкаетесь — вас арестуют мои же казаки. В вашем распоряжении полчаса...

Краснов повернулся и, приподняв плечи, вышел из комнаты. Известковая бледность разлилась по лицу Керенского, потом оно стало серым. Глянув в окно на аллею, по которой ходили часовые-казаки, Керенский спросил прерывающимся, тоскливым голосом:

— Что же делать, капитан?

— Скрыться. Бежать.

— Гатчина полна матросов. Они мои враги. В парке казаки — они мои враги. Теперь всюду мои враги. Меня схватят сразу же, как только выйду из комнаты.

— Переоденьтесь матросом. Это единственный шанс на спасение. Постараюсь найти для вас одежду, — ответил Андерс, ощущая свою причастность к знаменательному факту истории.

Керенский с пронзительным страхом в сердце ходил по комнате, натываясь на диваны, на стены. В углу у двери увидел кипы голубых и желтых листов, огромных, словно театральные афиши. Сдернув верхний лист, разглядел денежные купюры.

— Деньги. Мои деньги... «Керенки» прозвали их, — горько рассмеялся он. — На этих деньгах нет ни подписей, ни государственной печати, они не обеспечены никакими ценностями России, за их подделку даже нельзя преследовать по закону. Все фальшь, все ложь, и липовое величие, и дутая слава, и ненужные деньги...

Вбежал Андерс с матросской формой.

— Одевайтесь скорее! Умоляю, как можно скорее!

Керенский надел брюки клеш, морской короткий бушлат, прикрыл глаза синими очками.

— Идите за мной. Дворцовый служитель показал потайной ход из дворца, — шепнул Андерс.

Они вышли из подземного хода далеко за оградой дворца, в роще, наполненной утренним туманом. Андерс остановился, протянул руку:

— До свиданья. Желаю удачи...

— Прощайте. — Ссутулясь, спрятав под бушлатом покрасневшие руки, уходил в туман властитель вчерашнего дня.

«Революция — дама в железных перчатках. Ее рукопожатие не раз превращало политических гигантов в ничтожных карликов», — подумал Андерс.

Он вернулся к генералу Краснову, но не успел сообщить о бегстве Керенского. Парадные двери широко распахнулись, в дворцовую залу стремительно вошли матросы с худощавым высоким человеком в офицерской шинели. Протянув вперед руку, он сказал театральным тоном:

— Вы мой трофей, генерал! — Обвел рукой залу, добавил: — Со всем своим штабом, генерал. Я командующий революционными войсками Михаил Муравьев.

Андерс, потрясенный внезапным появлением врагов, переводил глаза с Муравьева на матросов, пока не заметил среди них Алексея Южакова. Южаков тоже увидел Андерса и шагнул к нему. Андерс попятился к запасному выходу.

— Вы арестованы, капитан! — крикнул Южаков.

Андерс выскользнул из зала и побежал. Он мчался по дворцовым коридорам, через анфилады комнат, мерцающих мрамором и малахитом стен, мимо статуй, ваз, но уже не видел их. Шум погони гнал его, как зайца, и в голове билась единственная мысль: только бы добежать до тайного выхода! А вот и та самая комната. Он влетел в нее, защелкнул дверь на замок.

Южаков с подоспевшими матросами взломал дверь: комната оказалась пустой.

— Ловок, бес, ничего не скажешь. Будто провалился сквозь землю, — выругался Южаков.

Он стоял у мраморной колонны, не подозревая, что под ней скрыт подземный выход из Гатчинского дворца.

Эхо времени

Войска Керенского разбиты. Керенский, переодевшись в матросскую форму, бежал. Казаки, перейдя на сторону революционных войск, ищут Керенского с тем, чтобы передать его в руки Военно-революционного комитета. Авантюра Керенского считается ликвидированной. Революция торжествует.

Из сообщения Военно-революционного комитета

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Что творится в Москве?

О Петрограде, о всех перипетиях борьбы Фрунзе знал из поступающих телеграфных сообщений. Но Москва... Связи с ревкомом не было, а там происходило что-то неладное: он получил от командующего Московским военным округом несколько приказов; тот требовал выслать войска для борьбы с большевистскими беспорядками. Фрунзе рвал его телеграммы.

Он пытался поговорить по телефону с Московским ревкомом, но слышимость была сквернейшая: треск и шум заштриховали далекие голоса. Все же он уловил чей-то встревоженный голос:

— Плохи дела, плохи! Бесчинствует юнкерьё...

— Может, Москве нужна наша помощь? — надрываясь от крика, спрашивал Фрунзе.

Неожиданно другой, по-военному четкий и строгий голос ответил:

— Просим больше не беспокоить.

Фрунзе, взволнованный, стал названивать в Иваново-Вознесенск к Исидору Любимову.

— В Москве уличные бои с юнкерами, верными Временному правительству, — вот все, что мы знаем пока, — сообщил Любимов.

— Ты понимаешь, что это значит? Если там победят юнкера, революция окажется на краю пропасти. Шуйские ткачи дрались на московских баррикадах в девятьсот пятом году, так можно ли оставить в беде москвичей сейчас, когда революция победила? Нет, невозможно, немыслимо! — Фрунзе испугался мысли, что уже упущен момент.

Через час он объявил красногвардейским отрядам и солдатам гарнизона:

— Москва нуждается в помощи, товарищи! Мы создаем отряд и направляемся в Москву...

В ответ на его призыв в Шуйский ревком хлынул поток добровольцев. Спешили рабочие, солдаты, вооруженные чем попало, шли участники московских боев девятьсот пятого года, защитники пресненских баррикад, его сподвижники по боевой дружине. Их

приход был особенно дорог Фрунзе. «Велика же сознательность рабочих людей, если по первому слову они готовы помочь товарищам по классу», — с гордостью за старых друзей подумал он.

Не дожидаясь окончательного формирования отряда, он спешно выехал в Москву. Над оголенными полями и рощами Подмосковья клубились сумерки, казалось, весь мир погрузился в дождевую мглу. Чем ближе подъезжал он к Москве, тем тревожнее становилось от мрачных предчувствий. Он не верил предчувствиям, но иногда улавливал странную связь между своим психологическим состоянием и каким-нибудь трагическим событием, и это всегда вызывало в нем мучительное беспокойство.

Уже на Каланчевской площади Фрунзе увидел, как в разных местах Москвы кровенели отблески пожаров. Откуда-то раздавалась винтовочная стрельба, подобно морскому прибою в мокрой мгле нарастал и пропадал гул шагов, голосов, звон оружия, глухой стук булыжника на мостовых.

В Военно-революционном комитете напряженно готовились к штурму Кремля. Один за другим приходили члены комитета, обсуждали, как взять Кремль.

— Рабочие завода Михельсона предлагают ночью на лодках по Москве-реке добраться до устья Неглинки, а потом по водостоку ее проникнуть в Кремль, — заговорил кто-то.

— Это — фантазерство. Проект неисполнимый. Неглинка течет под Александровским садом, а не под Кремлем, — возразили ему.

— Предлагаю с аэропланов метать бомбы на Кремль.

— Невозможно, — запротестовали члены комитета. — Нельзя подвергать опасности памятники Кремля.

— А что, если бить из орудий по воротам Никольской башни? Прямой наводкой. Первый же снаряд разнесет их в клочья, — неожиданно предложил Фрунзе.

— Для этого надо сначала выбить юнкеров из «Метрополя», из Китай-города.

— Беру на себя операцию, — ответил Фрунзе.

С этим все согласились.

Ночь на первое ноября в ожидании своего отряда Фрунзе провел в бессонной круговерти ревкома. То и дело звонил телефон. Клин извещал: питерцы и балтийские матросы через несколько часов придут на Николаевский вокзал. Пресненские артиллеристы намерены обстреливать юнкеров на Большой Никитской и Поварской улицах.

— В декабре девятьсот пятого царские войска наступали на Пресню по Большой Никитской и Поварской, сегодня Пресня атакует своих врагов по тем же улицам. Есть какое-то символическое значение в этой перемене ролей, — заметил Фрунзе.

Только под утро он услышал о том, что так нетерпеливо ждал: со станции Муром сообщили — поезд с красногвардейским отрядом шуйцев проследовал на Москву.

Фрунзе отправился на Курский вокзал, но шуйцы еще не прибыли. Он заспешил обратно в ревком, на Мясницкой нагнал отряд вооруженных рабочих. Молодой рыжебородый командир их подбежал к Фрунзе.

— Михаил Васильевич! Вот негаданная встреча!

— Алеша! Милый ты мой! — Фрунзе обнял за плечи Южакова. — Из Минска?

— Нет, из Питера. По приказу Ленина прибыл на помощь москвичам.

— А где же матросы?

— Высаживаются из вагонов. Скоро появятся здесь. Юнкера-то как? Все еще в Кремле?

— Пока там, вышвырнуть их оттуда — наша задача. Да ты, кажется, ранен?

— Под Гатчиной казачок памятку поставил.

— Вот что, Алеша, ты со своими стой на Лубянке. — Фрунзе оценивающе глянул на противоположную сторону площади. — Советую занять позиции у Политехнического музея, вдоль китайгородской стены. Учти, за стеной юнкера с пулеметами. Готовься к

штурму Китай-города, но жди приказа ревкома, а я — к Большому театру.

Звуки винтовочной перестрелки, доносящиеся из Театрального проезда, покрыл грохот орудийного выстрела: за золотым куполом храма Христа Спасителя взметнулся хвост дымного пламени.

— Это наши, — пояснил Фрунзе. — Скоро и мы вступим в дело...

Он довел отряд до памятника Первопечатнику. Юнкера, засевшие в «Метрополе», держали под огнем Театральный проезд, и Фрунзе через лабиринты домов возле Центральных бань вышел все-таки к Большому театру. Между колоннами театра стояло трехдюймовое орудие, направленное на «Метрополь».

Осунувшийся от бессонницы, прикрыв глаза рукой, артиллерист рассматривал здание гостиницы.

— Не попади в майолику, приятель, — предупредил Фрунзе. — Ее создал Врубель.

— А кто такой Врубель? — улыбаясь широким задымленным лицом, спросил артиллерист.

— Сейчас некогда объяснять, — одним словом, надо сохранить красоту. — Фрунзе тут же послал Южакову записку о начале дела и, вынув наган, держа его на весу, ждал сигнального выстрела. Внезапное волнение охватило его, и он словно обрел второе дыхание. То, что было незаметным, отдаленным, вдруг приблизилось, приобрело опасное значение.

Первопечатник, склонивший голову над своей первой книгой, как бы исподтишка показывал на подъезд гостиницы, врубелевский Демон, летящий по фронтому, предупреждал о притаившихся юнкерах, и Фрунзе увидел на балконе хищное рыльце пулемета, и небольшую баррикаду у парадных дверей, и белобрысого юнкера с поднятой гранатой, и пирамиду Никольской башни — ржавую, тяжелую в небе, затянутом волчьей проседью облаков.

Страстное нетерпение охватило его, хотелось, не дожидаясь сигнала, кинуться к «Метрополю», и в то же время не покидала

тревога за питерцев. Как поведут себя необстрелянные добровольцы в момент штурма?

Орудийный выстрел, неожиданный, как гром среди ясного неба, развеял его сомнения. Фрунзе выстрелил из нагана и, призывно крича и снова стреляя, побежал к «Метрополю». Пули завистели над головой, и почему-то казалось — каждая предназначена только ему, но в голове проносилось: «Мимо! И эта тоже мимо!»

Юнкера отбили атаку, пришлось отвести питерцев под стены Никольских ворот. Фрунзе ободрял красногвардейцев:

— Ничего, ничего, ребята! Это — наше боевое крещение. При второй атаке больше стремительности и спокойной уверенности в себе, и дело пойдет. Пойдет дело...

Сумерки окутали «Метрополь», помешали новой атаке. Бой возобновился ранним утром: по приказу Фрунзе питерцы бесшумно обходили гостиницу, прикрываясь ее же стенами. Штурм начался одновременно с трех сторон. Юнкера, страхась полного окружения, кидая гранаты, стреляя наугад, покинули здание и отступили к городской думе и Историческому музею.

Фрунзе без передышки вел рабочих в новые атаки, теперь страхась только одного — как бы не погас страстный порыв, не ослабело стремительное продвижение.

Юнкера пулеметными очередями прикрывали Иверские ворота — самый близкий для шуйцев путь к Красной площади. Фрунзе решил приостановить атаку, но в этот момент винтовочная трескотня раздалась за китайгородской стеной.

Алексей Южаков с питерцами и кронштадтскими матросами прорвался через Ильинские ворота в Китай-город и погнал юнкеров к Кремлю.

Красная площадь на мгновение стала пустынной: старинные железные ворота, скрежеща и взвизгивая на петлях, закрылись. Между зубцами Кремлевской стены виднелись пулеметы, нацеленные в сторону улиц, выходящих на Красную площадь. А она —

от орлов Исторического музея до витых куполов Василия Блаженного — затаенно дышала смертью.

Ночь оборвала уличные бои, но не принесла ни тишины, ни покоя и не развеяла тревожных надежд атакующих, уныния и безнадёжности юнкеров.

Над Кремлем взлетали ракеты, багрово освещая дворцы и храмы. Обыватели, напуганные боями, тоскливо сидели в темной тишине своих квартир.

Второго ноября Фрунзе пришлось срочно вернуться в Шую. Уже без него начался штурм Кремля. Один рабочий отряд ворвался в штаб Московского военного округа, другой — выбил юнкеров из храма Христа Спасителя. Рабочие Пресни, очищая от белых Большую Никитскую улицу, вышли к Манежу.

Кремль был как остров в море восставших, но юнкера не сдавались — били пулеметными очередями по каждой появившейся цели.

К верхним торговым рядам штурмующие подкатили полевое орудие и нацелились на ворота Никольской башни. Другое орудие с Лубянки приготовилось ударить по Спасской.

Южак стоял в подъезде торговых рядов, рабочие, матросы, женщины, вездесущие мальчишки замерли в мучительном ожидании.

Орудийный Снаряд с Лубянки попал в часовые колокола курантов, и Южак услышал протяжный, жалобный звон металла. Глянул на Спасскую башню: стрелки часов не двигались.

— Время старой России остановилось, — громко сказал он и велел артиллеристам открыть огонь.

Новый грохот потряс воздух, со скрежетом рухнули ворота Никольской башни, и ревущий людской поток хлынул в Кремль.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Два цвета времени — красный и белый — окрасили и знамена армий, и человеческие души, и страсти, и идеи, и — казалось — весь мир.

Россия раскололась на две части, и трещина, по выражению поэта, прошла через каждое сердце.

Самые неожиданные события и поступки стали естественными. Как весна гонит в буйный рост травы, так и революция превращала зеленых юношей в зрелых политиков, в полководцев, могучих ораторов, государственных организаторов — поэтов борьбы и духа.

Отблески истории остались на их именах, и они не меркнут в памяти народной. История — это жизнь, застывшая в незримых рамках времени, время же как зеркало отражает события, судьбы, победы, поражения, радости и печали людские и дает возможность следить за глубинным течением революционных событий, осмысливать свершенное, оценивать достигнутые результаты.

Весной восемнадцатого — самого грозного года революции — борьба красных и белых развернулась во весь свой яростный, сокрушительный размах. На мир Октября наступали беспощадные враги, и будущее его заслонялось кровавым туманом гражданской войны.

Удары следовали за ударами.

Немцы оккупировали Украину. В Архангельский порт вошла иностранная эскадра — американцы и англичане с помощью белогвардейских мятежников заняли город на берегу Белого моря.

В мае против республики восстал чехословацкий корпус. Шестьдесят тысяч чехов и словаков возвращались на родину через Сибирь. Эшелоны растянулись от Пензы до Владивостока.

Мятеж военнопленных чехословаков воодушевил и монархистов, и меньшевиков, и эсеров. Они ликвидировали Советы в Самаре, Омске, Екатеринбурге, Ижевске, раздули пламя кулацких бунтов на Вятке, на Каме.

В эти дни Михаил Фрунзе вступил в новую полосу жизни. Партия выдвинула его на пост председателя Иваново-Вознесенского губисполкома.

Тяжелая доля выпала ему: кормить голодающих, формировать воинские части, добывать оружие для разгрома приближающихся врагов.

По его призыву иваново-вознесенские, шуйские, костромские рабочие отправились в деревню за хлебом: изымали излишки у кулаков, крестьянам за зерно платили мануфактурой, ремонтировали им сохи и бороны, помогали сеять.

Все важнейшие вопросы сосредоточились в руках Фрунзе, и он понимал: без энергичных, преданных революции помощников ему не выполнить и сотой доли порученного партией дела.

Фрунзе обладал счастливым даром находить таких людей. Если на Любимова, Гамбурга, Батурина он мог положиться — старые друзья, испытанные большевики, — то к новым — Дмитрию Фурманову, Александру Воронскому — надо было еще приглядеться.

Воронский, редактор губернской газеты, умен, начитан, владеет острым критическим пером; Фурманов заведующий отделом народного образования, поэт.

В Иваново-Вознесенске Фрунзе и Соня поселились в гостинице, ставшей общежитием сотрудников губисполкома. Он получил редкую возможность узнавать своих сотрудников не только на работе, но и дома: вечерами обсуждались предстоящие дела, спорили о завтрашнем дне.

— Теперь все силы сосредоточены на борьбе с голодом и белогвардейцами, — сказал Фурманов, помешивая ложечкой жидкий чай.

— Ты отвечаешь за народное просвещение в губернии, — говорил Фрунзе. — Народ не простит нам, если дети не станут учиться. Голод мы одолеем, врагов победим, но без знаний не построим нового общества. А поэтому... — он сделал короткую паузу, — а поэтому открывай у нас... политехнический институт.

— Вот это идея, Михаил Васильевич, — загорелся Фурманов.
— Только...

— Что «только»?

— У нас есть здание для института, но нет преподавателей, нет учебников, даже бумаги и той нет.

— Для своих стихов находишь...

— Стихи-то я пишу на старых обоях.

— Можно на обоях написать и «Марсельезу». Составляй проект учреждения политехнического института, я с ним поеду в Москву, к Ленину...

— Если уговорите Ленина и если он...

— И уговаривать не придется. Владимир Ильич с радостью поддержит нас, — уверенно ответил Фрунзе и спросил неожиданно: — Одного не понимаю, Дмитрий, почему ты до сих пор носишься с анархистскими теориями? Ты же по духу, по делам своим большевик, с тобой легко и весело работать. Убей бог, не пойму.

— Не все же в анархизме вздор и чепуха. Вот Бакунин считает, а Кропоткин утверждает, что любое государство — первопричина всех общественных несправедливостей, — вяло возражал Фурманов. — Власть и государство не нужны новому обществу, ведь к этому стремится в идеале и коммунизм...

— В идеале у анархистов одни химеры, а в жизни у них все свелось к девизу «Грабь награбленное!». Не случайно жулики и бандиты сегодня выступают под флагом анархистов. Ты же недавно усмирял их здесь, в Иваново-Вознесенске...

— Да, усмирял. Да и как было не усмирять эту разнузданную скотину! Сiju я в Народном доме, в зал входит длинноволосый тип в купеческой шубе. Сбрасывает шубу, остается в монашеском подряснике. Подрясник долой — под ним офицерский мундир. На поясе два нагана, три «лимонки», хромовые сапоги заляпаны грязью. Подошел к бархатной портъере и начал чистить голенища, я не вытерпел и, пока он чистил, направил ему в лоб пистолет. И почти ласково предупредил: «Если портъера не станет чистой — пристрелю».

— И что же?

— Полчаса трудился, пока не вернул портъере ее прежнюю чистоту. Кстати, к нам из Москвы приехал видный анархист, сегодня встреча с ним. Приходите послушать.

— Уволь, Дмитрий. Я предпочитаю заниматься делами. Завтра мне расскажешь...

Но рассказал ему про эту встречу не Фурманов, а Гамбург.

— Разрази меня бог, если догадаешься, кого я встретил у анархистов, — заговорил он, едва переступив порог кабинета. — Гость-то не кто иной, как наш манзурский знакомец — Несо Казанашвили. Разоделся как на свадьбу: черкеска на алой подкладке, кинжал в позолоченных ножнах, на сапогах серебряные шпоры. В голосе металл, в глазах — темный огонь. Перед местными анархистами почти час распинался.

— Что же он говорил? — поинтересовался Фрунзе.

— Начал, разумеется, с того, что «анархия — мать порядка», а потом разошелся: «Станем грабить богачей за то, что разбогатели, бедняков — за то, что не смогли разбогатеть». Поделился собственным опытом. Он после Февраля, оказывается, жил в Иркутске и там создал анархический эскадрон. Его молодчики носились по городу с черным знаменем, грабили мирных жителей, кое-кого из буржуев расстреляли. И представь, Несо стал призывать здешних анархистов к таким же действиям; я не выдержал и вышел на сцену. «Ты меня, — говорю, — помнишь или забыл? Я еще в Мензурке грозился оторвать тебе башку, так оторву сейчас, если не уберешься». Казанашвили схватился было за кинжал, но я его охладил. «Уезжай, — говорю, — подобру-поздорову, а то доложу Фрунзе. Он здесь всему голова, а ты его характер знаешь». За мной встал Фурманов и сказал с ледяной учтивостью, что с такими анархистами, как Несо Казанашвили, ему не по пути. Сборище мы закрыли, Казанашвили умчался в Москву.

— наших анархистов надо разогнать, — решительным тоном объявил Фрунзе. — Фурманова перетащим к большевикам, я беру эту деликатную миссию на себя. А к тебе у меня другое дело,

Иосиф. Я прошу тебя заняться распределением хлопка по текстильным фабрикам, организовать добычу торфа для них же. Топлива-то нет, все предприятия стоят...

Спустя несколько дней в Иваново-Вознесенске состоялся губернский съезд Советов. Фрунзе выступил с докладом о борьбе за хлеб, чтобы накормить голодных, и о войне с врагами революции. Городской пролетариат и деревенская беднота, без которых немислимо новое общество, были главной сутью его доклада. Коснулся он и анархизма:

— Среди местных анархистов много контрреволюционеров и просто бандитов. Они захватывают особняки бывших богачей, приобретают оружие. Против Советов тоже идут выступления, и мы будем глупцами, если не покончим с анархистами.

Это выступление Фрунзе было для Фурманова суровым уроком. Надо было делать окончательный выбор. Как-то вечером он сказал Фрунзе:

— Теперь я понял: революции надо отдавать и свою мысль, и чувство, и энергию. Гибель Советов — гибель революции. Чтобы спасти ее, надо быть с Советами.

Фрунзе пожал протянутую руку поэта.

Иванововознесенцы избрали Фрунзе своим делегатом на V съезд Советов. Соня и Фурманов проводили его на вокзал.

Он выехал в Москву в начале июля.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Над Москвой играла сполохами воробьиная ночь; молнии озарили окна гостиницы «Метрополь», но никто не слышал громовых раскатов: гроза шла медленно, осторожно, как большой бесшумный зверь.

В залах «Метрополя», ставшего резиденцией Советского правительства, регистрировали делегатов V съезда Советов. За ресторанным столиком у мраморного неработающего фонтана юная девушка заполняла анкеты при свете стеариновых свечей.

— Ваша фамилия? — спросила она у высокого человека в поношенном черном костюме.

— Кулаков.

— Имя-отчество?

— Павел Андреевич.

— От какой партии?

— От партии левых эсеров.

Девушка выписала делегатский мандат, билетик на место в гостинице и талоны в столовую. Кулаков поднялся на второй этаж, остановился у дверей одного из номеров, прочел табличку: «Приемная председателя ВЦИК». Войти или не войти? Посмотреть на большевика, ставшего главой государства Советов? Он колебался, не решаясь приоткрыть дверь.

— Вы что тут делаете, гражданин? — услышал он строгий голос и оглянулся.

Перед ним стоял рыжий, одетый в военную форму человек. Кулаков сразу признал Южакова.

— Алексей! Да неужели это ты?

— Павлушка, черт! Откуда взялся? Давно ли в Москве? — засыпал вопросами Южаков.

Они вместе провели год в Тобольске, вместе мечтали о революции. Но все равно приятно встретить товарища, с которым пережил тяжелые времена.

— Я расстался с тобой в Тобольске. Меня загнали в городишко Березов, а тебя? — спрашивал Южаков.

— Сперва был вечным поселенцем на Северном Урале, потом перевели на Лену, в сельцо Манзурка, тоже на вечное поселение.

— Сменяли вечность на вечность, — рассмеялся Южаков. — Когда же освободился?

— Керенский объявил амнистию, и я вернулся. Сейчас из Ярославля, — коротко ответил Кулаков.

— Ты по-прежнему эсер?

— Избран делегатом на съезд от левых эсеров.

— Какой у тебя номер? Я загляну к тебе, а сейчас иду к Якову Михайловичу по срочному делу.

— Кто это — Яков Михайлович?

— Да Свердлов же, председатель ВЦИК.

— Ты что, его заместитель?

— Пока нос не дорос. Я только начальник охраны «Метропо-
ля».

— Это почетнее, чем заместитель. Ты охраняешь главу республи-
ки.

— Я забегу к тебе, Павел, и тогда покалякаем по душам. —
Южаков похлопал по плечу товарища и скрылся за дверью прием-
ной.

В большой угловой комнате, когда-то роскошно обставленной,
теперь стоял канцелярский стол, венские, с гнутыми спинками,
стулья, узкая железная кровать, покрытая клетчатым пледом. У
окна Свердлов и Фрунзе разговаривали вполголоса, когда вошел
Южаков.

— Что-нибудь случилось? — спросил Свердлов. — Почему у
тебя такой встревоженный вид?

— Под сценой Большого театра обнаружена «адская машина»,
— с порога выпалил Южаков.

Свердлов снял пенсне, близоруко сощурился, спросил кратко:

— Кто?

— Пока неизвестно.

Свердлов накинул на плечи черную кожаную куртку и, держа в
пальцах пенсне, обратился к Фрунзе:

— Михаил Васильевич, взглянем на эту штуковину? «Адская
машина» — придумают же такое дурацкое название...

На сизом рассвете вспыхивала и гасла под лиловыми молниями
громеда Большого театра, темные квадраты мрака таились между
колоннами. Свердлов, Фрунзе и Южаков вошли служебным ходом
в Большой театр. Дежурный чекист показал «адскую машину», по-
вторя в свое оправдание:

— Еще не узнали, кто это подстроил, но узнаем, узнаем, товарищ Свердлов. Обязательно выясним!

— Дзержинскому сообщили?

— В тот же час.

— Вот пусть он и узнает. — Свердлов прошелся по сцене, обратил внимание на задник, изображавший развалины средневекового замка.

— Что за развалины?

— Декорации к опере «Гугеноты», — объяснил дежурный.

— Они будут стоять и при открытии съезда? — поинтересовался Свердлов.

— А разве дурно?

— Средневековые развалины — и съезд Советов. Смешно... — вставил свое слово Фрунзе.

— А какие другие?

— Декорации к «Евгению Онегину» хотя бы. Это же свое, русское, и все почувствуют, что свое, — посоветовал Фрунзе.

Они вернулись в «Метрополь». Не успел Свердлов перешагнуть порог номера, зазвонил телефон.

— Приемная председателя ВЦИК, — сказал Свердлов.

— Здравствуй, Яков. Это я, — донеслось из трубки.

— Добрый вечер, Феликс.

— Уже четвертый час утра. Почему не спишь?

— Такой же вопрос задаю тебе.

— Чека должна быть начеку...

— То-то, «начеку»... Об «адской машине» под сценой Большого театра доложили? Я только что осмотрел эту штуку. Если бы взорвалась во время съезда, весь президиум взлетел бы на воздух.

— Уже арестовали кое-кого. Нащупываем следы.

— Кто мог организовать покушение?

— Монархисты могли.

— А еще?

— Правые эсеры. Борис-то Савинков не дремлет.

— А левые?

— Кто знает; хотя они, как и анархисты, живут авантюрами, — ответил Дзержинский.

На Театральной площади вспыхнула револьверная стрельба, раздался топот многочисленных ног; Свердлов, оторвав от уха телефонную трубку, прислушивался к уличной суматохе.

— Алло! Алло! Куда ты делся, Яков?

— У телефона я. На Театральной площади целая баталия, кто-то в кого-то стреляет — или грабят, или убивают. Под носом у Чека, под боком у правительства... Черт знает что такое! — возмутился Свердлов.

— Сегодня трудный день. Со всех концов Москвы ко мне поступают сведения о бесчинствах и грабежах. Орудует банда какого-то Андерса, его молодчики задерживают прохожих, производят обыски и аресты по квартирам. Опытный налетчик этот Андерс, неуловимый, стервец.

— Мне уже говорили про Андерса. Он гвардейский офицер, если не ошибаюсь. Поймать во что бы то ни стало!

— Когда поймаем, доложу особо. А пока дай мне письменное распоряжение ВЦИК о борьбе с налетчиками. Оно необходимо, чтобы никто, особенно эсеры, не смели упрекнуть ВЧК в беззаконии, — сказал Дзержинский.

— Хорошо, — Свердлов положил трубку.

— По-моему, тот самый Андерс. Я с ним полгода назад в Гатчинском дворце столкнулся, когда генерала

Краснова арестовывали. Пытался и Андерса арестовать, да успел скрыться... — сказал Южаков.

— Возможно, он и есть.

— Как человек мил с лица, в душе ищи ты подлеца, — убежденно ответил Южаков.

— Нельзя так категорично, — возразил Свердлов, — даже в шутку не следует.

— О таких, как Андерс или Керенский, у меня нет иного суждения. Это у них в крови, от отцов и дедов.

— С мнением о Керенском согласен, что же касается его отца, о нем у меня весьма приятное воспоминание, — улыбнулся Фрунзе. — Он был управляющим всех учебных заведений Туркестана и дал мне характеристику как первому ученику Верненской гимназии. Пусть это мелочь, но все же приятно, а воспоминания юности незабываемы.

— Хорошее воспоминание! Владимир Ильич в шутку говорил мне, что золотой медалью обязан отцу Керенского. Он был тогда директором Симбирской гимназии, — заметил Свердлов.

— Если бы он знал, кем станет Ленин, не видать бы Ильичу золотой медали. Не предчувствовал старик Керенский, что и сынок его будет временным властителем России. Калифом на час. Какими только завитушками не украшает русская история свой фасад, — расхохотался Фрунзе.

Утром Южаков постучал в номер Кулакова. Тот открыл сразу, словно ждал его стука.

— Доброе утро, Павел. С дороги-то, чай, спал без задних ног?

— О, я вовсе не спал. Только что вернулся, — весело ответил Кулаков, раскуривая трубку.

— Где же ты был? У дамы, что ли?

— В Третьем доме Советов, там всю ночь наш ЦК заседал. Бурные дебаты происходили, и надо признаться — в моей голове многое прояснилось, — все с той же легкомысленной веселостью говорил Кулаков. — Давай-ка чайку попьем, у меня, правда, кроме сушек и воблы, нет ничего. Революция все сожрала.

— Сушки, да вобла, да цейлонский чай! — ахнул Южаков. — Ты богач по сравнению со мной, мы в Москве на полфунте черного хлеба да на полседке живем.

— Так-таки все? И председатель ВЦИК — тоже полфунта?

— И он полфунта черного.

— Посылаете продовольственные отряды, выкачиваете из деревни хлеб, а куда все деваете? Псу под хвост?

— Не ерничай! Сам знаешь, не возьмем излишки хлеба — год вымрет от голода. Рабочий класс, армия, дети вымрут...

— А кто виноват? В голоде, в разрухе, в позорном мире с немцами кто виноват? Вы, большевики! Россию превратили в тысячеверстное кладбище... Железные дороги зарастают полынью, березовые рощи вырубаются на кресты по вашей вине...

Южакوف поставил на стол стакан с недопитым чаем, спросил уже сердито и сурово:

— О войне, о царе, о Временном правительстве позабыл?

— Войны нет, царя нет, Временного правительства нет, одни большевики остались и талантливо разбазаривают матушку-Русь!

— Не узнаю тебя, Павел. И не пойму, кто передо мной — миллионер Рябушинский или революционер Кулаков? — возмутился Южакوف.

— Революционер перед тобой, революционер. Вы же переродились, слепые ниспровергатели всего разумного и человеческого!

— Послушай, Павел, — Южакوف продолжал уже голосом более ровным. — Если бы мы не были вместе в ссылке, я бы объявил тебя своим врагом со всеми вытекающими последствиями.

— А какие последствия вытекают из твоих угроз?

Южакوف пощелкал ладонью по кобуре:

— Для врагов революции у меня есть только это. Дай бог, чтоб до него не дошло. — Хлопнув дверью, он вышел из номера.

Тень от настольной лампы прикрывала лицо графа Мирбаха: так было удобнее следить за своим собеседником. Граф любил наблюдать из тени, это давало некоторые, хотя и мелкие, преимущества.

Перед Мирбахом сидел капитан Андерс — представитель новой монархической организации, созданной в Москве бывшими царскими сановниками.

Монархисты искали поддержки в дипломатических кругах и быстро установили связь с Мирбахом. Агентом их стал капитан Андерс. После Гатчины и бегства Керенского он пробрался в

Москву и вновь, полный энергии, включился в борьбу с Советской властью. Сначала с группой бывших офицеров орудовал под видом анархиста, затем связался с монархистами.

История, как и природа, иногда любит усложнять явления самые простые. Усложняет она большое и малое, и если в дождевой капле отражается весь солнечный мир, то в каком-нибудь капитане Андерсе — противоречия целой эпохи.

В раскрытое окно тек ночной, настоящий на запахе цветущих лип воздух, о чем-то добром и грустном шептались листья, круглая тень абажура закрывала глаза Вильгельма Мирбаха.

— Как вы представляете себе восстание против большевиков? — спросил он, глядя в красивое, породистое лицо Андерса.

— Надежда на переворот возросла, граф. Между большевиками и левыми эсерами идет борьба за власть; на Вятке, на Каме — крестьянские бунты. В Екатеринбурге и Перми собираются лучшие силы империи; освобождение царской семьи — вопрос времени. Все это благоприятствует нашим планам.

— Вы ничего не сказали про сибирское правительство, называемое Директорией; военный министр ее — видный монархист, вице-адмирал Колчак.

— Колчак пока только военный министр, а глава Директории Вологодский — личность несимпатичная для вас.

— Вы собираетесь свергнуть Ленина?

— Безусловно, ваше превосходительство.

— Допустим, Ленин свергнут, что же предложите вы России?

— Заключим мир со всеми державами и восстановим монархию. Это — главное. Это — самое главное на сегодня, — подчеркнул Андерс. — Попытаемся удержать генерала Деникина от перехода на сторону англичан или французов и с вашего согласия смягчить жесткие условия Брестского мирного договора. России необходимо восстановить жизненные силы, чтобы стать достойным партнером и союзником Германии...

— Вы немец, капитан?

— Мои предки переселились из Вестфалии в Россию при Екатерине Великой.

— Не скрою от вас, имперское правительство чрезвычайно обеспокоено судьбой многострадального русского царя. Он же родственник моего императора. В Екатеринбурге, по моим сведениям, назревают трагические события, и тут может быть только три решения... — Мирбах распечатал коробку сигар. — Прошу вас...

Андерс ножичком отрезал кончик сигары, закурил, с наслаждением вдыхая позабытый аромат дорогого табака.

— Три решения... — повторил печальным тоном Мирбах. — Первое: большевики могут казнить царя и в этом невозможно помешать им. Второе: чехословацкие легионеры и генерал князь Голицын наступают на Екатеринбург, они могут освободить царя и передать англичанам. Ведь английский король — двоюродный брат Николая. Германии такая акция неинтересна. Есть третье решение — похитить царя. Думаю, у моего императора найдется в Германии безопасное местечко для бывшего императора русского.

— Освобождение его императорского величества — одна из главнейших целей наших. «Центр» посылает меня в Вятку, Пермь и Екатеринбург для установления связей не только с ним, но и со всеми членами царской фамилии.

— Что есть Вятка?

— Губернский городок, традиционное место ссылки революционеров...

— Кто сослан туда большевиками?

— Князя императорской фамилии Игорьь и Иван Константиновичи.

— Сыновья царского дяди Константина?..

— Так точно.

— Он, кажется, поэт?

— Да, автор известной песни «Умер бедняга в больнице военной»...

— Я нехорошо знаю русский язык, чтобы оценить красоты его поэзии. Кто еще с ними там?

— Епископ Исидор — непримиримый противник большевиков.

— Когда отправляетесь в путь?

— Завтра, если не отменят поезд. Сейчас можно верить всему, кроме железнодорожного расписания, — усмехнулся Андерс.

— Вам нужны деньги?

— Меня ими снабдили друзья, господин посол.

— В дороге деньги не лишний груз. — Мирбах открыл ящик письменного стола, набитый иностранной валютой. — Теперь на Урале в почете фунт стерлингов, доллар да франк. — Он выложил на стол несколько пачек. — Берите, капитан, для общей святой цели, и пусть будет вам пух и перо по дороге...

— Ни пуха ни пера — так говорят русские, когда человек отправляется в опасный путь, — поправил Андерс, укладывая пачки в свой саквояж.

— Я же сказал, что нехорошо знаю русский язык, — повторил Мирбах.

Ему оставалось четырнадцать часов жизни.

Наступило шестое июля.

На Лубянке из ворот страхового общества «Россия», где теперь помещалась ВЧК, выполз легковой автомобиль и, оставляя за собой сизый шлейф чада, покатил вниз по Театральному проезду. За рулем сидел фотограф ВЧК, рядом с ним начальник секретного отдела Яков Блюмкин.

Надвинув на глаза кепи с широким лакированным козырьком, Блюмкин поглядывал по сторонам, и было в чернобородой физиономии его какое-то странное торжество. Сам заместитель председателя ВЧК Александрович, его соратник по партии левых эсеров, поручил ему опасное дело.

Автомобиль подпрыгивал на бульжниках Тверской улицы, мелькали особняки, магазины, лавки, церкви, пешеходы, извозчики. Покачиваясь на сиденье, Блюмкин придерживал рукой порт-

фель, сквозь кожу его ощущая тяжелую бомбу. «Вот еду я, никому не известный Яков Блюмкин, но скоро весь мир узнает мое имя. Оно войдет в историю революции для одних как проклятие, для других — как символ борьбы за власть. По векам человеческой истории странствуют вечными спутниками Цезарь и Брут, Марат и Кордэ, Александр Второй и Желябов; так и я стану тенью моего графа. Правда, граф не Цезарь, не Александр, но значителен в историческом времени не он сам, а Момент. Тот самый Момент, когда от легкого толчка рушатся государства, возникают войны».

Автомобиль свернул в Денежный переулок, остановился у подъезда немецкого посольства; Блюмкин и фотограф вышли из машины, предъявили охране удостоверение сотрудников ВЧК.

— Нам нужен по важному делу господин посол, — заявил Блюмкин.

Секретарь доложил графу Мирбаху о неожиданном визите чекистов, тот поколебался, но вышел в приемную.

— Прощу извинить за беспокойство, но ВЧК арестовала австрийского офицера Роберта Мирбаха. Он назвался племянником немецкого посла. Вашим племянником, граф, — с вкрадчивой улыбкой начал Блюмкин. — Он военный шпион, сейчас я представлю его показания. — Блюмкин сунул руку в карман куртки.

— У меня нет племянника. Ничьи показания меня не интересуют, — ответил строго Мирбах.

— А что же вас интересует?

Мирбах недоуменно покосился на слегка побледневшего Блюмкина.

— И вам не интересно знать, какие мы примем меры? — настаивал Блюмкин.

— Нет, не интересно.

— Ах вот как... — Блюмкин вынул револьвер и дважды выстрелил в Мирбаха, но не попал.

Мирбах кинулся из приемной, но Блюмкин выхватил из портфеля бомбу и швырнул вдогонку. Раздался взрыв, Мирбах упал. В

посольстве началась паника, Блюмкин и фотограф, позабыв удостоверение на столе, выбили окно, выпрыгнули на тротуар.

— В Трехсвятительский переулоч, в отряд Попова! — приказал Блюмкин.

Тем временем в Трехсвятительский, в особняк миллионера Морозова, перебрались Центральный комитет левоэсеровской партии и ее видные члены с Марией Спиридоновой во главе.

У всех было приподнятое настроение.

Мятеж начался удачно. Эсеры захватили район Покровки, Чистых прудов, Мясницкую улицу, Центральный телеграф. Во все крупные города России полетели экстренные телеграммы о свержении большевиков и расторжении мира с немцами...

— Мы на волосок от войны. Только самые срочные и решительные меры спасут Россию и революцию от катастрофы, — сказал Ленин, узнав об убийстве Мирбаха.

И он, не медля ни минуты, начал действовать. Кабинет его превратился в боевой штаб: во все райкомы партии, районные Советы, штабы Красной Армии передавалось ленинское распоряжение — мобилизовать все силы и поймать преступников.

Комиссару Московского военного округа было приказано готовиться к разгрому мятежников. Во все районы Москвы отправились коммунисты — делегаты Пятого съезда Советов, чтобы вывести рабочих на улицы.

Возглавить рабочий отряд, которому предстояло идти к Покровским казармам, вызвался Фрунзе. Алексей Южаков отправился вместе с ним.

Иоаким Вацетис, начальник дивизии латышских стрелков, собирался домой, когда к штабу подкатил обшарпанный автомобиль. На ходу из него выпрыгнул адъютант из штаба округа.

— Я за вами, — сказал он.

— Что произошло? — спросил Вацетис.

Был вечер, над Москвой прошел теплый дождь, бульжная мостовая лоснилась лужами, деревья влажно блестели, и Вацетису

хотелось подышать свежим воздухом. Он снова, уже ворчливо, спросил:

— Так что случилось?

— Приказано доставить вас в штаб, — уклонился от прямого ответа адъютант.

Вацетис сел в машину. На полпути к штабу военного округа патруль остановил автомобиль и проверил документы. На Никитском бульваре опять задержали.

— В чем дело? — недоумевал Вацетис. — Кого ищете?

— Автомобиль, на котором скрылись убийцы, товарищ командир, — ответил патрульный, возвращая Вацетису его мандат.

Вацетис пожал плечами, спутник его загадочно молчал. У подъезда штаба машина остановилась, адъютант побежал по коридору, стуча о каменный пол сапогами, и распахнул дверь кабинета.

— Начальник Первой латышской дивизии Вацетис, — четко по офицерской привычке доложил он.

Член Высшего военного совета Подвойский сидел, склонившись над планом Москвы. При появлении Вацетиса поднялся со стула, шагнул навстречу, протянул руку.

— Здравствуй, товарищ Иоаким! У меня мерзкие новости. Три часа назад левые эсеры убили немецкого посла и подняли мятеж против нас. Мятежники захватили особняк фабриканта Морозова в Трехсвятительском переулке, Центральный телеграф, Покровские казармы. Здание ВЧК на Лубянке также в их руках. Дзержинский, его заместитель Лацис арестованы. Мятежники проникли в части московского гарнизона и в своих целях используют антисоветские настроения отдельных бойцов. Положение чрезвычайно опасное. Ленин приказал немедленно ликвидировать левоэсеровскую авантюру. Возлагаю на тебя, товарищ Иоаким, эту операцию.

Вацетис знал, как подобает реагировать на такие слова военному.

— Я готов, но части дивизии разбросаны по всему городу. Один латышский полк только и есть в Кремле, в центре города

легкий дивизион и восемь шестидюймовых орудий, да еще конница в Павловском Посаде. На сбор и переброску их уйдет вся ночь.

— Надо действовать немедленно, быстро, решительно. Штаб мятежников находится в морозовском особняке, — Подвойский ткнул пальцем в план Москвы. — Пока известно: в морозовском особняке мятежный отряд под командой матроса Попова, на сторону эсеров перешел полк, что в Покровских казармах. В штабе эсеровских боевых дружин на Поварской улице человек двести. У них орудия, пулеметы, броневики. Если эсеры сейчас начнут штурмовать Кремль, наше положение станет еще тяжелее...

Не дожидаясь подхода всех частей, Вацетис начал военные действия. В десять часов вечера рота 9-го латышского полка выбила эсеров с телефонной станции в Милютинском переулке, чекисты очистили здание ВЧК на Лубянке.

И все же Вацетису не хватало бойцов, чтобы разгромить основные силы мятежников в Трехсвятительском переулке и в Покровских казармах.

В первом часу ночи ему позвонили из Кремля, женский тревожный голос сказал:

— Вас просят к товарищу Ленину...

Вацетис помчался в Кремль. Он прошел мимо часовых без пропуска, секретарь Ленина провела Вацетиса в зал заседаний Совнаркома. Обширный зал был темен и пуст, только в углу тускло мерцала лампа, тяжелые портьеры прикрывали окна.

Ленин вошел быстрыми шагами, крепко пожал руку Вацетису, спросил вполголоса:

— Выдержим до утра, товарищ?

Вацетис понимал: Ленин ждет от него ясного ответа и всякая уклончивость невозможна. Нужна откровенная, пусть самая горькая, правда.

— До четырех часов утра не могу начать атаку на опорные пункты противника. Войска еще не собраны, но с Ходынки выступил 2-й латышский полк, пехотная школа курсантов вышла из зда-

ния Военной коллегии, на Арбатской площади — отряд коменданта Москвы. Прошу два часа на объезд воинских частей, вернусь со всеми сведениями и дам точный ответ, — сказал Вацетис.

Ленин сжал пальцы, сунул руки в карманы потертого пиджака, произнес вполголоса:

— Истеричные авантюристы! Мы ликвидируем их сегодня же и скажем народу всю правду. Буду вас ждать через час.

Автомобиль Вацетиса снова мчался по ночным улицам Москвы, но теперь они были переполнены военными. У храма Христа Спасителя стояли полки с полевыми орудиями, на Страстную площадь прибыли две школы артиллерийских курсантов и 2-й латышский стрелковый полк. К Арбатской площади подходили части, вызванные с Девичьего поля. Разведчики сообщали, что мятежники пока не предпринимают никаких решительных действий. «Уже хорошо. Лезовсеровские вожаки упускают решающие часы», — удовлетворенно подумал Вацетис.

В третьем часу ночи он снова ждал Ленина в зале заседаний Совнаркома. Все той же стремительной походкой Владимир Ильич вошел в зал.

— Не позже полудня мы станем победителями, — теперь уже с полной уверенностью сказал Вацетис.

Обеими ладонями Ленин энергично тряхнул его руку.

— Спасибо, товарищ! Вы чрезвычайно меня обрадовали. Как настроение латышских стрелков? А какое у бойцов московского гарнизона? Нет ли среди них эсеровских агитаторов? Достаточно ли собрано сил, чтобы покончить с мятежниками?

Вацетис отвечал кратко и твердо.

— Прекрасно, продолжайте вашу операцию...

Вацетис ушел, Ленин отодвинул штору. На утреннем небе свежо, сочно цвели купола соборов. Они переливались, играли красками — голубые, зеленые, золотые. Церковные стены оттеняли их узорчатой вязью окон, карнизов, решеток, дверей, сливаясь в коричневое кружево.

Выше всех теплым, выпуклым, золотистым пятном мерцал Иван Великий.

Ленин любил краски рассвета над Кремлем и Замоскворечьем, но сегодня не замечал их.

— Вот авантюристы! Бессмысленным убийством Мирбаха они надеются подтолкнуть немцев на войну. Как это говорила Спиридонова на секретном заседании своего Центрального комитета: «Немцы пойдут на Петроград, будут брать Москву и пусть берут. Пусть берут Петроград, пусть карательные экспедиции покروют всю Россию». Да, так говорила она. Что за цинизм!

Он взял с этажерки вчерашнюю эсеровскую газету «Знамя труда», прочел на первой странице слова призыва: «Долой брестскую петлю, удушающую русскую революцию!» Пробежал глазами начало передовой: «Власть сейчас лежит в Кремле, никем не оберегаемая, как лежала она в октябре на Сенатской площади, и нам остается только решить — берем мы власть или нет». Отбросил газету и опять заходил по залу. Снова нетерпеливо подошел к окну, но погода уже переменялась. Над Москвой-рекой поднимались сивые полотнища испарений, улицы Замоскворечья заливал густой туман, обволакивая купола соборов и окна дворцов. Ленин посмотрел на часы: без пятнадцати минут семь. Как мгновенно промелькнула эта сумасшедшая ночь на седьмое июля!

А туман напозал, скрывая улицы, пряча притаившихся мятежников; они все еще не начинали боевых действий, и неуверенность их вселяла уверенность в Ленина.

Вдруг он увидел белую вспышку над куполом Благовещенского собора, услышал плотный звук артиллерийского выстрела. И тотчас по крыше Малого дворца пробежали первые огоньки, забарабанила картечь, гул второго выстрела прокатился над городом.

Левые эсеры начали обстреливать Кремль.

По приказу Вацетиса латышские стрелки пошли в наступление, охватывая с трех сторон Трехсвятительский переулочок. Мятежники с крыш и балконов били из пулеметов, латыши несли большие потери и приостановили атаку.

Вацетис, все еще не решаясь пустить в дело артиллерию, отправился к храму Христа Спасителя. Там стояли два орудия, навешенные на Трехсвятительский переулочек.

— Снаряды попадут в воспитательный дом, а не в морозовский особняк, — сказал он, ознакомившись с расчетами. — Стрелять надо только с близкого расстояния и прямой наводкой.

Туман рассеивался, солнечные блики проступали на зданиях, на баррикадах, возведенных мятежниками. Вацетис вернулся в штаб: там непрерывно звонил телефон. Кремль нетерпеливо ждал начала штурма, о том же запрашивал Реввоенсовет.

— Ждите. Скоро, — коротко отвечал Вацетис, поглядывая на второй бездействующий телефон: по нему командир артиллерийского дивизиона должен сообщить о полной готовности к бою.

Время теперь растянулось, секунды стали минутами, стрелки часов еле двигались. Почему нет звонка?

Телефон зазвонил резко, требовательно, Вацетис схватил трубку.

— Орудие наведено на окна морозовского особняка. Медлить больше нельзя. Мятежники могут истребить орудийную прислугу из пулеметов, — докладывал командир дивизиона.

Часы показывали половину двенадцатого. Вацетис приказал открыть огонь по особняку.

Через час он позвонил Ленину.

— Мятежники бегут. Преследование продолжается...

— Поздравляю с победой! Сейчас передадим всем волостным, деревенским и уездным Совдепам Московской губернии телефонограммы, что разбитые банды восставших против Советской власти разбегаются по окрестностям, что необходимо принять все меры к их задержанию. Нужно задерживать все автомобили, опустить все шлагбаумы на шоссе, — требовал Ленин...

Окна домов снова наливались солнцем, пламенели грязные лужи, хмурые тени уползали в подворотни. Из-за углов выглядывали

подозрительные личности, слышались редкие револьверные выстрелы.

Фрунзе вел свой отряд глухими переулками к Покровским казармам, расположенным у Чистых прудов. Рядом шагал Южаков — с замкнутым, отчужденным видом.

— Ты что надулся как мышь на крупу? — спросил Фрунзе.

— Злость разбирает. На юнкеров шел врукопашную, знал — враги! Про Керенского с генералом Красновым или про какого-нибудь капитана Андерса не говорю: они защищали свои классовые интересы. Но эти-то, эти-то, они же социалисты-революционеры! Мы же с ними по тюрьмам гнили, в ссылках коптились, худо ли, хорошо ли, а готовились к совместным боям с царизмом. И вот они — против революции, против народа... — Южаков отшвырнул сапогом булыжник. — Как можно так переродиться?

— Они не переродились. Эсеры — защитники кулака и лавочника, эксплуататоров голода и людских страданий. Сам народ для них только декорация, на фоне которой можно разыгрывать героизм. Легкомыслие и вероломство, фразерство и авантюризм — вот знамена, под которыми они объявили войну нам, — ответил Фрунзе.

Отряд приближался к Покровским казармам; перестрелка усилилась. Мятежники стреляли с балконов, из подворотен, избегая открытых столкновений. Где-то совсем рядом прогрехотал оружейный выстрел, за ним второй — тяжелый и неодолимый, как подземный толчок.

Вблизи Чистых прудов Фрунзе остановил отряд. Сквозь оголенные ветви деревьев желтело трехэтажное, с угрюмыми колоннами здание. Фрунзе подобрал с мостовой театральную афишу и на чистой ее стороне набросал план переулков, обтекавших казармы.

— Штурмовать начнем с разных точек. Пусть эсеры думают, что окружены со всех сторон, окружение всегда вызывает панику, а паника — начало поражения, — говорил он, разбивая отряд на

небольшие группы. И с той же решительной убежденностью добавил: — Перекрывай, Алексей, все выходы из казарм во двор, я беру на себя парадный подъезд...

Без особенного сопротивления Фрунзе с группой красногвардейцев ворвался в казармы. Эсеры, спасаясь, выпрыгивали из окон во двор, там их перехватывал Южаков.

На лестничной площадке второго этажа появился человек, размахивающий белым платком.

— Не стреляйте, я парламентар! Мы согласны капитулировать! — прокричал он хриплым, перепуганным голосом.

Фрунзе прекратил стрельбу. Парламентар сошел в вестибюль и, узнав Фрунзе, тоскливо повторил:

— Мы согласны капитулировать, но на определенных условиях.

— Никаких условий, господин Кулаков, — резко оборвал его Фрунзе. — Складывайте оружие, здесь не Манзурка, здесь политические споры решаются оружием.

— Кончен бал — гармонь под лавку, Павел Андреевич, — раздался насмешливый голос появившегося Южакова.

Кулаков тягучим, ненавидящим взглядом окинул бывших товарищей по ссылке:

— Сегодня победили вы, завтра победа будет за нами!..

Фрунзе отвернулся от Кулакова, его уже не интересовал этот человек.

Отряды возвращались к Большому театру по Мясницкой. У почтамта толпились русские, латыши, венгры, и было нелегко разобраться, кто из них большевики, кто эсеры: рубахи, соломенные шляпы, кепи стирали грань между побежденными и победителями.

Фрунзе и Южаков вернулись в «Метрополь»; в вестибюле их ожидала секретарь Свердлова.

— А я вас разыскиваю. Яков Михайлович просит зайти к нему.

Свердлов, как только Фрунзе и Южаков вошли, заговорил без предисловия:

— В Ярославле, Рыбинске вспыхнули эсеровские мятежи. Ими руководит Борис Савинков. Получены сведения о крупных кулацких бунтах на Вятке. Против ярославских, рыбинских, муромских мятежников уже направлены красногвардейские отряды, но вот Вятка... Мы искали подходящего человека, который мог бы поехать в Вятку с отрядом особого назначения. Думаю, ты, Южаков, самый подходящий. Согласен?

— Готов умереть ради победы нашей...

— Тогда ты бесполезен.

— Когда прикажете выехать?

— Это уже разговор. Чем скорее, тем лучше. Иди к Дзержинскому, он даст мандат с самыми широкими полномочиями. Помни, что сегодня Вятка — наш форпост на востоке республики: к Екатеринбург приближаются белогвардейцы и чехословаки, а там бывший царь. Николай Второй — это гражданская война, неисчислимые беды для народа. Никакой пощады врагам революции, но враг, сложивший оружие, уже не враг. Таких — щадите! Революция не только ненависть к врагу, она еще и прощение, — Свердлов поверх пенсне пристально глянул на Фрунзе. — Для вас, Михаил Васильевич, тоже есть поручение. Поезжайте в Иваново-Вознесенск, мобилизуйте все силы на помощь ярославцам. Помните, промедление смерти подобно...

— Сделаю все возможное, — ответил Фрунзе.

— И невозможное тоже... — Скупая улыбка тронула губы Свердлова.

Фрунзе и Южаков вышли из свердловского кабинета.

— Вот и снова мы расстаемся, Алексей. Не успели поговорить как следует — и опять в разные концы. Надеюсь, скоро увидимся, — сказал Фрунзе.

— И я надеюсь. Надежда укрепляет волю, — пошутил Южаков. Больше они не увиделись никогда.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Солнце вставало из сонного омута, постепенно запутываясь в ветвях старой березы.

В мягком свете лоснилась неторопливая Вятка, плавилась песчаные отмели, влажно дышали травы. По береговым кручам перебирались тени, звездные скопления цветов ослепли от росы. Под встающим солнцем казались особенно значительными и прекрасными каменные рощи колонн кафедрального собора, его голубого глубокого цвета могучие купола.

Над городом прокатился бас соборного колокола, и сразу на всех колокольнях разразилась звонкая, ликующая буря.

Город оживился, замелькали бабьи сарафаны, мужские рубахи, суконные поддевки; к кафедральному собору, монастырским воротам потекли цветастые ручьи богомольцев.

Смиренно проплывали монахи — черные рясы и клобуки их прошивали пеструю толпу; спешили косматые нервные юноши; скользкими шажками двигались расфранченные купчихи.

Склеротическое шарканье калош, жаркое постукивание каблучков, молодеваый топот, пренебрежительные усмешки, гневно поджатые губы — все двигалось, сливалось, распадалось у церковных папертей.

Особенное многолюдье было на загородной дороге, ведущей к Филейскому монастырю. В шумном потоке богомольцев затерялся капитан Андерс в своем пропыленном пиджачке и стоптанных ботинках. Он шагал прихрамывая, с солдатской сумкой через плечо. Его запущенный вид, потное, со свалывшейся бородкой лицо не привлекали внимания, зато сам он шарил глазами по оттопыренным карманам молодых, с военной выправкой, людей. «С оружием парни», — удовлетворенно подумал Андерс, сворачивая за монастырскими воротами на травянистую тропинку.

На отшибе от церкви, окруженный липами и акациями, желтел добротный деревянный домик. Андерс вытер ботинки о коврик, перекрестившись, вошел в сени, осторожно взялся за бронзовую ручку звонка.

Дверь слегка приоткрылась, чей-то свистящий голос спросил, кто и зачем пожаловал.

— Капитан Лаврентий Андерс.

— Обождите минуточку.

Андерс присел на стул, огляделся. Цветные стекла в окнах, гладко оструганные бревна стен, лики святых в золотых окладах — в комнате чувствовалась полная отрешенность от мирских сует. Андерсу стало неловко за свой замызганный, недопустимый для гвардейского офицера вид, он грустно улыбнулся, потрогал в нагрудном кармане пакет. «Впрочем, нет худа без добра. В этом костюме мне удалось пройти через все заслоны», — повеселел он от мысли, что без особых происшествий достиг своей заветной цели — проник в этот безмятежный монастырский домик.

Дверь снова приоткрылась, появился угрюмый монах.

— Их высочества и его преосвященство ищут вас...

Андерс вдохнул всей грудью, шагнул за дверь, на пороге вежливо изогнул спину, рискнул взглядом по сумеречному залу.

Венецианские, в бархатных портъерах окна, кресла, обитые капо-корешком, икона с печальным ликом Христа, а под ней, за столом, в напряженных позах князя Игорь и Иван Константиновичи, около них грузный, в шелковой лиловой рясе, с жирно блестящей панагией епископ Исидор.

Князя одновременно кивнули Андерсу, он мгновенно отметил редкое сходство обоих: пшеничные усики, прилизанные виски, узкие лбы, пренебрежительно сжатые губы.

— Подойдите поближе, сын мой, — сочным, вкусным, хорошо поставленным голосом попросил епископ.

У Андерса приятно защемило под ложечкой, он вступил на зеленую зыбь ковра. Епископ протянул пухлую руку, Андерс, опять изогнув спину, поцеловал ее.

— Это и есть капитан Андерс, о котором я предупреждал ваши высочества. Я Лаврентия Орестовича знаю — верный сын православной церкви нашей, престола и отечества. Рад вас видеть в пол-

ном здравии, целым и невредимым, господин капитан, — сказал епископ Исидор.

— Благодарю, ваше преосвященство, — с чувством ответил Андерс. — Я счастлив, что мне поручено сообщить вашим высочествам и вашему преосвященству столь важные и, смею надеяться, хорошие вести. — Андерс говорил, всем видом показывая, как он смущен похвалой и как обрадован долгожданной встречей с князьями.

— Мы ждали еще позавчера. Волновались, не случилось ли чего, — опять сказал епископ.

— Я еле-еле выбрался из Москвы. Сейчас трудно путешествовать: тысячи подозрительных глаз следят за каждым движением.

— Мы высоко ценим вашу смелость. — Епископ поправил на груди панагию.

— Вы привезли ожидаемое нами? — перебил епископа Исидора князь Игорь Константинович.

— Так точно, ваше высочество. — Андерс торопливо достал пакет.

Игорь Константинович разорвал его, вынул письма, небрежно пробежал глазами, пододвинул брату.

— Передайте своими словами суть дела...

— Слушаюсь, ваше высочество. — Нервозность Андерса исчезла, он стал твердо выговаривать каждое слово. —

Центр, который я имею честь представлять, действует энергично. Установлен контакт с Союзом защиты родины и свободы, его руководитель Борис Савинков симпатизирует нам. И это он, бывший яростный враг монархии, террорист! Хотя Савинков причинил нам в свое время много горя и бед, не использовать его при теперешних обстоятельствах против Советской власти — грех. Так считают руководители нашего центра. Ваша ссылка скоро кончится, местные патриоты уничтожат Совдепию в Вятке.

— Прекрасная новость, — повернулся к епископу Игорь Константинович. — А мы ничего не знаем о таких важных событиях. У нас даже нет представления, что имеем, чем располагаем.

Епископ Исидор снова поласкал панагию, улыбнулся князю, как младенцу.

— Я умышленно держал ваши высочества в стороне от мирских сует, хотелось оградить от всяких случайностей и неожиданностей, — объяснил он. — Не имею права накликать беду на вас. Да что беда, даже тень подозрения не должна упасть на ваши высочества! Мы располагаем большими возможностями, преданные престолу люди находятся в монастыре и вооружены не одними молитвами. В решающую минуту они придут на помощь местным патриотам. — Епископ Исидор ронял слова тихо, мягко, но в задушевном голосе его Андерс почувствовал непоколебимую веру в успех. — Вероотступники, завладевшие городом, не имеют сил для поддержания своей антихристовой власти. У этих служителей сатаны есть пяток мелких добровольческих отрядов, а карательные отряды матросов сейчас находятся в уездах. Господь посылает вам случай для быстрого восстановления законной власти в городе, — епископ молитвенно сложил ладони. — Единственную серьезную опасность представляют латышские стрелки, недавно прибывшие из Москвы, но их переловят в ихней же казарме. Большевики на краю пропасти, остается лишь подтолкнуть...

— Кто они — местные патриоты? — спросил Иван Константинович.

— Они именуют себя левыми эсерами и анархистами,

— Можно положиться на этих людей?

— Они удержатся у власти ровно столько, сколько мы пожелаем.

— Надо предвидеть и возможность неудачи, — передернул губами Игорь Константинович.

— Следует думать только о победе, ваше высочество, — вежливо возразил епископ Исидор. — Неудачи невозможны, они просто немислимы.

Игорь Константинович понимающе покивал головой, Иван Константинович устало прикрыл глаза.

— Скоро власть большевиков падет по всей России, — жарко сказал Андерс. — Не только люди, сам бог против большевиков. Все честное, что есть на земле русской, берется за оружие. Нам помогают могучие союзники, помогают даже вчерашние наши враги.

— Мы надеемся, господин капитан соизволит принять участие в уничтожении безбожной власти в городе, — сказал Игорь Константинович.

— Для русского дворянина, для слуги престола нет большей чести, чем бороться с его врагами, ваше высочество! — с чувством воскликнул Андерс. — Я присягал на верность престолу. Но, ваше высочество, у меня есть еще одно, особое поручение. Я должен немедленно выехать в Екатеринбург...

Князя недоуменно посмотрели на Андерса, епископ спросил:

— Что за поручение, сын мой? Почему в письмах о нем ни слова?

— О нем и нельзя сообщать. Письма могли попасть в руки большевиков-комиссаров. Мне позволено только устно передать несколько слов, но у меня нет секретов ни от ваших высочеств, ни от вашего преосвященства, — Андерс поворачивал голову то к епископу, то к князьям.

— В чем же дело? — недовольно спросил Игорь Константинович.

— Наша организация решила освободить из красного ада его императорское величество. Вы знаете, такая попытка в Тобольске провалилась. Государь перевезен в Екатеринбург и находится под усиленной охраной. Нам все же удалось установить с ним тайные сношения. Сейчас, когда генерал князь Голицын и чехословацкие легионы успешно наступают на Екатеринбург, его императорскому величеству грозит опасность. Вот почему мы торопимся освободить императора, вот почему я спешу в Екатеринбург...

— От таких, как вы, господин Андерс, сейчас зависит судьба отечества нашего. Да благословит вас Христос на святое дело, —

перекрестил епископ капитана. — Счастливого пути и успеха вам...

Пятясь спиной, провожаемый крестным знаменем епископа Исидора, мелкими кивками князей, Андерс вышел из комнаты.

Он опять шагал по зеленым улицам, но что-то уже изменилось в праздничном настроении города. Исчезли толпы богомольцев, редкие пешеходы испуганно жались к заборам, закрывались ставни лавок, извозчики покидали свои стоянки.

Черный обвисший флаг над подъездом двухэтажного полукруглого дома привлек внимание Андерса. Под флагом красовались три вывески: позолоченная, но облупленная — «Купеческий клуб», рыжая — «Дом общественного собрания», пегая — «Храм анархистов!». Андерсу хотелось поскорее добраться до вокзала, и он заспешил, подозрительно оглядывая прохожих. Перешел на другую сторону улицы, задержал взгляд на вывеске магазина: «Бананы. Ананасы. Финики. Все из тропиков, все у Клобукова». Андерс усмехнулся: из-за витрин на него глазели гнилые яблоки, стручки красного перца, у дверей торчал пулемет, нацеленный на «Храм анархистов». Около пулемета сидели красноармейцы. Андерс заспешил прочь от опасного места, но патруль преградил ему путь.

— Ваши документы! Мы из губчека...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В обширном, перенаселенном вещами особняке было беспорядочно и шумно. Комнаты брэнчали шпорами, верещали телефонными звонками, задыхались от грубых мужских голосов: здесь шли бесконечные заседания ревкома и короткие — военных трибуналов.

В круглом, со стрельчатыми окнами зале за столом сутулились посеревшие от бессонницы и непрерывных споров молодые люди. Обхватив пальцами локти, щурился поверх очков на гипсовых купидонов на потолке председатель ревкома Попов, покачивался

вместе со стулом комиссар юстиции Урановский. У окна, положив ногу на ногу, сидел командир Особого отряда Алексей Южаков.

— Смотрите-ка, уже рассвет, — удивился Попов, откидывая длинные волосы. — Баяли-баяли и ни до чего не добаялись, — выпуклое «о» округляло и смягчало его слова. — Одним словом, дела не делаем и от дела не бегаем.

— Выслушайте меня внимательно, а потом решайте как хотите, — заговорил Урановский. — С той поры, как белочехи захватили Сибирь, в нашем городе зашевелились враги. Ожили. Воспрянули духом. Приободрились. Волки сбиваются в одну стаю, — он постучал кулаком по столу. — Да, да! Именно в одну стаю. Позавчера взлетел на воздух гарнизонный склад — его взорвали анархисты. Эсеры выпускают листовки, обзывая нас кровавыми диктаторами, ну да ладно: собака лает — ветер носит. Эсеры подбивают мужиков на бунты, а мы только хлопаем ушами. Почему, черт возьми, над Домом общественных собраний болтается черный флаг анархистов? Почему в Филейском монастыре у князей Романовых собираются подозрительные личности? О чем они там совещаются? Спросите у губчека — не ответит! В либерализм играем, — боюсь, до потери собственных голов доиграемся.

Гневная речь комиссара юстиции преображала измученные лица комиссаров: отвердевали скулы, сурово сжимались губы. Наступила минута, когда встревоженные надвигающимися опасными событиями люди заговорили все сразу:

— Почему нянчимся с монархистами?

— В Уржуме, в Нолинске кулацкие бунты. Богатеи разгоняют продовольственные отряды. А кто виноват?

— Виноваты сами отряды. Под веник выметают зерно из сусеков...

— Это наглая ложь!

— Это святая правда!

— Наша губерния переполнена мешочниками.

— А в Петрограде голод...

— А мужики травят хлеб на самогон...

В зал вошел председатель губчека Капустин. Комиссары повернулись к вошедшему: своим форсистым видом он разительно отличался от них. Над хромовыми желтыми сапогами пузырились малинового цвета галифе, зеленая гимнастерка, перетянутая офицерскими ремнями, подчеркивала и без того узкую талию, черные усики были воинственно вздернуты. Тонкоскулый, долговязый, Капустин казался моложе своих двадцати пяти лет.

— Явился наконец-то, — сказал Попов. — А мы тут немножко поспорили, нервные все стали: царапаемся, словно коты. Ну, что говорит арестованный монархист?

— Капитан Андерс ничего не говорит. При обыске у него нашли план особняка купца Ипатьева в Екатеринбурге, где содержится царь, — ответил Капустин, слегка заикаясь и грассируя.

— А что, если капитан — участник нового заговора? — опять спросил Попов. — Сколько уже было этих заговоров по освобождению Николая Второго...

— Андерс признался только в том, что был связан с немецким послом Мирбахом.

— Почему «был»? — спросил Урановский.

— Мирбах-то убит. Андерсу даже выгодно признаться в связях с мертвецом. Улик-то нет.

— У врагов наших найдутся покровители.

— Сегодня какое число? — неожиданно спросил Южаков.

— Семнадцатое июля. А что?

— Да просто забыл число. А вот с капитаном Андерсом я уже сталкивался: хитрый, умный офицер. У ревкома есть какие-нибудь сведения о положении в Екатеринбурге?

— Город объявлен на чрезвычайном положении. Белые уже в ста верстах от Екатеринбурга. Я говорил ночью по прямому проводу с председателем Екатеринбургской губчека, у них началась эвакуация учреждений, — возможно, в Вятку будет перевезен царь и его семейство, — ответил Попов.

— Выступления местных монархистов надо ждать в любое время, — напомнил комиссар юстиции.

— Если так, я жду приказа, — обратился Южаков к председателю ревкома. — Дайте приказ — и я ликвидирую заговорщиков.

— Отправляйся в Филейский монастырь, арестуй князей Романовых, всех подозрительных лиц, которые там окажутся, — согласился Попов, вставая со стула и застегивая на все пуговицы поддевку.

Из окон особняка открывался широкий вид на Вятку, на сосновые боры, уходившие к горизонту. Зеленые по берегам реки, они постепенно синели, а там, где сливались с небом, стояла желтая дымка. Под крутояром шла непрерывная утренняя игра солнца и речной воды.

Южаков, опершись локтями на подоконник, любовался ландшафтом незнакомого края, его первозданной мощью и красотой.

— Так ты не ухватил епископа за бороду? Фу ты, черт, царского советчика — и за бороду! Нехорошо было бы, — рассмеялся Попов, выслушав рассказ об аресте епископа и князей. — А как вели себя князья?

— С достоинством, ничего не скажешь. Когда объявили, что арестованы, стали одеваться. На меня даже не посмотрели. Есть в них что-то, в этих аристократах, что дают только власть и богатство.

— Скоро начнется заседание ревкома? — спросил вошедший Капустин.

— Уже начинаем.

— Мой вопрос прошу решить вне очереди. Что делать с арестованным Андерсом?

— К стенке этого монархиста! — крикнул Урановский.

— Больно ты скор на расправу. «К стенке», «в расход» — только и слышишь. Речь-то идет о человеческой голове, — стараясь быть спокойным, но голосом выдавая волнение, возразил Южаков.

— Речь о голове врага революции, а такие головы под топор...

— Кем бы ни был Андерс, мы не имеем права легкомысленно решать его судьбу, — запротестовал Попов.

— От мягкотелости и слюнтяйства погибла не одна революция. Не играйте в благородных рыцарей, не будьте донкихотами, — комиссар юстиции сердито проскрипел стулом.

— Расстреливать без следствия, без суда? Не выслушав обвиняемого? Так честные люди не поступают, не должны поступать. Не имеют права, — возмутился Южак.

— Довольно спорить. Приведите сюда Андерса! — приказал Попов и, сняв очки и держа на отлете хрупкие, как стрекозиные крылышки, стекла, сощурился на окно, ослепленное солнцем.

Ввели арестованного, Южак сразу узнал капитана: даже заросший и грязный, он не потерял своего бравого вида.

— По законам революции ваша деятельность карается расстрелом. Вы знали об этом? — спросил Попов.

Красные пятна выступили на скулах Андерса, и он ответил:

— Да, конечно. Но прошу учесть: я никого не убивал, ничего не поджигал.

— Капитан Андерс, нам уже приходилось встречаться, вы узнаете меня? — спросил Южак. — Как участника заговора Корнилова я арестовал вас и отправил в тюрьму. Помните?

— Помню и узнаю...

— Кто освободил вас тогда?

— Мы сами бежали.

— Кто это «мы»?

— Генералы Корнилов, Деникин, приближенные к ним офицеры.

— Я пытался арестовать вас в Гатчине, но вы успели скрыться. Куда вы исчезли из Питера?

— Я переехал в Москву. Жил тихо. — Взглядом, полным надежды, Андерс обвел членов ревкома.

— Где гарантия, что не будете участвовать в новых антисоветских заговорах? — спросил Попов.

— Ничего у меня нет, кроме честного слова...

— Капитан Андерс! Вы зря рисковали и старались. В ночь на семнадцатое июля в Екатеринбурге расстрелян Николай Второй и его семейство...

Андерс, прислонившись к стене, смотрел на членов ревкома пустыми, погасшими глазами.

— Я думаю, капитана можно отпустить на все четыре стороны под честное слово, — заключил Попов.

Андерс вышел из кабинета. Члены ревкома тушили сигарки, раскладывали блокноты.

Попов, откинув ладонью длинные волосы, заговорил о самом главном, что в этот час волновало всех.

— Ночью меня вызвал к прямому проводу Свердлов. Сказал, что хотя эсеровские мятежи подавлены, но гражданская война разгорается. Армии Восточного фронта отступают под ударами Капеля, Пепеляева, Войцеховского. На Северном фронте английские интервенты продвигаются к Котласу. Свердлов предупреждает: белогвардейцы и интервенты, захватив Вятку, соединятся и беспрепятственно пойдут на Москву. Революция в опасности, мы встаем на ее защиту. Мы создаем боевые отряды и направляем их под Пермь, на помощь Третьей армии, в Котлас — в распоряжение Шестой...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Среди множества причин, формирующих историческую личность, на первом месте стоит талант.

Талант полководца — в свежести и новизне стратегических и тактических планов, в искусстве в нужную минуту принимать нужные решения, в умении раскрывать замыслы противника, в постоянной работе организатора и воспитателя солдат. Личная храбрость и бесстрашие, уверенность в победе — такие же грани полководческого таланта, как идейная убежденность в правоте дела, за которое он сражается.

Революция открывала, гранила, шлифовала таланты своих полководцев с ошеломляющей быстротой. Революция учила их пользоваться передовыми социальными идеями так же, как и современными способами боя. Борьба классов была главной школой для всех полководцев революции.

Главным фронтом республики стал Восточный, и на нем партия сосредоточила крупную ударную группировку.

По ленинской инициативе перестраивались и укреплялись вооруженные силы, был создан институт военных комиссаров, военные округа. Самый большой из них — Ярославский — вместил в себя территорию от Белого моря до Верхней Волги. Когда Высший военный совет обратился к Свердлову с просьбой выдвинуть кандидата на этот пост, тот назвал Михаила Фрунзе:

— Ценный, преданный, честный работник, пригодный для занятия ответственных функций...

Фрунзе обладал счастливым даром находить преданных революции людей. Вот царский генерал Новицкий, ставший военным его советником. Что привело его к большевикам? Командовал дивизией, приветствовал Временное правительство, но одним из первых присягнул на верность Советам.

Фрунзе вызвал генерала; тот вошел суровый, сосредоточенный, морщинистое лицо обрамлено остроконечной бородкой, на носу очки в железной оправе, — генерал больше походил на учителя.

После обычных вопросов о здоровье, настроении Фрунзе спросил:

— Какой вы представляете себе новую, народную армию, Федор Федорович?

— Только не разнузданной толпой, сбрасывающей командиров по своему хотению.

— А ее командиров?

— Служить в армии — это подчиняться и командовать...

— Меня интересует ваше мнение об идейности бойца и командира.

Генерал наморщил лоб, свел к переносице брови, что-то вспоминая.

— Есть общая идея, придающая солдатским лицам однообразную красоту. Это идея самоотречения...

— И больше ничего? По-моему, такая идея аполитична.

— Ее высказал Альфред де Виньи, французский писатель.

— Я читал его «Неволю и величие солдата». Очень своеобразно, во многом интересно, но только идея солдатского самоотречения — не классовая идея. Это — самоотречение ради воинского долга, воинской чести и только. Мы создаем новую армию, и ее солдаты, командиры ее должны знать, что они защищают. Идея красноармейского самоотречения заключена в преданности народным интересам, в защите революции. Это моя принципиальная поправка к идее Альфреда де Виньи, — мягко сказал Фрунзе.

За этой мягкостью генерал все же чувствовал: принципиальность военного комиссара неотделима от его идей.

А Фрунзе продолжал развивать свою мысль о классовой сущности любых войн, о которой Новицкий имел смутное представление:

— В классовых войнах участвуют не только миллионные армии, но и целые народы. Интересы государств, общественного бытия, национального сознания тоже сражаются. В наши дни театр военных действий захватывает огромные территории. Посмотрите на карту: фронты проходят от берегов Ледовитого океана. Необозримы пространства этих фронтов, но не они главная трудность. Трудность — в бесконечном разнообразии форм борьбы, потому что цельность общего стратегического плана и строгая согласованность всех частей при исполнении его являются центральной заботой военачальников...

С того часа, как судьба свела их, генерал исподволь приглядывался к Фрунзе. Он думал поначалу, что военный комиссар — неотесанный, крикливый мужлан, случайно поднятый на вершину новой власти. Генерал встречал таких грубых, развязных, подозрительно относящихся к старым военным специалистам крикунов.

Общая работа быстро разрушила ложное представление генерала о военном комиссаре. Он встретился с обаятельным человеком, образованным, умным собеседником и — что самое поразительное — тонко знающим военное дело. Фрунзе разбирался в сложных, хотя и новых для него делах, умел выделять самое важное, отбрасывая мелочи.

Зашел разговор о том, что в такие решающие часы истории надо с оружием защищать революцию.

— Полковник Каппель с горсткой офицеров и двумя-тремя чехословацкими частями захватил Казань, в его распоряжении очутился весь золотой запас России. Шутка сказать — восемьдесят тысяч пудов золота, серебра, драгоценностей из царских сокровищ! Народные деньги используются против народа. Казань стала опаснейшей угрозой для революции, но теперь положение дел можно решительно изменить в нашу пользу. В Свияжске создана новая, Пятая армия, на Волге появилась военная флотилия, с реки Вятки подошли свежие части Азина, — говорил Фрунзе и вдруг с какой-то необычайной страстностью воскликнул: — Неудержимо тянет на фронт! Может, дадут какой-нибудь полчишко.

— Я бы доверил вам даже дивизию, — улыбнулся Новицкий.

Улыбка смягчала суровое выражение его тонкоскулого лица, генерал даже показался моложе...

Громоздкая машина Ярославского военного округа под их руководством заработала четко и точно, без суеты. Все задания Высшего военного совета, все требования фронтов исполнялись с завидной быстротой. Сам Фрунзе работал неумоимо, размашисто, с той непринужденностью, которая невольно вдохновляет подчиненных. Он словно особым чутьем угадывал, на что способны люди, кому какое дело можно доверить. «Политический деятель широкого масштаба, у него твердая воля, а это — незаменимое качество для военачальника», — размышлял генерал Новицкий после каждой новой встречи с Фрунзе.

В редкие свободные от дел часы у Фрунзе собирались его друзья. Он умел поговорить не только на военные темы, но и о музыке, литературе, особенно о поэзии.

Софья Алексеевна угощала гостей морковным кофе без сахара, картошкой в мундире, иногда, как роскошь, подавала полбенную кашу. Гости приносили хлебные пайки и незаметно оставляли их на кухне: вязкий, как чернозем, хлеб становился лакомством.

Был поздний вечер тридцатого августа, тихий, грустный, предосенний; с берез уже осыпались листья, осинки дрожали золотистыми кострами, галки носились хлопьями черного пепла. В этот вечер к Фрунзе пришли Дмитрий Фурманов, Александр Воронский и Иосиф Гамбург. Фурманов сел на своего конька — заговорил на литературную тему.

Зазвонил телефон, Фрунзе снял трубку:

— Слушаю. Да, это я. Вызывает Москва? — Он плотнее прижал трубку к уху. — Москва, Москва? Что вы сказали? Да не может быть!

Он вскочил, опрокинул стул, лицо его сразу окаменело, губы сжались.

— Сегодня эсерка-террористка Каплан стреляла в Ленина отравленными пулями. Придется нашу беседу прервать. Покушение на Ленина... это, это... — Он не мог подыскать слов для выражения мысли: гнев, возмущение и тревога за жизнь Ленина овладели им.

Ночью, после нового телефонного разговора с Москвой, он сказал жене, что Ленин ранен очень тяжело, но есть все-таки надежда на выздоровление.

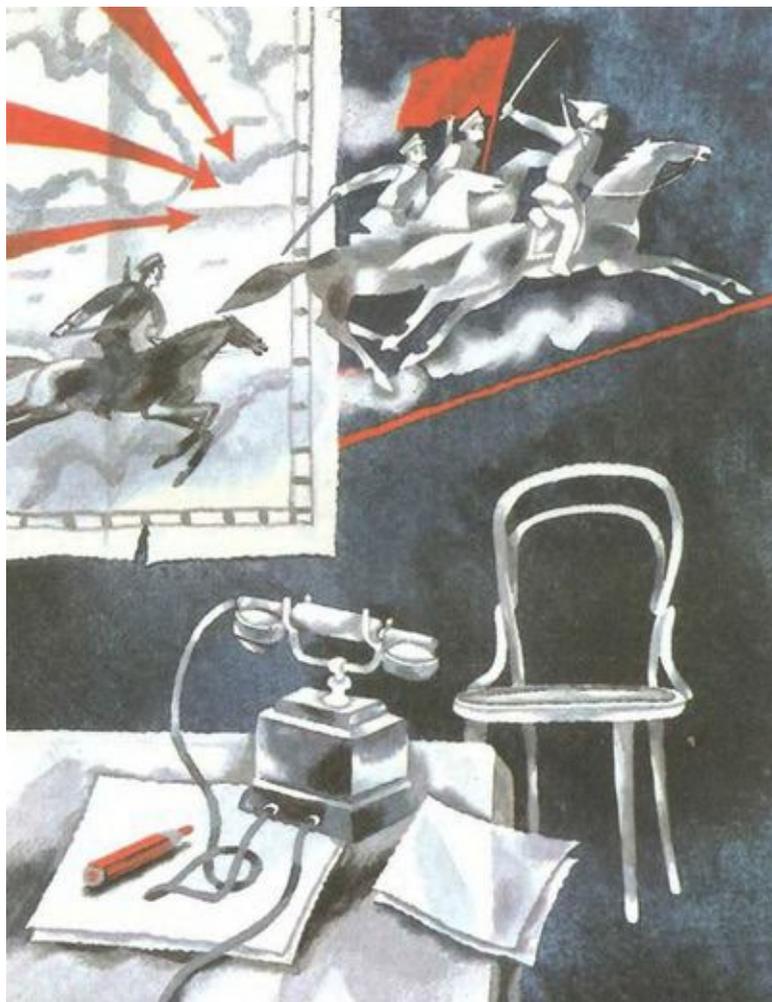
Он сел за стол, уперся локтями в столешницу, положил на скрещенные пальцы подбородок. Задумался.

Бывают такие минуты, когда человек, размышляя, как бы подводит незримую черту в своей жизни. Как жил, что сделал, что еще может сделать. Вот он свою жизнь посвятил революционной работе. Создавал рабочие кружки, дрался на баррикадах, проводил забастовки, сидел в камере смертников, пропагандировал марксизм

среди царских солдат. Как революционер-большевик формировался под влиянием Ленина.

«Хорошему стратегу в политике надо иметь особые качества, — думал Фрунзе. — Самые важные из них — интуиция, способность быстро разбираться во всей сложности явлений, останавливаться на самом главном и разрабатывать план борьбы уже на его основе. Ленин в совершенстве обладает такой интуицией, его оценки грядущих событий, его прогнозы отличаются глубиной и прозорливостью. Ленинская стратегия и тактика революции вытекают из определенной оценки момента, из политической обстановки и перспектив ее развития. Это тактика борьбы рабочего класса за гегемонию над буржуазией». Сегодня, в эти трагические часы истории, он, Фрунзе, особенно отчетливо понимал, что только с помощью ленинской стратегии и тактики возможно победить врагов революции. «Что бы ни случилось завтра, кем бы ни стал — военным ли, партийным ли работником, у Ленина я буду черпать силу и вдохновение...»

Над городом — последнее летнее утро с красными пятнами зари, поникшими деревьями, лужами после ночного дождя. Фрунзе на цыпочках, чтобы не разбудить жену, вышел из квартиры и зашел на телеграф...



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Декабрьская метель гремела жестью крыш, заламывала обледенелые сучья, снежные хлопья врываются в окна вокзалов, обхлестывали памятники, голые бульвары, бесконечные очереди у хлеб-

ных лавок. Сквозь белые вихри проглядывали с фанерных щитов плакаты. «Все на Колчака!» — кричали саженной высоты лозунги, выбегая из снежной круговерти и тотчас проваливаясь в нее. В рёве метели, стоне деревьев, лязге водосточных труб жили и боль и тоска; казалось, природа, как и люди, утратила покой.

Михаил Фрунзе вышел из дверей Центрального Комитета, ветер распахнул полы шинели, ледяные иголки ударили в лицо, но метель сразу и освежила его. Засунув руки в карманы, наклонившись вперед, он зашагал по улице, думая о новой, сложной, опасной работе. О той самой, о которой мечтал, — с оружием в руках, плечом к плечу с бойцами революции защищать ее от врага. Мечта сбылась: его только что назначили командующим 4-й армией Восточного фронта.

Он шел, не замечая, как стихает ветер, как в развалах туч появляется остекленевшее небо. Шел, захваченный ожиданием новых серьезных перемен в своей жизни: уже сейчас что-то решительно изменилось в нем, и это «что-то» было ответственностью перед революцией. Немало сил отдал он ее приближению. Он обладал творческой силой для воплощения революционных идей в действительность, и поэзия жизни была для него важнее поэзии духа. Ему уже мало тех поразительных слов, которые с юных лет обжигали душу: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» В роковые минуты надо драться за свободу и жизнь. Теперь не Тютчев, а Гёте нужнее ему: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» Такие слова можно начертать на знаменах войск, идущих на поля сражений. Новая армия защищает новое общество, в котором мир и добро равноценны солнцу и хлебу. И свободе!

В одном из самых больших залов Иваново-Вознесенска сошлись на митинг рабочие, партийные, советские деятели. В пестрой толпе Дмитрий Фурманов видел возбужденные лица Александра Воронского, Павла Батурина, Иосифа Гамбурга и, как все, нетерпеливо ждал Фрунзе.

Он появился, одетый в кожаную походную куртку, положил ладони на край трибуны, спокойными глазами обвел встревоженных, напряженных людей.

— Российской революции угрожает новая опасность, идущая с востока. От этой опасности нас не спасут никакие мирные договоры, ни уступчивость и миролюбие. Для нас теперь выход только один — немедленная и энергичная деятельность по укреплению вооруженных сил. Мы должны быть сильны, чтобы с нами считались...

Фурманов весь обратился в слух, и время приобрело для него новое измерение, и вес, и ту особую значимость, которую особенно остро воспринимают увлекающиеся натуры.

— Контрреволюция собрала все силы, чтобы с помощью интервентов задушить нашу власть, — продолжал Фрунзе. — Колчак надеется восстановить царские времена; пулю, петлю, голод мобилизовал он на усмирение народа, но забыл, что можно временно подчинить часть народа, нельзя победить весь народ, который не желает белых и поддерживает красных. Нас поддерживает...

Ровный голос нового командарма зазвенел, бледное лицо покраснело, на лбу прорезалась морщина, он словно вырос и преобразился. «Теперь говорит уже не оратор, а воин», — подумал Фурманов.

— Никогда еще не было нам так тяжело, как в эти дни, но мы должны выстоять. Мы обязаны выстоять! Положение совершенно исключительное, и надо немедленно поднять дух Красной Армии — вот что надо! Центральный Комитет партии объявил партийную мобилизацию. «Коммунисты — на фронт!» — этот лозунг станет нашим знаменем... — Фрунзе прервал речь; притихший зал следил за каждым его жестом. — Нам же, иванововознесенцам, победа над Колчаком особенно необходима. Сокрушив его армии, мы пробьем дорогу к туркестанскому хлопку, без которого мертвы корпуса наших фабрик. Предлагаю создать Иваново-вознесенский рабочий полк и, не теряя времени, направить его на Восточный фронт, — заключил Фрунзе короткую свою речь.

Вечером Фурманов увидел у здания губкома партии длинную очередь: коммунисты и беспартийные рабочие требовали их отправки на фронт. Ветер трепал красное полотнище с призывом: «Записывайтесь в отряд товарища Фрунзе!» Знакомый ткач остановил Фурманова и, дергая за рукав полушубка, умолял:

— Помоги, Митяй, записаться в отряд.

— В очереди не хочешь постоять? — пошутил Фурманов.

— Уже отстоял часа четыре. Не берут: нельзя, дескать, всех послать, кто же армию снабжать станет. В порядке партийной дисциплины оставляют в тылу, ну что ты скажешь...

— Партийная дисциплина — вещь серьезная.

— Так у меня особое право есть! — козырнул последним аргументом ткач. — Собрание нашей фабрики постановило предоставить мне почетное место в отряде...

Фурманов вместе с ткачом прошел в кабинет Фрунзе. Командарм выслушал их, чему-то улыбнулся:

— Рад бы всей душой, да не могу. Всех добровольцами не возьмешь. Между прочим, и тебя, Дмитрий, губком не отпускает.

— И меня?! Как же так, вы же обещали... — заволновался Фурманов.

— Без согласия губкома не могу.

После Фурманова и ткача появился Иосиф Гамбург, как всегда возбужденный, положил перед Фрунзе листок из школьной тетрадки.

— Это что? — спросил тот.

— Заявление в добровольческий отряд.

— Вот уж кого не представляю в военном мундире, — пошутил Фрунзе. — Ты снабженец, и недурной, ну и оставался бы им. — Он с нежностью посмотрел на худую фигуру друга.

— Михаил! — торжественно произнес Гамбург. — Когда ты решил бежать из ссылки, я не отговаривал. Может, ты забыл про тот случай?

Губы Фрунзе расплылись в широкой улыбке:

- У тебя упрямый характер, Иосиф...
- Характер на пенсию не отправишь.

Дома во время обеда Софья Алексеевна как бы между прочим сообщила:

- Я еду с тобой, Зеленый Листок. Куда иголка, туда и нитка.
- Но это почти невозможно! — воскликнул он.
- Хорошо, что ты не забыл слово «почти», Зеленый Листок...

КНИГА ВТОРАЯ

*Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.*

Гёте

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Великие эпохи выдвигают людей, которые воплощают душу времени.

Великие революции выражают в таких людях свои идеи, волю, силу.

Старый мир не уступает прав и власти без яростного сопротивления. Заговоры, восстания, голод, темные страсти, предательство, клевету — все, что может задержать победоносный ход революции, берут на вооружение ее враги.

Михаил Фрунзе до приезда в Самару имел общее представление о трагическом положении на Восточном фронте, но не знал скрытых причин, которые вели к разложению 4-й армии.

Армию же захлестывала разнузданная анархия: бойцы сбрасывали командиров и назначали кого хотели. Планы наступлений обсуждались на митингах, и можно было общим голосованием отложить назначенную атаку или без боя сдать противнику опорный пункт. В красных полках было засилье кулацких сынков, царских офицеров; командиры из эсеров и анархистов отказывались исполнять приказы даже Реввоенсовета армии. Эсеры, анархисты, меньшевики захватили командные посты в бригадах 22-й дивизии и сговорились с атаманом Дутовым о вооруженном восстании.

Сговор произошел в тот момент, когда 4-я армия наступала на Уральск. У стен степного городка начался подготовленный контрреволюционерами мятеж. Взбунтовались два полка и команда бронепоезда. Мятежники расстреляли своих командиров и члена

Реввоенсовета Линдова. Верные революции красноармейцы выступили против мятежников и заставили их сложить оружие.

В Самаре, в армейском штабе, новому командарму туманно доложили о скверном положении в отдельных бригадах и полках армии. Фрунзе слушал, сдвинув брови, постукивая пальцами по столу.

— Я завтра выезжаю в Уральск, — сказал он.

— Но это опасно! Вспомните Линдова, — остерег начальник штаба.

— Стыдитесь говорить такое, — строго сказал Фрунзе.

Из штаба он отправился к председателю Самарского губисполкома. Его встретил молодой высокий человек с гривой каштановых волос и голубыми весенними глазами. Все было в нем красиво, крупно.

— О вашем приезде меня предупредил по прямому проводу Свердлов, так что давайте знакомиться. Я Валерьян Куйбышев, — представился молодой человек.

Они долго обсуждали положение фронта и тыла, и, чем больше проявлялось единство их взглядов, тем сильнее они симпатизировали друг другу.

— Нашей армии нужна прокаленная революционной сознательностью дисциплина. Она же зависит от командиров, но своих у нас пока мало, — сокрушался Куйбышев.

— Среди военных специалистов в Четвертой армии есть честные офицеры, но есть и агенты атамана Дутова, и шпионы адмирала Колчака. К слову сказать, новоявленный «верховный правитель» России не чета степному атаману Дутову. Он умный и опытный противник, бывалый моряк. Не зря же в сорок лет командовал Черноморским флотом. Бывшие русские союзники возлагают на него большие надежды. Танками, самолетами, бронепоездами, даже своими солдатами снабдили адмирала американцы, англичане и французы. Он готовится к наступлению, и нам придется нелегко, — говорил Фрунзе, глядя на председателя губисполкома.

— Я согласен. Колчак — серьезный противник. К сожалению, мы плохо знаем своих врагов, а ведь истина гласит: если хочешь одолеть врага, познай его, как себя, — ответил Куйбышев.

— Еду в Уральск. Хочу на месте устранить все, что привело армию в такое плачевное положение. Правда, не все уж так безнадежно в Четвертой армии, — продолжал Фрунзе. — Если армия освободила Уральск, то, значит, дух революции и воля к победе живут в ее командирах. Мне называли даже имена: комбриг Плясунков, комбриг Кутяков хотя бы.

— В армии было особенно популярно имя Чапаева. Он славился исключительной храбростью.

— Чапаев... Чапаев... — повторил командарм. — Я уже слышал это имя. Только почему вы говорите о нем в прошедшем времени?

— Его направили учиться в военную академию.

— Кто такой этот Чапаев?

— Он пока вроде неизвестной звезды. Человеческие судьбы похожи на звезды: одни вспыхивают и гаснут, другие горят в истории бесконечно. Ну кто предскажет хотя бы нашу судьбу: кем станем завтра?

— Мы работаем для будущего, не думая о собственных судьбах. — Командарм встал.

Куйбышев тоже поднялся; они продолжали разговор уже стоя.

— С нетерпением жду вашего возвращения. Надеюсь на хорошие вести, — сказал, прощаясь, Куйбышев...

Метельным вечером поезд командарма пришел в Уральск. Фрунзе и Новицкий вышли на пустынный перрон; они не предупредили о своем выезде и не ожидали встречи. Уже за полночь добрались до центра и, утомленные, иззябшие, нашли старинный особняк, в котором помещался штаб 22-й дивизии.

Фрунзе предъявил дежурному мандат, спросил:

— Командир дивизии здесь?

— Он спит. Я разбужу, — засуетился дежурный.

Командир дивизии, заспанный, опухший от попойки, долго не мог сообразить, кто перед ним.

— Застегните брюки и умойтесь, — сухо приказал командарм.
— В полдень назначаю смотр дивизии.

Это был нелепый по своей разболтанности, даже оскорбительный строй.

На базарной площади стояли расхристанные бойцы в шапках, сдвинутых на затылок или нахлобученных по брови, с дымящимися самокрутками в зубах, разговаривающие между собой. Черная брань носилась в снежном воздухе: бойцы как бы подчеркивали пренебрежение не только к командирам, но и к новому командарму. В стороне чадили костры: там пекли картошку, разгребая угли штыками.

Фрунзе переводил сосредоточенный взгляд с бойцов на командиров, на костры. Новицкий с тревогой следил за его темным, угрюмым лицом.

— Командирам после смотра явиться в штаб дивизии, — приказал Фрунзе и, сунув руки в карманы шинели, покинул площадь.

— Это черт знает что такое! — негодовал Новицкий, едва поспевая за командармом.

— Это срам! Это позор! — ответил Фрунзе.

Они поднялись по мраморным ступеням в овальный зал. Дубовые резные двери вели в соседние комнаты. Фрунзе приоткрыл одну из них, остановился на пороге.

Книжные шкафы, забитые старинными фолиантами, диваны, заваленные журналами, альбомами, книги — на подоконниках, на полу — удивили командарма. На стенах висели засиженные мухами портреты Пушкина, Толстого, и почему-то казалось — в неподвижных глазах великих писателей тоже тлеют презрительные усмешки.

— Библиотека хуже свинарника, — заметил Фрунзе.

— А вот я найду коменданта... — начал было Новицкий, но из-за шкафов появился маленький, весь какой-то заплесневелый старичок.

— Я хранитель библиотеки. С кем имею честь разговаривать?

Фрунзе назвал, сказал с неудовольствием:

— Скверно оберегаете народное добро. Сочинения Толстого разбросаны по углам. А это что? — Фрунзе поднял с пола разорванный томик. — «Евгений Онегин», и в каком виде... Стыдно!

— А что я могу поделать, если командиры рвут книги на цгарки? Протестовал — так мне маузером в лицо...

— Это библиотека бывшего генерал-губернатора? — спросил Фрунзе.

— Совершенно верно-с.

— Царский сановник — почитатель Льва Толстого? Странно... У него даже портрет писателя, отлученного от церкви.

— Он был просвещенным человеком и гордился, что в этом особняке-с когда-то останавливались Пушкин и Толстой.

— А ведь верно, Пушкин был в Уральске, когда собирал материалы о пугачевском бунте, — вспомнил Фрунзе.

— Александр Сергеевич жили-с в этом самом особняке-с.

— А граф Толстой?

— Лев Николаевич приезжали на кумыс и тоже жили здесь, — с нескрываемой гордостью ответил библиотекарь. — Во всех городах России нет-с другого такого дома, в котором жили бы и Пушкин, и Толстой, пусть в разные времена. Память об их пребывании нетленна, если хотите, она священна, несмотря ни на что-с. — Изношенное лицо библиотекаря стало значительным.

На заледеневших окнах цвели неземные цветы, белым мохом инея оброс лепной потолок, сыростью несло от книжных шкафов и кожаных диванов. Искалеченная библиотека, ее старинные окна, изразцовый камин с окурками и стреляными гильзами приобрели в глазах Фрунзе особое значение. За много десятилетий до него здесь перелистывал книги Александр Пушкин, в этом кожаном кресле сидел, погружившись в раздумья, Толстой. Их тени передвигались по этим стенам, слышались их голоса.

— Здесь будет наведен образцовый порядок. Никто, слышите, никто не посмеет угрожать вам! — сказал он. — С этой минуты вы

хранитель народного литературного памятника. — Фрунзе осторожно прикрыл дверь и вернулся в овальный зал.

Там уже собрались командиры полков и бригад. Командующий дивизией представил их Фрунзе.

— Все здесь? — спросил командарм.

— Все, кроме комбрига Плясункова...

— А где же он?

— Не пожелал явиться.

— Ну что ж... Так вот, — начал Фрунзе, обводя командиров сумеречными глазами, — я принимаю армию в плачевном состоянии. Никогда, даже в бесславные времена, русские офицеры и солдаты не позволяли себе настолько забыть свое воинское звание, пасть так низко! Больше такого бесстыдства я не потерплю. Время партизанщины кончилось, и командир, который, как железным обручем, не стянет дисциплиной вверенную ему часть, — тот командир будет отвечать по всей строгости военных законов. Объявите мой приказ бойцам! Все. Можно разойтись.

В шесть часов утра (Фрунзе вставал рано) в комнату вошел его адъютант и подал записку.

— От кого? — спросил Фрунзе.

— От комбрига Плясункова. Доставил ординарец.

Фрунзе прочел записку, коряво написанную чернильным карандашом. Комбриг Плясунков требовал, чтобы новый командарм явился в его бригаду для объяснения по поводу несправедливого разноса командиров.

Фрунзе побрился, причесался, пристегнул к поясу кобуру с наганом и спокойно вошел в кабинет начальника дивизии, где уже был и Новицкий.

— Вам знакомо содержание этой записочки? — спросил он, кладя на стол комдива злополучный листок.

— Плясунков еще раз прислал ординарца. Требуется, чтобы вы явились в штаб его бригады, — уклонился от прямого ответа командир дивизии.

— Ну что ж, если требует, придется поехать...

— Позвольте сопровождать вас, товарищ командарм, — сказал командир дивизии. — Там такая атмосфера, там...

— Я поеду один, — нахмурился Фрунзе, отстегивая кобуру. — В случае чего оружие не поможет.

— Но это невозможно! Я знаю Плясункова, он безумец, хотя и храбрец, — запротестовал командир дивизии.

— Безумие усмирят рассудком.

Через полчаса Фрунзе вошел в большую комнату. В табачном дыму было не просто разглядеть командиров. Кто-то повернул фитиль в лампе, и сквозь сизую завесу выступили небритые лица, обветренные скулы, закрученные усы, синие, голубые, серые напряженные глаза. У обеденного стола, опершись на эфес кавалерийской сабли, стоял узкобровый молодой человек: косматая папаха сдвинута на затылок, пепельная прядь прикрывала узкий лоб, желтые скрипучие ремни стягивали грудь.

— Наконец-то он, — в третьем лице сказал о командарме молодой человек.

Фрунзе догадался, что это и есть Плясунков, но обратился ко всем присутствующим:

— Здравствуйте, товарищи! Я получил странную записку с требованием явиться на ваше... — он обвел взглядом присутствующих, — еще более странное собрание...

— Это моя записка, — перебил Плясунков. — Мы требуем объяснения по поводу нетактичного разговора с полковыми и бригадными командирами. Мы не привыкли, чтобы нам указывали, как вести себя на всяких смотрах и парадах. Мы...

— Что ж вы замолчали? Продолжайте, — попросил Фрунзе и, пододвинув табурет, присел к столу.

Плясунков резким движением обнажил наполовину саблю, но тут же загнал ее в ножны и прижал к столешнице левую ладонь с золотым кольцом на безымянном пальце. Командиры почтительно глазели на своего жоака, но, когда их взгляды ощупывали командарма, выражение какой-то неуверенности скользило по хмурым лицам. Фрунзе почувствовал эту неуверенность, но не подал вида.

— Продолжайте же, — повторил он настойчиво, но спокойно.

— Мы здесь все свои. Я знаю его, он — меня, а нас обоих знают все, — обвел Плясунков растопыренными пальцами командиров. — Все свои, сообща дрались с немцами, вместе били белоказаков. И дисциплина у нас своя: воюем по велению сердца и революционной сознательности, а не по приказу неизвестных командиров. Хватит с нас царских генералов, натерпелись, довольно! Когда на нас набрасывают узду старой дисциплины, мы встаем на дыбы, как необъезженные кони. И рвем узду к чертовой матери! А ежели... ежели, — захлебывался повтором одного и того же слова Плясунков, — этого комиссары не хотят понимать, то мы напомним им про участь Линдова...

— Мы им напомним... — проревел нестройный хор голосов.

На стол обрушились кулаки, кто-то выдернул из кобуры наган, кто-то приблизил к Фрунзе озлобленное лицо. Он не пошевелился, не отодвинулся, только глаза его скрестились с чьими-то глазами, искрещаясь синей яростью. Спокойствие командарма отрезвило командиров, угрозы стихли.

И тогда встал Фрунзе. Оперся обеими руками о столешницу, тихо заговорил:

— Я прибыл на ваше удивительное собрание не как командарм. Командарм не может быть на подобном собрании. Не должен! Не имеет права! Если он признает воинскую дисциплину законом не только для бойца и командира, но и для самого себя. Повторяю, я прибыл сюда не как командарм, а как большевик. Вот я перед вами — один, без оружия: свой револьвер оставил на столе командира дивизии. Я не желаю разговаривать со своими товарищами на языке оружия: правдивое слово сильнее призрачного могущества пули. Я хочу сказать только, что время партизанщины в Красной Армии кончилось. Прошли дни, когда по прихоти кого бы то ни было можно было скидывать неугодного командира и назначать своего, пусть безграмотного, пусть бездарного, но своего. Теперь, когда сильные и коварные и знающие военное искусство враги окружают нас со всех сторон, революцию спасет только железная дисципли-

на. Вы гордитесь, что освободили от белоказаков Уральск, — я тоже горжусь. И вашими славными победами, и вами. Но атаман Дутов не разбит, у него десять тысяч сабель, и он сейчас опасен вдвойне, потому что стремится к объединению с полчищами адмирала Колчака. А у Колчака полумиллионная армия, у него неисчерпаемый запас иностранного оружия. Адмирала поддерживают могущественные державы. Так можно ли нам сражаться по принципу: «Хочу — воюю, хочу — отдыхаю. Не признаю ничего, кроме собственного хотения»? Это не просто ошибки необузданных характеров, это путь к предательству. Заблуждение можно простить, предательство карается смертью. Именем партии большевиков, именем революции я заявляю: всякое нарушение воинского долга и дисциплины буду рассматривать как сознательное преступление и карать по законам военного времени!

Командиры слушали не поднимая глаз. Плясунков хмурился, кусая бескровные губы.

— У кого есть вопросы? — спросил Фрунзе, чувствуя, что речь его произвела впечатление.

— А давно ли вы ходите в большевиках? — угрюмо спросил Плясунков. — Сейчас, когда большевики у власти, к ним примазались всякие шкурники и арапы.

— Я большевик с девятьсот четвертого года. А по поводу шкурников и арапов — справедливое замечание. Сейчас и царские чиновники лезут в большевики.

— Настоящие-то революционеры томились на царской каторге, — язвительно продолжал Плясунков. — А вы где отсиживались? Может быть, в кресле царского генерального штаба?

Фрунзе рассмеялся так весело, так беззлобно, что Плясунков и командиры тоже заулыбались.

— Ты прав, Плясунков, — перешел он на «ты». — Ты совершенно прав. Я долго отсиживался под царским крылышком. Спервоначала в тюрьме, дважды приговоренный к смертной казни, потом шесть лет на царской каторге, еще позже — в сибирской ссылке. А оттуда бежал и по заданию партии большевиков на Западном

фронте растолковывал таким же, как ты, солдатам преступный смысл мировой войны. Но об этом как-нибудь в другой раз, когда найдем свободную минутку...

— Н-да... — крикнул Плясунков. — Больше вопросов не имею...

В степи раскачивался сухой ковыль, солнечные искры вспыхивали в заиндевелых лошадиных гривах, и Фрунзе казалось — не только земля, но даже небо одето в цветное сверкание.

Командарм, сопровождаемый Новицким, молоденьким своим адыютантом и небольшой охраной, объезжал передовые позиции.

Белая равнина круто опускалась, и всадники очутились на обрывистом берегу Урала. Под ногами лежала закованная в ледяную броню река — древний Яик, после пугачевского бунта переименованный Екатериной Второй в Урал. За рекой в легкой дымке таяла все та же Киргизская степь; где-то за горизонтом она упиралась в Каспийское море, в подножия Небесных гор, в скалистые громады Семиреченского Алатау. Степь была такой бесконечной, что можно было скакать по ней во весь дух и месяц, и два, и три без особой надежды достичь желанных пределов.

Надвинув на уши папаху, наклонившись вперед, командарм вглядывался в заречные дали. На том берегу мельтешил конный разъезд белоказаков. Из степной глубины доносились глухие удары оружейных выстрелов.

Легким перебором поводыев Фрунзе послал вперед своего дончача, спустился на лед Урала. За ним последовали остальные. Казаки открыли стрельбу, пули свистели над головами всадников.

— Скверно стреляют. — Фрунзе вскинул винтовку и выстрелил.

Передний всадник взмахнул руками, упал головой на шею лошади. После меткого выстрела командарма казачий разъезд умчался в степь.

Гул невидимого боя стремительно приближался. Фрунзе поднял бинокль: справа проступила колокольня сельской церкви, при-

вольно разбросанные строения станицы. Орудийные вспышки кроваво освещали церковные стены.

В церковной ограде, замаскированное снежными глыбами, стояло трехдюймовое орудие; около бегал Плясунков и матерился, артиллеристы суетились, но не стреляли.

Фрунзе спрыгнул с дончака, быстрым шагом направился к Плясункову. Серdito спросил:

— Почему молчит орудие?

— Снарядов нет, товарищ командарм, а белоказаки жмут. Жду их атаки, хочу встретить шрапнелью, — Плясунков смотрел на командарма с бесшабашным видом удальца, готового кинуться навстречу опасности.

— Послать за снарядами в город. Немедленно! Сию минуту! — крикнул Фрунзе адъютанту. — Это я вам приказываю. Сейчас мне нужен не адъютант, а боец...

Адъютант ударил нагайкой коня и помчался в Уральск.

— Я выбил противника из станицы еще пару часов назад, но вот удержу ли ее? — Плясунков вытер рукавом полушубка задымленное лицо.

— Занять круговую оборону, подпустить казаков на близкое расстояние, — приказал Фрунзе.

— Отобьемся, отобьемся, — вдруг уверенно произнес Плясунков. — Снег-то глубокий, да и пурга начинается. Казаки увязнут в сугробах...

Завихряющиеся снежные полосы заволакивали степь. Орудийный обстрел прекратился, и теперь только

повизгивал ветер да тревожно позванивали церковные колокола.

Из белесой полумглы показались казаки, но не той сплошной конной лавой, что часто приводит в трепет пехотинцев. Всадники надвигались отдельными группами, лошади вязли в сугробах.

Плясунков, отодвинув плечом наводчика, присел к трехдюймовому орудю.

— Бить шрапнелью по центру! — скомандовал Фрунзе.

Пурга заглушила и визг шрапнели, и крики раненых, и отчаянное лошадиное ржание. После пятого выстрела казаки повернули коней и скрылись в метели.

— Не мы победили — буран одолел, — сокрушенно вздохнул Плясунков.

— Бойцам объявить благодарность за стойкость! Не дрогнули, не покинули окопов — в этом начало победы над партизанщиной, Плясунков, — сказал командарм.

Штаб бригады находился в церкви. Фрунзе, Плясунков, Новицкий вошли под знобящие своды, присели к длинному, наспех сколоченному столу.

— Мне, товарищ командарм, стыдно вспоминать про свою записку и про то самое собрание. Надеюсь заслужить ваше уважение, — неприятным для себя, каким-то просящим голосом проворкотал Плясунков.

— Уважают только тех, кто уважает самого себя. Не будем предаваться неприятным воспоминаниям, лучше посоветуей, кого из бойцов можно выдвинуть в командиры рот.

— С ходу не отвечу. Безграмотные у меня люди: приказ исполнят, сами приказывать не умеют.

— Будем учить...

— Какое тут учение, когда протяни ладонь — на врага напорешься, — Плясунков развел руками. — Был у меня дружок, вместе казаков по скулам хлестали. Отчаянной храбрости мужик, и хотя малограмотен, а командовал не хуже генерала. Мужик-вихрь, мужик-дьявол, — правда, большой своевольник, но бойцы души в нем не чаяли. До сей поры вспоминают...

— Где же твой мужик-дьявол? — спросил Фрунзе.

— В Москву учиться угнали, и пропал там, как ребенок в буране. А бойцы все сокрушаются: вот кабы был с нами Чапай...

В третий раз услышал командарм странную эту фамилию.

— Можно подумать, на вашем Чапае свет клином сошелся. Разве плохо, что уехал человек в военную академию? Подготовь

мне список самых сметливых, с командирской жилкой, красноармейцев, — приказал Фрунзе.

Пурга утихла. Фрунзе и Новицкий возвращались в Уральск при слабом мерцании звезд. Дорогу перемело; леденящая тишина удерживала от разговора.

Фрунзе, покачиваясь в седле, погрузился в раздумья, и было над чем призадуматься: 4-я армия, предназначенная для действий на туркестанском направлении, раскидана больше чем на триста верст. Против нее действовали оренбургские и уральские казаки под командой свирепого атамана Дутова. Разбитый дважды атаман оставил Уральск и Оренбург, но вихрем перемещался по степям. Может быть, удалось бы окончательно и быстро разбить Дутова, но с востока движутся армии адмирала Колчака. По последним сведениям, колчаковский генерал Пепеляев захватил Пермь, армии Каппеля и Ханжина вышли из южных предгорий Урала на уфимскую равнину.

«А у меня армия, сколоченная наспех из партизанских и красногвардейских отрядов. Не хватает того, не хватает этого, командный состав засорен всякой сволочью. Разве не они убили Линдова и армейских комиссаров, взбунтовали красноармейцев и бежали в стан противника... Измена не умеет спокойно ходить, она всегда бегают», — размышлял Фрунзе.

Они снова выехали на торосистые, уже заметенные снегом льды Урала. Фрунзе попридержал дончака, поджидая Новицкого. Тот остановился конь о конь, повернул к командарму заиндевелое лицо.

— Когда-то я говорил вам, Михаил Васильевич, что армия без дисциплины — тело без позвоночника. И теперь думаю так же, но мы для того здесь, чтобы воскресить дисциплину...

— Не только для воскрешения дисциплины. Мы должны создать образцовую армию. — Командарм, прищпорив коня, выехал на обрывистый берег реки.

Фрунзе вернулся в Самару. В штабе армии ему передали пакет с бумагами погибшего Линдова. Он прочитал неоконченные приказы, воззвания, красноармейские просьбы с чувством сожаления, что не знал этого преданного революции человека.

Документы из пакета Линдова уже имели только исторический интерес, и Фрунзе хотел передать их в архив. Оставался один непрочитанный листок — чье-то заявление на имя Линдова.

Фрунзе прочитал заявление, подписанное знакомой ему фамилией.

— Странно, опять он! Судьба словно толкает меня навстречу ему. — Фрунзе спрятал заявление в карман гимнастерки и отправился к Куйбышеву.

Председатель губисполкома обрадовался приходу командарма — Фрунзе почувствовал это по веселому блеску в его глазах. Он рассказал о своем столкновении с командирами, но закончил словами:

— Необходимы решительные перемены в командном составе. Кстати, я просматривал пакет с бумагами покойного Линдова и нашел в нем вот это заявление. — Фрунзе вынул бумажный клочок: «Прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4-й армии на какую-нибудь должность командиром или комиссаром в любой полк... Прошу еще покорно не морить меня в такой неволе... Так будьте любезны, выведите меня из этих каменных стен. Чапаев». — Что вам видится в этом письме?

— Прежде всего вижу характер. Чапаев, бывший командир Николаевской дивизии, согласен стать командиром полка, лишь бы вернуться на фронт.

— Я думаю отозвать Чапаева из военной академии.

— Вырвать «из каменных стен»? — улыбнулся Куйбышев. — А все-таки Чапаев не прав: красному командиру надо быть знатком своего дела. Как-никак, а его послали учиться.

— Когда враг у ворот республики, ее солдаты откладывают в сторону книги и берутся за оружие. Среди прибывших к нам иваново-вознесенских добровольцев есть умные и смелые люди:

Дмитрий Фурманов, Иосиф Гамбург, Павел Батулин — всех сразу не вспомнишь. Их нужно выдвигать командирами и комиссарами и полков и дивизий, но вот кто может заменить Линдова? Кого рекомендовать в члены Реввоенсовета армии — не знаете, Валериан Владимирович?

— Давайте перейдем на «ты», это избавит нас от величания, — предложил Куйбышев. — Я не знаю такого кандидата.

— А я знаю.

— Кто же он?

— Ты, Валериан.

— Я сугубо партикулярный человек.

— А я в военной науке знаю только то, что ничего не знаю. Приходилось, правда, почитать историю войн в ссылке, вот и все познания.

— И я Клаузевица штудировал, да и то потому, что подарил книжку какой-то ссылкой.

— Где отбояривал ссылку?

— В поселении Качуг, на верхней Лене.

— А я в Манзурке. Жили почти соседями в тайге, а встретились в Самаре. Неисповедимы пути человеческие. Наши воспоминания уже тем хороши, что их нельзя заново пережить, но когда вспоминаешь, симпатичными кажутся даже недруги. Иногда я с удовольствием вспоминаю споры с эсерами и анархистами, в Манзурке их было предостаточно.

Куйбышев слушал, наклонив набок голову, опершись на руку щекой, в волевом лице его было сосредоточенное внимание. Когда командарм замолк, он сказал:

— А все-таки поразительное дело политика! Она, как сказочное зеркало, отражает все невидимое глазу — идеи, страсти, мораль. Характер, как известно, проявляется не в словах, а в поступках. Когда эсеры спорили с нами о путях революции, мы думали об их идейных шатаниях или политических заблуждениях. Но когда они начали бороться с нами, поступки прояснили их мелкобуржуазный характер.

— Эсеры любят носить маску друзей народа. Авантюризм в политике, авантюризм в жизни характерен для эсеров, анархистов, максималистов и прочих архиреволюционеров. Они просто не в состоянии признать ни своих ошибок, ни своих заблуждений, а это признак воинственного невежества. Печальна судьба партий, сходящих с политической сцены, — сказал Фрунзе таким топом, словно зачеркивал мертвую, уже ненужную тему. Помолчал и вернулся к самому главному, что тревожило его в эти дни: — Любая армия побеждает не в обороне, а в наступлении. Только решительным наступлением мы сможем сперва остановить противника, потом разгромить его. Мысль о наступлении не дает мне покоя, но для него требуются свежие пополнения, нужна политическая и воспитательная работа среди красноармейцев. Ради идеи сражаются насмерть, но идея должна быть близкой и понятной каждому сердцу. Все кажется просто и ясно, но какие дьявольские усилия нужны для претворения идеи в реальность!..

В приемную командарма вошел невысокий худощавый человек в добротной шинели, в мерлушковой папаше с золотым позументом. Шашка, украшенная серебряными бляхами, и маузер подчеркивали щегольскую одежду вошедшего.

Адъютант испытующе посмотрел на него, стараясь определить, что это за фрукт. «Ишь ты, прямо-таки фронт! Усики воинственно закручены, но в глазах неуверенность и нет той развязности, что присуща военным щеголям».

— Вы к кому? — спросил он как можно суше, ожидая напористого ответа.

— К командарму на прием, — неожиданно слабым голосом сказал вошедший.

— Командарм занят.

— Я, видите ли, из Москвы, прямо с вокзала поспешил в штаб армии.

Адъютант колебался, но просящий тон, смиренный вид посетителя расположили его.

— Проходите, да только не задерживайте командарма.

Фрунзе и Новицкий, составлявшие оперативный план, подняли головы.

Посетитель остановился у порога, вытянулся, приложил руку к папахе. Отрапортовал:

— Бывший командир дивизии Василий Чапаев...

Фрунзе и Новицкий переглянулись: ни тот, ни другой не ожидали такого скорого появления «мужика-дьявола», о котором в армии бродят всякие рассказы. «Для дьявола слишком застенчивый, даже робкий, да и ростом неказист», — подумал Новицкий.

— Рад познакомиться! Присаживайтесь, — сказал Фрунзе, протягивая руку. — Вы из Москвы?

— Прямо из военной академии.

— Прибыли по моему вызову?

— Никак нет. Бежал...

— Бежал из военной академии? — Фрунзе сдвинул брови. «Еще один своевольный молодчик, несмотря на застенчивый вид». — Объясните причины бегства...

— Невмоготу мне учение, товарищ командарм. Здесь друзья грудью революцию защищают, а я за партой, как мальчишка, историю войн да фортификацию с военной топографией изучаю. Учил, учил, плюнул и бежал.

— Вы командовали Николаевской дивизией?

— Так точно, командовал, — оживился Чапаев.

— Командир — не только дивизии, но и полка — обязан знать военную топографию, не говоря уже о тактике и стратегии. А по вашему как?

— Умом согласен, сердцем возражаю. На кой черт топография, если Колчак раздавит республику?

Фрунзе захватил рукой подбородок, оперся локтем о стол. Новицкий, избегая смеющегося его взгляда, перелистывал бумаги.

— В ваших рассуждениях есть резон, но если каждый командир будет бегать, когда и куда ему вздумается, то за такое... — Фрунзе вдруг изменил свою мысль и закончил фразу не так, как

хотелось: — У военного должно быть чувство дисциплины развито так же, как зрение и слух. Почему не подождали вызова?

— Я ничего про вызов не знал. — Чапаев выпрямился, бесшумно отодвигая назад шашку.

— Хорошо, я подумаю о вашем назначении.

Чапаев снова отдал честь и покинул кабинет.

— Каков, а? С виду орел, а в разговоре тих и скромн. Я ожидал встретить нахального молодца, судя по рассказам о нем, и даже немножко разочарован, — сказал Фрунзе.

— В тихом омуте черти водятся. А мне он понравился. Сказал прямо: бежал из академии на фронт. И баста! Другие с фронта в академию правдами-неправдами рвутся, а этот... Нет, он мне определенно нравится, — весело отозвался Новицкий.

— Да и мне тоже. Отбросим рассказы о нем и станем проверять на деле. Дело, одно дело определит, кто такой Чапаев. Мало даже самого страстного желания сражаться за революцию, надо поступками доказать свою преданность ей, — заключил Фрунзе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

До того, как объявить себя верховным правителем России, Александр Колчак прожил бурную жизнь.

Сын русского дворянина, он окончил морской корпус и мечтал о полярных путешествиях. Ему повезло. Знаменитый исследователь Арктики барон Толль в девятисотом году организовал экспедицию на поиски загадочной земли Санникова, и лейтенант Колчак участвовал в ней.

Началась мировая война. Колчака назначили командиром крейсера, он дрался с немцами в Балтийском море. За личную отвагу царь наградил его золотым кортиком. В разгар войны Колчак стал командующим Черноморским военным флотом, имя его приобрело популярность в военных кругах, о нем охотно писали газеты, прославляя его храбрость и морской опыт.

Колчак был монархистом, хотя и осуждал в кругу друзей Николая Второго. Правда, это осуждение не помешало ему возражать против отречения царя от престола.

Февральскую революцию Колчак встретил в предчувствии катастрофы. Он не допускал создания матросских комитетов на судах Черноморского флота, преследовал большевиков, презирал демократов. Типичнейший завоеватель, он называл себя то конкистадором, то кондотьером и с гордостью говорил: «Абсолютная власть всегда будет принадлежать одному, если этот один — сверхчеловек».

Когда революционные матросы разоружили офицеров Черноморского флота, Колчак сломал свой золотой кортик, швырнул в воду и отказался от командования. Он приехал в Петроград и сразу стал кумиром не только аристократов, но и буржуазии.

Монархисты из петроградской знати, офицеры гвардейских полков уговаривали его свергнуть Временное правительство и объявить себя диктатором. Колчак молчал, и молчание его расценивалось как согласие.

Керенский, боясь популярного и опасного соперника, настоял, чтобы Колчак поехал во главе секретной миссии в Великобританию и Америку. Нашел и благовидный предлог — закупку военных кораблей и оружия.

Колчак отправился в Лондон. Его принимали военный и морской министр Уинстон Черчилль и первый лорд адмиралтейства Джеллико; ему показывали новые военные корабли и подводные лодки, в честь его устраивали приемы, о нем восторженно писали газеты.

С таким же почетом встретили Колчака и в Соединенных Штатах Америки. Беседы с президентом и министрами, хор дружных похвал действовали на властолюбивого вице-адмирала, он рос в собственных глазах. Во время этого заморского путешествия Колчак вел дневник.

Колчак понимал, что за всей почтительной лестью английских и американских владык скрывается желание купить его — пока что

на всякий случай, для будущего. И он признается в одном из писем к своей возлюбленной: «Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру, предложившему чужой стране свой военный опыт и знания и в случае необходимости голову и жизнь в придачу».

Какой же стране Колчак думает продать свой ум, военные знания и жизнь? Американцев он не уважает — лавочники, японцев ненавидит — сидел в плену, зато англичан считает рыцарями белой расы, великими мореплавателями, принесшими во все концы света европейскую цивилизацию. По его мнению, они и мыслят-то «веками да материками».

После казни Николая Второго Колчак мечтает создать в России «империю воинствующего разума». Дружба с Англией, надежда на Англию, любая помощь от Англии, а потому служить его величеству английскому королю стало его потребностью. «Пусть правительство короля смотрит на меня как на солдата, которого пошлет туда, куда считает необходимым. Война прекрасна; хотя она связана со многими отрицательными явлениями, но она везде и всегда хороша», — пишет он.

В России уже три месяца стояли у власти большевики, и Колчак объявил себя их смертельным врагом. Пока же он в Йокогаме ожидает решения английского короля.

Колчака назначили командующим Месопотамским фронтом, он отправился в Сингапур, но там его ждала зашифрованная телеграмма. «Я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении. Английское правительство нашло, что меня необходимо использовать в Сибири, в войне союзников», — сообщил он в очередном письме.

А война в Сибири «союзников России» — это война с большевиками.

Колчак выехал в Харбин, оттуда во Владивосток. Там его встретил отряд британских стрелков. Специальным поездом прибыл он в Омск и был немедленно назначен военным министром Директории — эсеровского правительства, возникшего после мятежа чехословацких военнопленных.

Новый военный министр начал энергично готовиться к войне с большевиками. Война против собственного народа стала символом его веры. «Война признает только успех, счастье, удачу. Неважно, что она сеет смерть и несет разрушение», — записал он в дневнике.

Четырнадцатого ноября восемнадцатого года Колчак сверг Директорию и объявил себя «верховным правителем» России. Созданное им правительство подобострастно возвело его в ранг адмирала.

Колчаку достался и неожиданный трофей — весь золотой запас России: восемьдесят тысяч пудов золота, платины, драгоценностей из царских сокровищ, перевезенных эсерами из Казани в Омск.

— Человека, обладающего таким немислимым количеством золота, невозможно победить, — говорили адмиралу Альфред Нокс и Морис Жанен при осмотре сокровищ.

Нокс и Жанен — не случайные люди в адмиральской столице. Французский генерал Жанен командует всеми иностранными войсками в Сибири, он же и заместитель Колчака; английский генерал Нокс занимается снабжением всех его армий и кроме того доверенный советник. Союзные державы шлют «верховному правителю» винтовки, танки, бронепоезда, самолеты. Он ни в чем не знает отказа, — правда, и платит за все русским золотом.

В кратчайший срок в Сибири сформирована полумиллионная армия, отлично вооруженная, хорошо экипированная; опытные военачальники обучали солдат, молодые генералы Каппель, Пепеляев, Ханжин рвались в бой с большевиками.

По генеральному плану, разработанному ставкой «верховного правителя», наступление на Москву предполагалось вести в северном и южном направлениях. На севере, в районе Вятки, войска должны соединиться с английскими интервентами и отрядами белой гвардии, на юге, в Саратове, — с армией Деникина.

Для утверждения этого плана Колчак собрал на военный совет своих генералов и военных советников.

Совет проходил в Челябинске в метельные февральские дни, когда армии Ханжина, Белова, Каппеля, Дутова уже приготовились к наступлению на Уфу.

Белоколонный зал в доме челябинского золотопромышленника никогда еще не видел такого множества высокопоставленных гостей. Генералы, министры, уральские богачи, сибирские промышленные тузы, степные князьки, казачьи атаманы толпились в зале.

Тут были и эсеры, перешедшие на службу к новоявленному диктатору, и кадеты вкупе с сибирскими либералами, и анархисты, кидающиеся в любую кровавую авантюру.

Среди гостей находился и гвардейский капитан Лаврентий Андерс. Любовь к опасным приключениям и темные страсти — неизменные спутники всех смутных времен — гнали капитана из города в город, от одной авантюры к другой.

Андерс, отпущенный Вятской губчека под честное слово, переметнулся в Самару и поступил на службу к эсеровскому правительству Комуча.

Под ударами 1-й Революционной армии самарские деятели Комуча бежали в Уфу, Андерс — в Оренбург, под охранительное крыло атамана Дутова.

Он пришелся по душе атаману; Дутов ценил людей, готовых исполнять любое поручение, и взял Андерса в адъютанты.

Приглашенный на военный совет в Челябинск, Дутов прихватил с собой и Андерса.

Собравшиеся нетерпеливо ожидали, когда «верховный правитель» окончит военный совет; уфимские скототорговцы, самарские пароходчики, симбирские помещики мечтали о скором возвращении в родные гнезда.

Из кабинета, в котором заседал военный совет, вышел атаман Дутов, гости ожидающе повернулись к нему,

Кто-то обратился с вопросом:

— Какими новостями порадуете нас, господин атаман?

— Наберитесь терпения, господа, а военные новости пока секрет и тайна, — отрывисто сказал Дутов и поманил пальцем Андерса. — Пойдемте со мной, капитан.

Колчак, его советники и генералы сосредоточенно слушали начальника главного штаба Дмитрия Лебедева, и никто не оглянулся на Андерса. Он присел на стул в уголке и стал исподтишка рассматривать присутствующих.

Колчак, в кителе защитного цвета, замкнуто и отчужденно глядел на всех. Генерал Нокс сидел прямо и неподвижно, его соперник генерал Жанен что-то писал в блокноте. За столом в напряженных позах замерли командующий Западной армией Ханжин, командующий Сибирской армией Рудольф Гайда, командир резервного корпуса Владимир Каппель. У окна стоял, чуть-чуть покачиваясь на кривых ногах, Дутов.

Все, о чем докладывал начальник штаба, было хорошо известно Колчаку и его генералам, но они считали этот совет событием особого значения и своим вниманием подчеркивали его историчность.

Генерал Дмитрий Лебедев был однокашником Андерса по петербургской гимназии. Андерс искренне удивился, когда увидел, что школьный приятель стал начальником главного штаба «верховного правителя России». «Чем Митька очаровал Колчака? Как он, бретер, бабник, картежник, в свои двадцать шесть лет мог сделать такую карьеру? Колчак произвел его в генералы, доверил ему судьбы всех своих армий. Это Митьке-то, с интеллектом сладострастного павиана...» — зло думал Андерс.

— Итак, планы общего наступления больше не вызывают особых возражений, — бледным голосом говорил Лебедев. — Все споры о том, какое направление — северное или южное — важнее, теперь позади. Северное направление — на Вятку и Вологду — остается главным, оно дает возможность соединиться с войсками англичан и нашими отрядами, наступающими из Архангельска, и вместе с ними овладеть Москвой. С этой целью Сибирская армия генерала Гайды разбивает Вторую и Третью армии красных и выходит на линию Вятка — Сарапул — Казань. Одновременно За-

падная армия генерала Ханлейна громит Пятую армию красных и овладевает районом Бирск — Белебей — Уфа. — Лебедев метнул быстрый взгляд на Колчака, словно желая подчеркнуть какую-то всем понятную, но не высказанную вслух мысль. — Южная группа генерала Белова мощными ударами по тылам Первой армии красных помогает Оренбургской армии атамана Дутова овладеть Оренбургом и Уральском. Эта операция изолирует от большевиков Туркестан и Астрахань и позволит соединиться с Деникиным в районе Саратова. Мы установим прямую связь Востока с Югом. В резерве верховного командования остается корпус генерала Каппеля, готовый в любую минуту прийти на помощь Западной армии. В заключение скажу: красными войсками командуют неопытные, не знающие военного дела люди. Всякие там Фрунзе — рабочие лошадки, на которых почему-то делают ставку большевики. Тем хуже для большевиков, — с апломбом закончил Лебедев.

— Не годится судить о врагах с пренебрежением, — недовольно сказал Колчак. — Неизвестный противник всегда опасная величина в силу своей неизвестности. — Он поднялся с места и, упираясь кулаками в стол и нависая над ним, на мгновение задумался. Рой противоречивых мыслей пронесся в его голове, и одна исключала другую, и то, что казалось важным вчера, уступало место еще более важному сегодня.

Северное и южное направления! За них шла яростная, хотя и тайная, политическая борьба союзников. Генерал Нокс настаивал на северном направлении, потому что англичане не смогли достичь серьезных успехов в боях с 6-й армией красных. Объединение с колчаковцами улучшило бы их положение и еще сильнее укрепило бы влияние Англии на «верховного правителя».

Сам адмирал, обязанный своим возвышением Англии, был сторонником северного направления.

Южное направление упорно отстаивал генерал Жанен, ревностно защищавший интересы французских империалистов на юге России.

Жанена поддерживал генерал Ханжин и атаман Дутов, и этого же требовал в своих посланиях Деникин, но загребать жар чужими руками — такого удовольствия не доставит Деникину «верховный правитель»! Однако события оказываются иногда сильнее человеческих страстей и целей. Революция не топталась на месте, большевики создавали новые армии, их продвижение в оренбургские и уфимские степи становилось все грознее, и адмиралу волей-неволей приходилось считаться со сторонниками южного варианта.

Все эти соображения промелькнули в уме Колчака.

— Северный вариант остается для нас главным. Кто первым войдет в Москву, тот будет господином положения. И я повелеваю, — голос Колчака зазвенел металлом, слово «повелеваю» прозвучало и грозно, и властно, и по-царски значительно, — четвертого марта начать общее наступление против красных...

Военный совет кончился. Все, кроме Колчака, Лебедева и Дутова, вышли из кабинета. Надменное выражение исчезло с лица Лебедева, он весело протянул руку Андерсу.

— Здравствуй, Лаврентий! Сердечно рад видеть тебя. Ваше превосходительство, разрешите представить моего доброго товарища из Петербурга...

Колчак коротко, но энергично пожал ладонь Андерса, пригласил сесть.

— Наслышан о вас, господин капитан. Александр Ильич и Дмитрий Алексеевич дали вам лестные характеристики. — Колчак покосился на Дутова, на Лебедева. — Белое движение нуждается в опытных командирах и преданных патриотах. — Колчак улыбнулся, словно вызывая на ответную улыбку Андерса.

— Россия ждет от нас активной любви и спасительной помощи, — почтительно ответил Андерс. — Считаю за честь исполнять приказы вашего превосходительства и готов сложить голову за наше святое дело.

— Мы не требуем головы, нам нужны ваш ум и смелость, — строго сдвинул брови Колчак. — Вот в чем дело, капитан, — уже

доверительно продолжал он. — Южному участку фронта по линии Оренбург — Уральск угрожает Четвертая армия красных. Нам пришлось временно оставить эти города и отступить на восток, но оттуда, из Актюбинска, пробиваются туркестанские отряды большевиков. Цель их — соединиться с Четвертой армией, наша цель — не допустить этого соединения. Мы решили создать особый кавалерийский отряд, оседлать Туркестанскую железную дорогу и не пропустить красных к Оренбургу и Уральску. Александр Ильич и Дмитрий Алексеевич рекомендуют вас на пост командира этого отряда. А как вы?

— Настоящий солдат бьет оттуда, куда его ставят, ваше превосходительство! — воскликнул Андерс.

— Прекрасно. Генерал, — повернулся Колчак к Лебедеву. — Заготовьте приказ о присвоении капитану Андерсу звания полковника.

В вагоне-ресторане своего поезда генерал Жанен устроил завтрак в честь Дутова и полковника Андерса.

Морис Жанен, сын военного врача французской армии, начал свою карьеру в штабе Генерала Жоффра, весной шестнадцатого года прибыл в Россию военным атташе при Ставке Николая Второго. Жанен великолепно говорил по-русски, недурно знал русскую историю, особенно покорение Сибири со времён Ермака и Ерофея Хабарова. Ему принадлежала крылатая фраза: «Русские колонизаторы покоряли Сибирь триста лет, европейские цивилизаторы покорят ее в тридцать дней».

Жанен приехал в Омск как главнокомандующий войск союзных государств, но Колчак отверг его притязания на главенствующую роль. Жанен был уязвлен пренебрежением адмирала к его южному варианту наступления.

За завтраком со своими друзьями Жанену хотелось отвести душу. Держа в руке бокал с шампанским и следя за искристыми вспышками пены, он небрежно, но обиженно говорил:

— После военного совета я сказал адмиралу, что напрасно он предпочел северный вариант южному. Англичане оставят его при первых же военных неудачах, тогда как мы, французы... Словом, наговорил кучу неприятностей. Адмирал разволновался до того, что стал кромсать ножиком ручки своего кресла. А когда напомнил, что именно я, а не генерал Нокс главнокомандующий союзных войск, он взбеленился. Ответил, что русская армия не потерпит, чтобы он отдал ее в руки союзников. Он нуждается только в амуниции, и если союзники в ней откажут, то пусть оставят его в покое. Он возьмет все необходимое у красных и так далее и тому подобное...

— Пока у адмирала есть амбиция, да не хватает амуниции, — встряхнул жирными, стриженными под гребенку волосами Дутов.

Жанен, отхлебнув глоток шампанского, продолжал меланхолически:

— А ведь адмирал знает, что я оказал вашей стране больше услуг, чем многие русские патриоты, но русские плохо относятся к чужеземцам. Барклай де Толли победил Наполеона, а славу его присвоили русские полководцы. Так и я, несмотря на все услуги России, останусь нежеланным гостем...

Жанен подозвал своего адъютанта:

— Последи, чтобы никто из посторонних не заглядывал сюда. Ненавижу домашних шпионов.

— Не могу согласиться с вашим превосходительством. Вы не гость, вы друг белого движения. Многострадальная Россия никогда не забудет благородной и бескорыстной помощи французов, вашей особенно, — патетически сказал Лебедев.

— На военном совете вы, генерал, ратовали за северный вариант наступления. Поддерживали англичан, а не французов, позабыв об интересах генерала Деникина, который послал вас своим представителем к адмиралу, — язвительно ответил Жанен. — Чем объяснить вашу двойственность?

— Политической необходимостью и ничем более. Как начальник главного штаба при «верховном» я не могу не считаться с его желанием. Но адмирал — военный, а не политик, вернее, адмирал — слабый политик. Настоящий политик должен иметь чувство дальнего прицела и чувство сегодняшней реальности. Сиюминутная реальность — это северный вариант наступления. Там мы уже взяли Пермь, отбросили красных за Каму, а здесь пока только собираемся нанести удар по Уфе. Вот в чем разница, ваше превосходительство, и вы понимаете ее лучше меня, — отпарировал Лебедев категорическим и снисходительным тоном одновременно.

— Погоним красных из Уфы, из Оренбурга, тогда адмирал сразу повернется задом к англичанам, — заговорил Дутов. — А дело клонится к тому, что погоним, хотя я и не согласен, что все красные командиры — невежды и бездарности. — Не согласен, решительно не согласен! А командарм Тухачевский? Он взял Симбирск и Самару.

— Поручик Тухачевский — изменник и предатель, — вступил в разговор Андерс. — Русская армия погибает от ее собственных офицеров. Больше, чем немцы, больше, чем комиссары, ответят перед русской историей все эти господа, предавшие и наши общие интересы, и честь своего мундира. Я веду список всех изменников, в него уже внесен десяток генералов. Генеральный штаб не с нами, мозг русской армии — в союзе с большевиками. Что вы на это скажете, господа?

— Совершенно необходимый список! По нему станем вешать изменников генералов, — весело сказал Дутов. — Перед виселицей воздадим им почести за старые заслуги, чтобы глубже почувствовали позор своего падения. По-моему, казнь тоже требует особого щегольства. Месяц назад машинист моего поезда умышленно заморозил паровоз. Я приказал догола раздеть его и привязать к паровозной трубе; он замерзал медленно, всю ночь. Что ни говори, а человеческое тело сильнее железа. — Дутов откусил кончик сигары, закурил, с наслаждением затянулся.

Все смущенно молчали, каждому не понравилась откровенность атамана. Андерс с досадой посмотрел на лицо Дутова, — одутловатое, исчерченное красными прожилками, оно казалось особенно неприятным.

Живые, хитрые глаза Дутова перехватили взгляд Андерса.

— Не по душе моя прямота, господа? — спросил он уже без улыбки. — Сомневаетесь, что если я ликвидировал тысячу рабочих, замордовал несколько комиссаров, то этим нанес красным непоправимый урон? Я тоже сомневаюсь в необходимости зверской жестокости. Если без удержу убивать, мучить, грабить население, то красные могут только радоваться таким старательным помощникам. Я за истребление лишь комиссаров да военачальников...

Дутов решительно отодвинул бокал с шампанским, налил в рюмку коньяка:

— Предлагаю тост за нового полковника Лаврентия Андерса, за его беспощадность не только к изменникам генералам, но и к командирам-большевикам! Генерал Лебедев сказал, что многие

красные командиры — темные лошадки. Я знаток лошадей и могу признаться: командарм Фрунзе — очень резвый конь. За какой-нибудь месяц он навел порядок в своей армии ушкуйников, разбойников, анархистов, во главе дивизий поставил смышленных командиров, от обороны перешел к наступлению. Пора укротить этого коня, и я тороплюсь к оренбургским казакам...

В тот же день Дутов и Андерс уезжали в свою армию, сопровождаемые конвоем. Начальником личного конвоя Дутов поставил Казанашвили.

Андерс недавно узнал Казанашвили, но по своей привычке наблюдать исподтишка, по мельчайшим поступкам воссоздавать характеры людей, с которыми его сводила судьба, уже имел представление о начальнике конвоя. Сейчас они ехали в одном купе и, коротая время, болтали о всяких пустяках.

— Я русский аристократ, вы грузинский князь, оба не дураки, обоим судьба предназначила более значительную роль, чем быть адъютантом и телохранителем степного атамана. Кем бы вы хотели стать — не сегодня, так завтра? — спрашивал Андерс.

— Командиром летучего отряда, у меня был такой в Сибири; вспомню про своих молодцов — и молодею. Носились мы по Иркутску — городу золотых миражей — с черным знаменем и наводили свои порядки. Веселое было времечко: полная свобода, делай что хочешь, — беспечно отвечал Казанашвили.

— А какими ветрами занесло к атаману Дутову?

— Сейчас одни ветры над Россией. Ветер красный, ветер белый несут по своему произволу черт знает куда. А я хочу идти против любого ветра.

Андерс слушал и размышлял: «Если бы Дутов попросил дать аттестацию Казанашвили, что бы я написал? Человек порыва и анархист до сердцевины души. Взбалмошный, но решительный человек, пристрастен к спиртному, но не алкоголик, фанатически ненавидит дисциплину, должности начальника конвоя не соответствует, зато идеален для командира карательного отряда. Еще бы

добавил: в каждом человеке он видит врага или соперника. Постоянно находится в злом, подозрительном настроении. Положительно хорош как каратель!»

— Могу сообщить новость: Колчак назначил меня командиром Особого отряда в составе армии Дутова. Пойдемте ко мне начальником штаба? — неожиданно предложил Андерс.

— С удовольствием, душа моя. А как атаман?

— Я договорюсь с Александром Ильичом.

— Тысяча благодарностей сразу! Вы не ошибетесь во мне, господин капитан.

— Со вчерашнего дня я полковник.

— Поздравляю, господин полковник, и радуюсь, и завидую...

— Все чины в ваших руках. За первый же подвиг станете капитаном, даю честное слово дворянина.

— Если приведу на веревке командарма Фрунзе, то будет надежда?

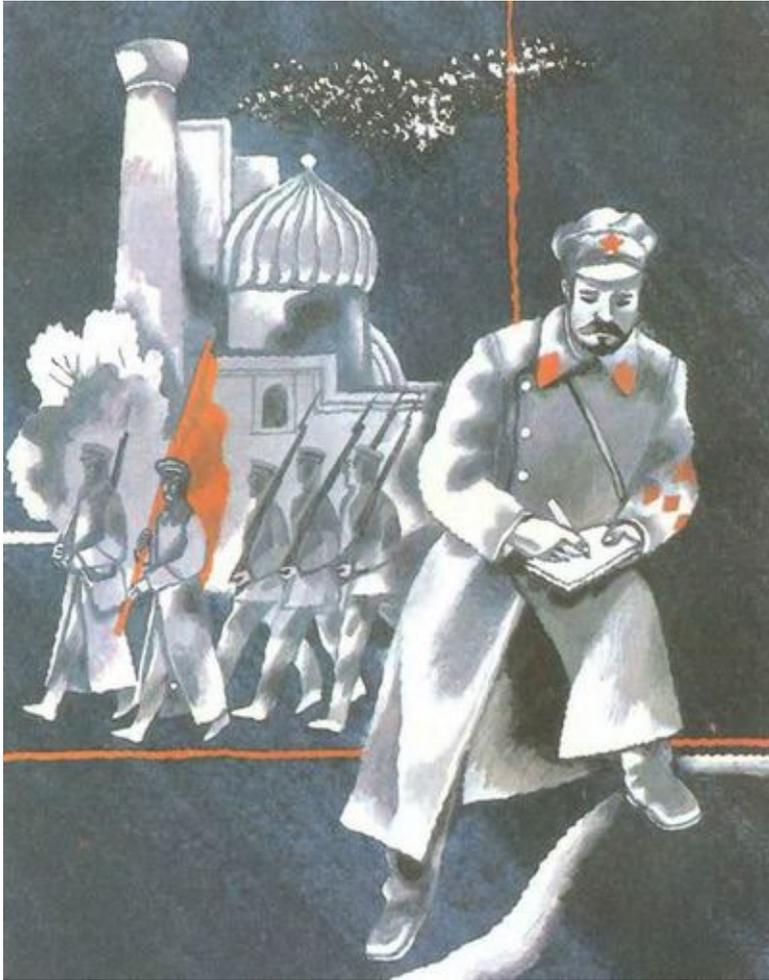
— Тогда сразу в полковники! Только почему Фрунзе? Можно и пониже рангом.

— У меня с ним личные счета.

— Вы его знаете?

— Вместе отбывали ссылку в Сибири.

— Ну что ж, желаю исполнения ваших мечтаний. Кстати, ненависть творит историю сильнее любви. Зло, обрушенное на большевизм, станет великим добром, — философски заключил Андерс.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Это хмурое утро Ленин начал с чтения писем и жалоб, — они были для него как бы приборами, измеряющими бег времени и человеческие отношения, и подчас просто удивительно было их со-

держание. Жалобы на личные невзгоды, на холодное отношение к людям, нарушение законности, просьбы, советы, предложения потоком текли на его стол.

Солдатка Ефимова из Череповца жалуется, что у нее забрали весь хлеб, а муж в плену и на руках трое маленьких ребятишек. Крестьяне Скопинского уезда пишут, что их обложили чрезвычайным налогом, они же — голь перекатная. Из Казанской губернии граждане Чернышев, Сорокин, Семенов сообщают, что пять месяцев сидят в тюрьме без следствия. Некто Бахвалов возмущается, что в его деревне запрещено достроить храм.

На каждом письме Ленин писал короткую резолюцию. Череповец, губисполкому: «Проверьте жалобу Ефросиньи Андреевой Ефимовой... Результат проверки и ваших мер сообщите мне». Крестьянам Скопинского уезда: «Обложение чрезвычайным налогом крестьян достатка ниже среднего незаконно». Казань, губисполкому: «Немедленно проверьте жалобу и дайте мне тотчас объяснение». В. Бахвалову: «Окончание постройки храма, конечно, разрешается; прошу зайти к наркому юстиции т. Курскому, с которым я только созвонился...»

А вот телеграмма из Царицына. Ленин прочитал ее, гмыкнул сердито.

— Черт знает что такое! Просто невероятно! Надо быть архи-дураками, чтобы арестовать за это...

Красноармеец Минин телеграфировал об аресте гражданки Першиковой за то, что она вырвала из брошюры Ленина его портрет и разрисовала цветными карандашами. Красноармеец просил защитить Першикову от беззакония.

Царицын. Предгубчрезкома Мышкину: «За изуродование портрета арестовывать нельзя. Освободите Валентину Першикову немедленно, а если она контрреволюционерка, то следите за ней. Предсовнаркома Ленин». Он повертел в руках телеграмму и написал на ней резолюцию: «Напомнить мне, когда придет ответ предчрезвычайкома (а материал весь потом отдать фельетонистам)».

Случай с арестом Першиковой был исключительным по своей глупости; Ленин отодвинул папку с письмами, встал из-за стола, прошелся по кабинету.

Позорно относиться с таким жестоким равнодушием к простым людям! Как же воспитывать в наших работниках политическую и нравственную ответственность за государственные дела? Неужели еще нужны законы об уважении законов?

Ленин вернулся к столу, в раздумье побарабанил пальцами по массивному пресс-папье. Под ним белела бумага, он вытащил листок, сложенный треугольником.

«Она очень ценная работница и нам интересно именно ее получить... Нельзя ли обойти декрет?»

Он наморщил лоб, стараясь понять смысл записки.

— Какой декрет обойти? Кто положил эту записку? А, да это же почерк Фотиевой...

Он нажал кнопку звонка, в кабинет вошла секретарь.

— Ваша записка, Лидия Александровна? Что-то я не пойму ее...

— Секретариату нужен работник, мы рекомендовали Бонч-Бруевичу одну женщину, но он не согласился.

— У него есть какие-то причины?

— Говорит, нельзя нарушать декрет о недопустимости совместной службы родственников. А в Совнаркоме работает сестра рекомендуемой...

— Теперь понял. И вы обращаетесь ко мне с просьбой обойти декрет? Нарушить закон? Но за это отдадут под суд...

Фотиевой стало неловко за свою записку, а Ленин не сводил с нее испытующих глаз: ошиблась или всерьез думает, что с законом можно поступать как угодно?

— Обход закона в любом случае преступление. Помните об этом, Лидия Александровна. — И, печально улыбаясь, спросил: — Крестьяне из Сарапула еще не явились?

— Они уже в приемной.

— Восемьдесят тысяч пудов хлеба голодным собрали... Зовите их, давайте их...

В кабинет вошли крестьяне, в полушубках, валенках, смущенные неожиданным приемом. Ленин усадил их, подвинулся поближе, стал расспрашивать о тяготах пути.

— От Сарапула до Москвы десять суток ползли, — сокрушенно ответил Фаддей Иванович, глава делегации.

— Разруха, разруха... — Ленин вглядывался в простые, бородастые лица. — Мы ведь почти земляки, я из Симбирска.

— Верно, от Симбирска до нас рукой подать, — согласился Фаддей Иванович.

— Побывать в Сарапуле пока не пришлось. У вас там на Каме охотничий рай.

— Уток видимо-невидимо, а рябчика, а тетерева — страсть! Приезжайте, в самые заповедные места свожу, — живо отозвался Фаддей Иванович.

— Вот кончится война, выберу время и прикачу. Грешный человек, люблю охоту. Помню, как-то крякушу подстрелил, в камыши упала, так я по болоту бродил, бродил, до сих пор жаль — не нашел подранка...

При этом воспоминании Ленину показалось, что каждая вещь в кабинете просияла по-весеннему. Такие кратковременные переходы из тени на солнечный свет были редкой радостью, действительность — голодающие, страшные военные сводки — особенно подавляла Ленина в последние дни.

— Тяжко жить сегодня людям, — снова заговорил он. — В Петрограде сосновую заболонь в ржаную муку подмешивают, в Подмосковье особый сорт съедобной глины открыли. Голодает Россия. — Лицо его потемнело. — Благородное дело вы совершили, — Ленин прикоснулся рукой к плечу Фаддея Ивановича, будто призывая к продолжению разговора. — Народ гибнет от голода, а в России есть хлеб. Есть! — энергично повторил он. — Мне справку дали: только между Сарапулом и Казанью лежит хлеба десять миллионов пудов, а вывезти в Москву, в Петроград невозможно. Нет паровозов, вагонов нет, топлива тоже нет. А за помощь — большое спасибо от правительства, — Ленин вырвал из блокнота

листок, написал: «Податели — товарищи из Сарапульского уезда Вятской губернии. Привезли нам и Питеру по 40 000 пудов хлеба. Это такой замечательный подвиг, который вполне заслуживает со всем особым приветствия. А товарищи, кстати, просят их познать с профсоюзами. Назначьте им, пожалуйста, поскорее доклад в Совдепе...»

Он передал записку Фаддею Ивановичу.

— Идите к председателю Моссовета, он устроит встречу с рабочими. Потолкуйте с ними о своих нуждах, долг платежом красен, а дружба не знает цены, — говорил Ленин, провожая крестьян до дверей.

Борьба с голодом и гражданской войной легла тяжелым бременем на его плечи.

Чего только не делает он, чтобы накормить голодающих! Просит, требует, приказывает, подгоняет, грозит нерадивым работникам самыми строгими мерами. Телеграммы, записки его летят во все концы республики. От такой, пронизанной болью, записки: «Хлеба, ради бога, хлеба!» — до грозной телеграммы симбирскому губпродкомиссару: «Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны» — чувствуется его постоянная тревога за голодающих.

Борьба за хлеб равноценна борьбе за мир. Постоянная, напряженная, бессонная борьба. Чтобы избежать войны, Ленин был готов на неслыханные уступки. В Москву недавно приезжал со специальной миссией представитель американского президента. Президент США обещал отменить экономическую блокаду, прекратить военную помощь антисоветским правительствам в России, если все они сохранят свою власть и территории, захваченные ими у большевиков.

— Если вы согласны, мы быстро подпишем договор, — сказал американец.

— Нам слишком дорога жизнь рабочих и крестьян, чтобы затягивать соглашение, — отвечал Ленин.

Представитель американского президента понял: Ленин готов подписать кабальный договор ради спасения своего народа. Он уехал с проектом договора, но в это время адмирал Колчак начал свое наступление.

Успехи его войск дали союзным державам призрачные надежды на скорый конец Советской республики. Больше они не хотели разговаривать о мире.

А Колчак наступал.

Западная армия генерала Ханжина приближалась к Уфе, Северная угрожала Сарапулу и Ижевску, атаман Дутов перехватил дорогу между Оренбургом и Актюбинском и снова отрезал Туркестан от России.

Колчак теперь главная военная опасность, все физические, все духовные силы нужно сосредоточить на разгроме его войск. Через несколько дней состоится VIII съезд партии. Военное положение и военная политика будет наиважнейшим вопросом его работы.

В кабинет вошел Свердлов с папкой в руках. У него был вид тяжело больного человека: на исхудалом, увядшем лице проступали желтые пятна, губы в пепельном налете и только одни глаза лихорадочно чернели. Ленин видел, как тает его друг и соратник.

Каждую встречу со Свердловым он начинал почти одними и теми же словами:

— Надо же беречь здоровье, Яков Михайлович. Лечиться же надо...

— В такое время валяться в постели? Нет, уж лучше работать до последнего вздоха.

Он присел у письменного стола, снял пенсне, протер стекла.

— Нужны экстренные, исключительные меры, чтобы изменить положение на Восточном... — начал Свердлов, но закашлялся и оборвал фразу.

— Да, положение там грозное. Только в быстром, хорошо подготовленном наступлении залог победы. А для этого нужны бое-

способные армии и талантливые полководцы, — подхватил Ленин. — Кстати, главком Восточного фронта предлагает создать группу войск, чтобы не только задержать Колчака на подступах к Волге, но, измотав его в боях, перейти в решительное наступление.

Очень серьезное предложение. Кого же поставить командующим такой группой войск? — спросил Свердлов. — Я перебрал в уме всех наших военачальников: Каменев, Фрунзе, Тухачевский... Командовать несколькими армиями — для этого необходимы глубокие военные знания. Нужен коммунист-организатор, волевой, умный, талантливый... — Ленин откинулся в кресле, потер пальцами лоб, как бы подыскивая ответ на собственный же вопрос.

— По-моему, подходит Фрунзе. Другого кандидата не вижу.

— Фрунзе? У него есть все названные качества? Что ж, обсудим его кандидатуру сперва в Реввоенсовете, потом в Совете Обороны, — решил Ленин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Михаил Фрунзе настойчиво обновлял командный состав 4-й армии.

По его настоянию Валериана Куйбышева назначили членом Реввоенсовета Южной группы войск. Командиром Александрово-Гайской бригады он поставил Василия Чапаева, комиссаром — Дмитрия Фурманова. Павел Батурин стал инструктором особых поручений при командарме, Иосиф Гамбург уехал в Уральск начальником военного снабжения армии.

Красноармейцы сразу почувствовали твердую волю нового командарма. Армия возродилась на глазах: исчезла анархия, прошло уныние, смятение сменилось уверенностью.

Армия перешла в наступление. Шаг за шагом, станицу за станицей отвоевывал Фрунзе у белоказаков. Атаман Дутов и генерал Толстов отходили в пустынные степи Приуралья.

Фрунзе спешно сформировал Оренбургскую дивизию и кавалерийскую бригаду; эти части, по его замыслу объединенные с тур-

кестанскими отрядами, стали новой, Туркестанской армией. Командующим ее был назначен Зиновьев.

Так возникла Южная группа войск малого состава: она должна была всеми силами удерживать освобожденные территории в Уральской и Оренбургской губерниях.

В те же самые дни Чапаев освободил станицу Сломихинскую и городок Лбищенск — стратегически важные пункты. В боях Чапаев проявлял и личную храбрость, и твердость духа, и искусство быстрых, неожиданных действий, и ту самостоятельность, что так необходима командирам в опасные мгновения боя.

Но первые успехи 4-й армии закрепить не пришлось. Колчаковские войска упорно наступали, над Южной группой красных нависла угроза окружения, и главком Каменев приказал остановить наступление.

Фрунзе перебросил 25-ю дивизию из района Уральска на линию Оренбург — Бузулук — Самара. Дивизия стала охранительницей тылов 4-й и Туркестанской армий, центром перегруппировки войск для удара по армии Ханжина. Командиром дивизии был выдвинут Чапаев.

Успехи противника становились все значительнее, и Фрунзе опять потерял сон. Жена видела его только во время завтрака да обеда, остальное время он разъезжал по воинским частям или сидел в штабе над оперативными планами.

А на картах ежедневно переставлялись флажки, цветные линии их вытягивались, подвигались от Уфы к Бугуруслану, на Мензелинск, в сторону Камы.

Фрунзе, внимательно и сосредоточенно следивший за всеми, даже мелкими, изменениями на фронте, сказал Новицкому и тревожно, и со странной радостью:

— Левый фланг противника, на котором действует корпус Капеля, значительно отстает от армии Ханжина. Образовался большой разрыв между левым флангом и центром, войска растянулись на огромное пространство.

— И что же из этого следует? — недоуменно спросил Новицкий.

— А вот что: если бы мы ударили по левому флангу армии Ханжина, то смогли бы разгромить его ударную группу и отнять инициативу. Неожиданное контрнаступление поставит Ханжина в тяжелейшее положение...

Новицкий долго не отвечал, погрузившись в раздумье.

— Оригинальный и смелый план, — наконец согласился он. — Но для такого удара нужны мощные силы...

— Это еще не план, а предположение. По-моему, возможно начать контрнаступление силами, которыми мы располагаем. К нам непрерывно идут свежие подкрепления, и кроме того... кроме того, — повторил Фрунзе, — надо учитывать и революционный энтузиазм красноармейцев. Если белым нужна только победа, то нам кроме победы необходимо еще и будущее...

Сразу же после этого разговора Фрунзе соединился по прямому проводу с главкомом фронта Каменевым. Высказал свои мысли о возможности нанести удар по флангу противника, а потом начать наступление.

Главком пообещал тщательно обдумать предложение. Вскоре он уже вызвал к прямому проводу Фрунзе.

— Я докладывал Председателю Совета Оборона о вашем плане контрнаступления. Ленин склонен поддержать вашу идею. Реввоенсовет фронта ставит вопрос о разделении войск на Южную и Северную группы. Южная группа будет состоять из 1, 4, 5-й и Туркестанской армий, Северная — из 2-й и 3-й. Реввоенсовет фронта предлагает вам взять на себя общее руководство Южной группой. Согласны ли вы? — спрашивал главком.

Смелый замысел приобретал конкретные очертания, и Фрунзе согласился. Каменев приказал ему немедленно прибыть в Симбирск на выездное заседание Реввоенсовета республики.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К началу апреля положение на Восточном фронте еще больше ухудшилось.

Пятая армия, истекая кровью, непрерывно атакуемая превосходящими силами противника, медленно пятилась к Волге. Продвижение генерала Ханжина создавало непосредственную угрозу Самаре и Симбирску. Фрунзе приказал новому командарму Михаилу Тухачевскому во что бы то ни стало остановить Ханжина и прикрыть своими частями тракт Бузулук — Бугуруслан — Бугульма. В этом районе Фрунзе сосредоточил ударную группу, состоявшую из Туркестанской армии, частей 1-й армии и 25-й дивизии.

Эти войска должны были нанести удар по левому флангу Ханжина. В район Бузулука срочно перебрасывались пехотные полки и конница, подвозилось оружие, боеприпасы, провиант. В воинские части ехали коммунисты, чтобы не только словом, но и личным примером воодушевлять красноармейцев.

Для защиты Оренбурга Фрунзе создал Особую группу. Уральск прикрывали 22-я дивизия и Киргизская конная бригада.

Пока Фрунзе неумоимо перегруппировывал свои войска, Куйбышев формировал в Самаре рабочие части, отбирал и посылал на фронт лучших людей.

— Тревога за судьбу революции поселилась сегодня в наших сердцах, но священная эта тревога вселяет и уверенность, что Восточный фронт из фронта поражений превратится во фронт побед, — говорил он своим помощникам.

Случай помогает тому, кто умеет анализировать малые события. Чапаевские разведчики захватили офицера 3-го Уральского корпуса белых. У пленного были найдены важные приказы, Чапаев немедленно доставил их Фрунзе.

С острым интересом прочитал секретные документы противника Фрунзе. В приказах довольно четко определялись предстоящие действия и расположение колчаковских войск. Особенно ценными были сведения о том, что между 6-м и 3-м корпусами белых суще-

ствуует разрыв верст в пятьдесят и между ними нет никакой тактической связи.

— Вот блестящий случай нанести удар в разрыв между корпусами! — воскликнул Фрунзе, обращаясь к Новицкому. — Посмотрите на карту, Федор Федорович, клин, забитый нами в этот разрыв, окончательно разорвет армии Колчака и даст возможность разгромить их поодиночке...

— Возможность действительно блестящая. Не использовать ее — грех, — согласился Новицкий. — Враг против воли рассказал о себе больше, чем наши разведчики. Удар в разрыв — идея смелая, но рискованная, можно попасть в ловушку, Михаил Васильевич.

— Всякая военная операция подвержена риску, — возразил Фрунзе.

— Смелость, помноженная на разум, — двойная смелость. Какие же силы мы бросим для первого удара? — Новицкий склонился над картой.

Поразмыслив, они решили действовать тремя ударными группами. Первая, под командой Зиновьева, наступает из района Бузулука, вторая — с правого фланга, из села Михайловского. За ее действия отвечает Гая Гай. Третью группу возглавляет Чапаев.

Скрепя сердце Фрунзе назначил Авалова командиром 74-й бригады. Какое-то внутреннее чувство подсказывало не доверять Авалову, но нарушить приказание председателя Реввоенсовета он не мог.

— Троцкий хотел, чтобы я дал Авалову дивизию, но я не хочу. Авалов не может с такой быстротой переменить белый цвет на красный, — говорил Фрунзе.

— Перекраситься может, перемениться по всей своей сути — едва ли, — согласился Новицкий.

Между тем положение становилось все опаснее. Белые захватили Бугуруслан, приближались к Бузулуку, грозили Оренбургу.

Неожиданно Фрунзе вызвали к прямому проводу. Командующий 1-й армией Гая Гай, смелый и талантливый командарм, вместе

с Тухачевским освободивший от белочехов и каппелевских батальонов Симбирск и Самару, сейчас впал в панику:

— Оренбург с трех сторон окружают колчаковцы. Спасти Первую армию можно только отступлением. Каждый час ко мне являются командиры и настаивают на отступлении. Я согласен с ними, если не разрешите — снимаю с себя ответственность за судьбу армии...

Фрунзе слушал телеграфиста, расшифровывавшего азбуку Морзе в панические слова Гая, и бледное лицо его темнело. Как ни был он уравновешен, как ни старался казаться спокойным, но слова Гая вызвали гнев.

— Ни один командир не имеет права снимать с себя ответственность за судьбу армии. Оренбург сдавать нельзя, — продиктовал он свой ответ командарму.

Час спустя Фрунзе узнал отвратительную новость: комбриг Авалов перебежал к колчаковцам, захватив секретный приказ о контрнаступлении.

— Чутье меня не обманывало — обманула доверчивость, — сокрушался Фрунзе.

— Троцкий вас подвел, а не доверчивость. Авалов выдаст сроки наступления... — волновался Новицкий.

— Я изменяю сроки. Наступление начнем раньше, — решил Фрунзе. — Сейчас промедление грозит катастрофой, последствия которой невозможно вообразить...

Уже запоздно Фрунзе вернулся в Красную гостиницу. По гневному лицу его Софья Алексеевна поняла, что случилась неприятность.

— Ты расстроен, Миша? Что случилось? — спросила она тревожно.

— Подлость, предательство — вот что произошло... — Он рассказал об измене Авалова. — Я ведь знал, кто такой Авалов, и все-таки подчинился Троцкому. Много можно простить человеку, но только не предательство.

Он позвонил на квартиру Куйбышеву.

— Ты можешь прийти ко мне сейчас же? Дело совершенно срочное, жду.

Софья Алексеевна жила радостями и печалью мужа, но бывают обстоятельства, когда сочувствие не приносит ни утешения, ни пользы, и Софья Алексеевна молча сидела напротив мужа.

Явился Куйбышев и, потрясая газетой, заговорил:

— Каким дураком выставили меня газеты! Читал, Михаил Васильевич?

— Не успел.

— Вчера репортер беседовал со мной о положении дел на Восточном фронте, а сегодня газеты опубликовали беседу. В пересказе репортера получилось: я, член Реввоенсовета Восточного фронта, говорю: не стоит особенно напрягать силы для борьбы с Колчаком. — Куйбышев развернул газету и прочел: — «Самарцы могут быть спокойны: Красная Армия их в обиду не даст». Милое распределение ролей: сарматцы будут наслаждаться покоем, а наша армия не даст их в обиду! Я письмо в редакцию написал, как, по твоему, правильно?

— Читай, — сказал Фрунзе, решив подождать с неприятной новостью.

— Я не всё, я только отрывок: «Ложь, что мы создали для армии человеческие условия. Ложь, что у нас нет разутых и разделанных. Стыдно говорить это перед лицом страданий, переживаемых народом. Не самохвальство облегчит борьбу Красной Армии, а самостоятельность рабочих масс при сознании ими грозной опасности. Не спокойствие приведет рабочий класс к победе, а величайшее напряжение энергии и священная тревога за судьбу мировой революции». Ты согласен со мной? — спросил Куйбышев, пряча в карман письмо.

— Лучше сказать правду, чем крутить и финтить. Я тебе сообщу еще более горькую правду: Авалов перебежал к Колчаку...

Румянец сошел с лица Куйбышева.

— И конечно, уволок с собой секретные документы, — гневно сказал он после короткой паузы. — Если бог есть, предатель не уйдет от петли.

— Я решил начать наступление на два дня раньше. Завтра утром вместе со штабом перебросимся на станцию Кинель, — сказал Фрунзе.

Тусклая, неживая вода озер, непролазные дороги, бурые прошлогодние ковыли, сизое апрельское небо утопали в солнечном свете. Самарская степь, обычно пустынная в распутицу, сейчас походила на необозримый военный лагерь: всюду шагали пехотинцы, скакали конники. Железнодорожные пути были забиты паровозами, вагонами, на платформах торчали пулеметы, походные кухни. Звон оружия, шумный говор, крепкие запахи переливались в ясном воздухе, и все это двигалось к маленькой географической точке — Бугуруслану.

Непривычное для русского уха слово Бугуруслан приобрело конкретный, осязаемый смысл, новое историческое значение, стало рубежом двух враждебных армий.

Поезд командарма стоял на станции Кинель. В салон-вагоне Новицкий писал приказ о наступлении, назначенном на двадцать восьмое апреля. Фрунзе стоя заглядывал через его плечо, читал простые и грозные слова.

— Вот и все, — сказал Новицкий. — Подписывайте, Михаил Васильевич.

— Теперь слово за красноармейским штыком, — добавил Фрунзе, скрепляя подписью документ, ставший и призывом, и военным законом одновременно.

Фрунзе и Куйбышев вышли из салон-вагона и, стараясь не привлекать к себе внимания, зашагали от крикливой сутолоки в ковыльную степь.

Шли они, тридцатичетырехлетний командующий и тридцатилетний член Реввоенсовета, революционеры по складу ума, поэты

действия, верящие в народную победу, такую же неизбежную, как восход солнца.

А солнце уже поднялось в зенит, и сизое небо стало почти темным. Белые облака, стоявшие на востоке, росли и разворачивались горными пиками, покатыми вершинами, обрывались кручами и все могущественнее подпирали небо.

— Посмотри, Валериан, вон на те облака, — воскликнул Фрунзе. — Они точь-в-точь как Небесные горы над моим Пишпекком...

И тут он увидел орла.

Орел летел по кривой с востока на север, в сторону степного городка Бугуруслана, легкокрылый, неистребимый орел его юности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Падали студеные росы на еле зазеленевшую траву, свистя крыльями, проносились на север стаи перелетных птиц — весна неодолимо завладела землей и небом.

Круглые сутки с короткими привалами двигались красные полки. Наступление началось одновременно на линии в триста верст от станции Сургут на Самаро-Златоустовской дороге до реки Салмыш. В стремительном этом движении участвовали Туркестанская и 5-я армии, две дивизии 1-й.

Стычки с противником начались сразу на бугурусланском, сергиевском и бугульминском участках фронта.

Четвертого мая, разгромив 11-ю и 7-ю пехотные дивизии белых, чапаевцы и 26-я дивизия 5-й армии заняли станцию Бугуруслан, но были остановлены перед городом.

Фрунзе мгновенно учел новую опасность и приказал Тухачевскому уничтожить группу противника южнее Сергиевска, а Туркестанскую армию бросил в тыл бугурусланской группировке белых.

Первые успехи под Бугурусланом сказались на Западной армии генерала Ханжина: угроза окружения принудила его к обороне, а потом и к отступлению на Бугульму. Ханжин выскользнул из

«клещей», и в этом ему помог Авалов: он успел передать план контрнаступления красных.

У генерала был свой кодекс воинской чести: он даже в мыслях не допускал, чтобы офицер мог, вольно или невольно, поступить на службу к большевикам. «Офицеры в плен не сдаются — офицеры стреляются», — любил он повторять своим подчиненным.

Поблагодарив Авалова за важные сведения, Ханжин спросил:

— Вы были в действующей армии, когда произошла Февральская революция?

— Я охранял Ставку верховного главнокомандующего, — ответил Авалов.

— Ставку его императорского величества?

— Так точно.

— Поразительно... Правый эсер, охраняющий царя! Эсеры во главе с пресловутым Савинковым были злейшими врагами русской монархии.

— Моя принадлежность к партии эсеров — фикция.

— Что вы делали, когда монархия пала?

— Стал комиссаром Временного правительства в Минске. Там я постоянно сталкивался с этим самым Фрунзе, что теперь командует Южной группой красных. Я немало испортил ему крови, закрыв две его газеты.

— Что из себя представляет Фрунзе?

— В смелости ума отказать невозможно.

— Для командующего четырьмя армиями мало одного ума, нужны и военные знания. Я что-то не припомню русского генерала Фрунзе, — сказал Ханжин. — Что же произошло с вами, когда власть захватили большевики?

— Они объявили, что принимают в Красную Армию бывших офицеров. Мне случайно удалось встретиться с Троцким, я пришел к нему по душе, он взял меня в свой штаб, — уныло ответил Авалов, чувствуя, что Ханжин неспроста допрашивает его.

— Какие дикие качели — от Ставки верховного до штаба Троцкого! Даже дух захватывает от ваших политических метаморфоз...

— Я лишь приспособлялся к обстоятельствам, но моя преданность белой идее остается неизменной.

— Преданность и предательство — разные понятия. Как же Фрунзе доверил вам целую бригаду? Он же знал, кто вы такой.

— По распоряжению Троцкого. Я надеялся получить дивизию, но Фрунзе не дал. Через десять дней после назначения я с секретными документами явился к вам, ваше превосходительство, — торпливо напомнил Авалов.

— Еще раз благодарю. А где ваше оружие, господин Авалов? — неожиданно спросил Ханжин.

— Бросил, когда переходил линию фронта...

— Почему?

— Боялся, что расстреляют раньше, чем увижу вас.

Ханжин, откинув тяжелую русую голову, пристально взглядылся в Авалова. Не выдержав его испытующего взгляда, Авалов опустил глаза.

— Я подумаю о вашем новом назначении. Подождите в приемной, — сказал наконец Ханжин.

Авалов вышел, генерал вызвал начальника контрразведки. Тот появился мгновенно, словно из-под земли.

— В приемной ждет своей судьбы бывший офицер, четырехкратный предатель Авалов. Мавр сделал свое дело — мавра можно убрать...

Используя секретные документы красных, Ханжин решил нанести ответный удар. Он сосредоточил Волжский корпус Каппеля в районе Белебея, образовал временную армейскую группу под командой Войцеховского для захвата Кинели. Армия Белова получила приказ овладеть станцией Сорочинская, — это позволяло с трех сторон окружить красных.

Фрунзе продолжал развивать наступление на Бугуруслан и Сергиевск.

Четвертого мая развернулось новое сражение под Бугурусланом.

Колчаковцы плотным орудийным огнем прикрывали переправу через Большую Кинель. Мелководная, тихая речка в половодье затопляла степь на многие версты, и красноармейцы не раздумывая бросались в ледяную воду или переправлялись на плотах.

Вечером Бугуруслан перешел в руки красных, на следующий день был взят и Сергиевск. Ханжин вынужден был отойти к Бугульме. Он, мечтавший напоить своего коня из Волги, был отброшен от нее далеко на восток.

Командир 6-го корпуса рапортовал Ханжину: «Потери полков граничат с полным уничтожением. Все влитые в последнее время пополнения передались красным и даже участвовали в бою против нас...»

Особенную ярость Ханжина вызвал курень имени Тараса Шевченко. Солдаты куреня — украинцы, распропагандированные большевиками, перебив всех офицеров, перешли на сторону красных. Подпольный военно-революционный комитет заранее разработал план; были даже назначены свои командиры, чтобы в час восстания заменить офицеров.

Ханжин в бессильной злобе приказал истребить всех жителей, помогающих красным.

Под Бугульмой ему пришлось перегруппировать свои силы и сократить линию фронта. Второй и Третий корпуса расположились полукругом на подступах к Бугульме.

В то же время на станцию Белебей начали прибывать авангардные части Волжского корпуса генерала Каппеля. Колчак и Ханжин возлагали особые надежды на этот корпус, состоявший наполовину из офицерских батальонов. Опытные в военном деле офицеры пылали лютой ненавистью к большевикам. Отлично вооруженные американцами, одетые в английские мундиры, они поклялись или уничтожить красных, или сложить свои головы в бугульминской

степи. Их командиром был Владимир Каппель, над которым еще витала прошлогодняя слава «освободителя» Симбирска и Казани.

В те же дни атаман Дутов окружил Уральск. Четвертая армия, оборонявшая город, оказалась в осаде, связи ее с Южной группой прервались. Дутов поднимал антисоветские мятежи в окрестных казачьих станицах, подсылал провокаторов в осажденный Уральск.

У Четвертой армии не хватало сил разорвать блокаду и выйти из окружения.

В эти тяжелые часы защитники Уральска получили ободряющую радиограмму Фрунзе: «Привет вам, товарищи! Будьте спокойны и тверды. Помощь вам идет. Враг на уфимском направлении разбит, Оренбург надежно в наших руках. В ближайшие недели уральской контрреволюции будет нанесен последний, сокрушающий удар».

Между тем сам он продолжал уничтожение главной группировки противника. Добить Западную армию генерала Ханжина стало насущной целью, но для этого необходимо было ликвидировать корпус Каппеля, разгромить группу Войцеховского под Бугульмой.

— Буря и натиск, натиск и буря! Не дать противнику собрать силы, передохнуть, опомниться, — повторял он Куйбышеву, Новицкому, командарму Тухачевскому, начдиву Чапаеву.

Для своенравного Чапаева, пренебрежительно относившегося к высшему командованию, Фрунзе стал непререкаемым авторитетом. И Фрунзе поверил в его талант, поручал ему ответственные боевые операции и не угрозой, а веселыми шутками, умным словом развенчивал его сумасбродные выходки; Фрунзе поднимал Чапаева в его же собственных глазах, и это благотворно воздействовало на необузданный характер начдива. Чапаев становился спокойнее, уравновешеннее, и все чаще слышал от него комиссар Фурманов: «Как скажет Фрунзе — так и будет».

Двенадцатого мая Чапаев подошел к степной речке Узень; на противоположном берегу виднелись авангардные части Каппеля.

Чапаев хотел немедленно атаковать противника, но получил приказ из штаба армии расположиться на отдых.

— Что за болваны эти штабисты! Какой дурак дремлет в минуты атаки! Им, видите ли, отдых понадобился, а я не устал, — кипятился он. — Врага надо бить по башке, пока стоит, а потом по спине — когда побежит. А Чапаев сиди у речки да покуривай?

— Постой, не кипятись, Василий Иванович, — уговаривал Фурманов. — Ты отвечаешь только за дивизию, у штаба свои оперативные расчеты.

— Ты, комиссар, не встревай не в свое дело! Сказано — не лезь, следовано, не лезь...

— Как так «не лезь»? Я комиссар!

— А я командир, и если будешь совать нос куда не следовано...

— Тогда что? — воспламенился Фурманов.

— Поставлю к стенке и распылю твою чернильную душу! — Чапаев выдернул из кобуры пистолет.

— Ты меня?

— Я тебя!..

Рассудительного Фурманова словно подменили: он тоже выхватил наган. Так и стояли они друг против друга, и ничего, казалось, не осталось от их дружбы.

Первым опомнился Фурманов: спрятав револьвер в кобуру, он зашагал в штаб Кутякова. «Черт меня дернул подзадорить Чапая. Он же дикарь, безрассудство всегда найдет доступ к сердцу дикаря. Да и я тоже гусь порядочный: хвастаюсь выдержкой и вот на тебе — за наган!»

Он вошел в палатку Кутякова.

— Что это с вами? — спросил комбриг. — На вас лица нет.

Фурманов не успел ответить, в палатку влетел Чапаев.

— Твоя бандура в порядке? Тогда передай телеграмму на имя Фрунзе: «Слагаю с себя обязанности начдива. Выезжаю для личного доклада». Подпись — Чапаев...

— Да что произошло? Нельзя ж передавать такое командарму! — запротестовал Кутяков.

— Ванька, не рассусоливай!

Кутяков глянул на телеграфиста, и тот отстукал злополучную телеграмму.

— Вот и все, — мрачно сказал Чапаев.

— Нет, не все! Теперь передайте мою телеграмму, — заговорил Фурманов, — «Командарму Фрунзе. Прошу не принимать всерьез телеграмму Чапаева, не разрешать ему выезд в штаб армии. Приедем вместе, доложу суть дела. Комиссар Фурманов».

Чапаев резко повернулся на каблуках, цепляясь саблей за полотно палатки, позванивая шпорами, вышел.

— Какая муха вас укусила? — осторожно спросил Кутяков.

— Ты же знаешь Чапая. Я слово — он два, я два — он четыре, и пошла писать губерния... Даже за наганы хватались.

— Понимаю, понимаю. Чапаев — огонь, но вы-то, вы-то, комиссар... Мы же вас образцом спокойствия и выдержки почитаем, как же вы-то?..

— Сорвался, не выдержал, теперь самому противна вздорная ссора. Ну да Чапай отходчив, а я первый протяну ему руку.

Через несколько часов Кутяков принес Чапаеву и Фурманову ответ. Фрунзе запрещал обоим приезжать в штаб до особого вызова.

Чапаев и Фурманов не знали причин неожиданной задержки наступления на Белебей.

А случилось вот что.

В самый разгар наступления Троцкий снял с поста командующего Восточным фронтом Каменева и назначил нового — бывшего генерала Александра Александровича Самойло.

Ему уже шел шестой десяток, и он любил с элегической грустью говорить о самом себе: «В открытый океан на тысяче парусов несетя юноша, тихо на уцелевшем челне тащится в гавань старик».

В полушутливом-полусерьезном повторении шиллеровских строк скрывался глубинный смысл: генерал Самойло понимал всю

нелепость своего назначения. «Как можно в критический момент боевых действий снимать с поста командующего, держащего в руках все нити управления фронтом? — записал он в дневнике. — Я не в курсе событий, происходящих на фронте, не знаю ни войск, ни начальников, ни будущих своих сотрудников. Да и назначение мое незаконно: замещать командующего может только начальник фронтового штаба. Нет, положительно надо отказаться от такого предложения».

Недолго раздумывая, Самойло вызвал к прямому проводу начальника штаба Восточного фронта Лебедева и заявил, что в случае смены Каменева весь состав Реввоенсовета фронта откажется от своих должностей. Сам он тоже отклонил предложение Троцкого, но тот категорически потребовал подчиниться его приказу.

И Самойло пришлось подчиниться: он сдал командование Северным фронтом и приехал в Симбирск. Исполнительный, далекий от хитросплетений политики, он получил от Троцкого четкую директиву — перенести центр военных действий с юга на север, против Северной армии противника. Эта директива разрушала планы Фрунзе по уничтожению Западной армии Ханжина.

Фрунзе восстал против приказа командующего фронтом и выехал в Симбирск для объяснения. Между ними произошел неприятный разговор.

— Я не согласен с идеей нанесения удара на северном направлении. В самом лучшем случае противник лишь отойдет, но не будет уничтожен, а наша задача — добить Западную армию. Для этого необходимо ликвидировать корпус Каппеля и продолжать наступление на Уфу. Я возражаю против ослабления Южной группы и свое теперешнее положение считаю ложным и вредным для общего дела, — возмущенно говорил Фрунзе.

Самойло согласился с доводами Фрунзе: военный опыт подсказывал ему, что прав он, а не Троцкий. Рискавая вызвать гнев председателя Реввоенсовета, он изменил свой приказ.

— Что ж, продолжайте операцию по разгрому Каппеля. Что будет дальше — посмотрим, — сказал Самойло.

Сражение за Белебей началось ранним утром.

Чапаевская дивизия ударила по городу с севера, остальные соединения Туркестанской армии — с юга. Дважды чапаевцы прорывались на городские улицы, но каппелевцы отесняли их и сами переходили в контратаку.

Сражение продолжалось до вечера и приостановилось с темной. Семнадцатого мая красные снова пошли в наступление. В этот день особенно отличилась конница: сотни 13-го казачьего имени Степана Разина полка первыми ворвались в центр Белебея.

Каппелевцы, побросав орудия и пулеметы, покинули Белебей. Победы армий Фрунзе под Бугурусланом и Белебеем сломили боевой дух колчаковцев, войска Ханжина понесли страшные потери, корпус Каппеля был разбит. Сибирская армия ослабила нажим на Северную группу красных.

Стратегический замысел Фрунзе начал осуществляться во всем своем объеме и блеске.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Чапаев и Фурманов по вызову Фрунзе приехали в Самару.

Жаркие дни Белебея стерли в памяти их нелепую ссору, оба позабыли про нее, но вызов командарма встревожил.

— Достанется нам на орехи, — сетовал Фурманов. — Михаил Васильевич по горло занят, а мы к нему полезли с дурацкими жалобами.

Чапаев отмалчивался и только пофыркивал, размашисто шагая по булыжной мостовой. В штабе Фрунзе не оказалось, Чапаев и Фурманов пошли в Красную гостиницу.

— Дмитрий, Дима! — ахнула Софья Алексеевна, просияв от радости. — Живой, невредимый, возмужал, загорел просто на зависть... А это товарищ Чапаев? Рада с вами познакомиться.

Наслышана и таким вас себе представляла, — смеялась Софья Алексеевна, встречая гостей.

— Обо мне брешут всякие байки, — сказал Чапаев, осторожно пожимая пальчики Софьи Алексеевны.

— Михаила Васильевича нет? — спросил Фурманов, оглядывая номер.

— Он немножко приболел, спит. Сейчас разбужу.

— Что вы, не надо! Нам некуда торопиться, — запротестовал Фурманов.

— Тогда я приготовлю ужин. — Софья Алексеевна вышла в кухню.

— Плоховато живет Михаил Васильевич. Стол, кровать да тройка стульев, а ведь по чину-то ему особняк положен. Как ни верти, а четырежды генерал, — сказал Чапаев.

— Почему четырежды? — не понял Фурманов, протягивая руку к толстой потрепанной книге.

— Командует четырьмя армиями. Вот почему. А что за книга? — поинтересовался Чапаев.

— Абдар-Рахман аль-Кавакиби, — прочел Фурманов.

— Видать, татарин. Это у татар: Мамед-оглы, Ахмет-заде, а что за «оглы», почему «заде» — поди догадайся.

— Кавакиби — арабский мыслитель прошлого века, — пояснил Фурманов и открыл книгу на странице, подчеркнутой красным карандашом. Прочел про себя, улыбнулся.

— О чем написано, что рассиялся?

— О природе деспотизма и гибельности порабощения людей. Вот послушай: «Деспот властвует над одними и с помощью их притесняет других. Он унижает их, они превозносят его величие, он натравливает их друг на друга, они гордятся его политикой. И если деспот расточил их имущество, они говорят — он щедр; убил, не подвергнув пытке, — они считают его милостивым. Словом, простой народ своими руками режет себя из страха, происходящего от невежества. Будет уничтожено невежество — исчезнет страх...»

— Исчезнет невежество — улечится страх. Умен татарин!

— Да не татарин — араб, — поправил Фурманов.

— Я сказал татарин, следовано, татарин. Как он этих деспотов чехвостит! Тамерлан — деспот, царь — тиран, Колчак себя диктатором величает, а все равно все императоры, диктаторы — сукины дети. Арабский-то мыслитель ихние душонки наизнанку вывернул да и нашего брата простака не пощадил. Мне бы такого учителя — я бы всю науку насквозь прошел...

— Ты же из военной академии сбежал, — напомнил Фурманов.

— Попал пальцем в небо... Там меня мертвой науке учили, а не политике. А вот это — политика, да еще какая! — постукал ладонью по книге Чапаев.

Дверь спальни распахнулась, на пороге появился Фрунзе.

— Прилетели, степные соколы! Ну здравствуйте, здравствуйте! Чапаев и Фурманов вскочили, вытянулись, Фрунзе обнял их за плечи.

— Садитесь, сейчас ужинать будем. Соня уже тарелками гремит, — продолжал Фрунзе, делая вид, что не замечает настороженных лиц начдива и комиссара.

«Измотался крепко, пожелтел, под глазами темные круги, — подумал Фурманов. — Телеграммы наши его явно расстроили, иначе не вызвал бы. Ох и достанется нам за ссору!»

— Софья Алексеевна сказала, что вы заболели, — осторожно заметил Фурманов.

— Пустяки. Просто переутомился, да и неприятности были. Троцкий опять приказал приостановить наступление на Уфу. Мне пришлось обратиться к Ленину, с часу на час ждем ответа. — Фрунзе достал из ящика стола какие-то бумаги и положил на окно. — Приостановить наступление, дать Колчаку возможность собраться с силами — мыслимое ли это дело? Генералы отвели войска на правый берег Белой и решили задержать нас на водном рубеже, а если переправимся — разбить и сбросить в реку. Все наши успехи в Белебее и под Бугульмой пойдут насмарку, если остановимся. — В голосе Фрунзе слышалась тревога. — Ну да последнее

слово за Лениным. Наступление на Уфу мы будем продолжать. Василий Иванович, я отвожу вашей дивизии главную роль.

— Голову сложу, если понадобится.

— Э, нет, сложить голову — дело нехитрое. Я против безрас- судной храбрости, не люблю горячки...

«Теперь начнет распекать», — уныло вздохнул Фурманов.

— Я очень доволен отвагой ваших бойцов и вашим искусством, Василий Иванович, а мужество, отвагу, умение надо вознаграждать. Отличать нужно и в пример ставить. У тебя есть рапорт о награждении самых достойных, Дмитрий? — спросил Фрунзе.

— О наградах у меня особое мнение, Михаил Васильевич. Выбрать самых достойных невозможно, как невозможно установить критерии ценности для героизма. Посудите сами: один проявил ценную инициативу, другой — безумную смелость, третий — хладнокровие, четвертый — предусмотрительность, спасшую десятки жизней. И все достойны наград, но я не слышал, чтобы бойцы восторгались наградами. Они порождают подозрения, зависть, нехорошие разговорчики...

— Какие разговорчики? — приподнял брови Фрунзе.

— Награждают не тех, кого следовало, — вставил свое слово Чапаев. — Говорят, старорежимные медали да кресты воскрешаются, мы, дескать, не за ордена, а за Советы, за свое счастье кровь проливаем.

— И вы согласны с таким мнением?

— Я в Центральный Комитет даже письмо накатал. Я против наград, — ответил Фурманов.

— На поощрения и награды надо смотреть с государственной и моральной точки зрения, — возразил Фрунзе. — Награда за подвиг воспитывает чувство долга, любовь к революционным идеям, преодоление страха. Вот вы говорите — воюем за Советы. Это понятно. А что такое свое счастье? Каждый человек понимает его по-своему: один счастлив личным благополучием, другой — жизнью народа. Между прочим, люди счастья, как и здоровья, не замечают, когда оно есть. Я согласен, за личное счастье награждать не долж-

но, за подвиг во имя счастья народного — необходимо. Истинный подвиг выше низменных подозрений, подвигу не завидуют — ему подражают...

Софья Алексеевна накрыла на стол: домашние котлеты показались восхитительными, чай — необыкновенно ароматным, гренки таяли во рту. В походной жизни Чапаев и Фурманов давно питались всухомятку и теперь наслаждались вкусной пищей, чистой скатертью на столе, сердечностью хозяина, добрыми улыбками хозяйки.

За ужином Фурманов дважды намекал Фрунзе, что ждет его мнения, пусть самого сурового, об их ссоре, но тот пропускал намеки мимо ушей. Это радовало Фурманова: значит, командующий не придает значения всяким пустякам.

— Война, особенно гражданская, многому учит людей, мечтающих стать художниками, — снова заговорил Фрунзе. — Они начинают конкретно, а не умозрительно понимать и классовые противоречия, и человеческие страдания. Даже женщины на войне раскрываются с необычайной полнотой и неожиданностью.

— Вот это правда. Недавно я допрашивал одну гимназистку. Милая, застенчивая девочка лет девятнадцати почему-то оказалась в нашем обозе, — сказал Фурманов. — И ничего, совершенно ничего в ней подозрительного. Шла из Белебея в Уфу, покалечила ногу, ну бойцы и взяли на подводу. Потолковал я с ней, хотел было отпустить, но — интуиция, что ли, запротестовала — решил допросить, и после вездливых моих вопросов призналась: шпионка колчаковской разведки. Удостовереньице на клочке папиросной бумаги достала из янтарной пудреницы. Милая эта девочка утверждает, что кое-кто из наших разведчиков работает на белых.

— А где она сейчас? — поинтересовался Фрунзе.

— У нас в дивизии.

— Мой штаб перебирается в Бугульму. Доставьте и ее туда. Кстати, вот и пример: когда дело доходит до «кто кого», даже девичья красота служит классовым интересам. А вообще-то, женщи-

на — это пропасть, кто заглянет на дно, что увидит на дне? — Фрунзе лукаво поглядел на Софью Алексеевну.

— Мужик, особенно дурак, ясен как майский денек, но баба... — начал было Чапаев, но замолчал от толчка Фурманова.

— А вы не стесняйтесь, Василий Иванович. Говорите, если начали, — посоветовала Софья Алексеевна.

— В прошлом лете на Уральском фронте у меня в отряде происшествие приключилось — просто срам и позор, — стал рассказывать Чапаев. — Боец казачку насильничал, прибежала она ко мне с жалобой. А боец, губошлеп этакий, зараз сознался: было, дескать, дело, было. В моем отряде насильник! Я аж вспотел: мы освобождаем народ от белых насильников, а сами не лучше их! И решил я расстрелять бойца, как паскудника, а бабешка, услышав о решении моем, такой рев закатила — не приведи господь. У меня с души будто студеной ветер отхлынул: жалко парня, хотя и губошлеп, а пулям не кланяется. Предупредил только: ежели ишо повторится такое-этакое — из собственного нагана расстреляю...

Разговор заметался, словно костер на ветру: они размышляли о героизме, страхе, воинском долге, воинской чести.

— Вы испытывали страх, Михаил Васильевич? — спрашивал Фурманов.

— Не верь хвастунам, что никогда не трусят. Страх — опасный противник и уступок не ведает. Или ты побеждаешь, или он тебя — в ключья. С победы над страхом начинается человек. Вон Иосиф Гамбург из Уральска пишет, что поначалу побаивался комбрига Плясункова...

— У Плясункова револьвер всегда под рукой... — заметил Чапаев.

— Я имел честь с ним познакомиться. Храбрец и герой, но сорвиголова, каких мало, — согласился Фрунзе.

— Один на пятерых с пашкой может кинуться. Да что может — кидался, — подхватил Чапаев.

— А теперь представьте Иосифа Гамбурга: деликатный, поэтичный, интеллигентный, грубого слова не скажет. И вот получает

Гамбург телеграмму: «Приказываю сегодня отгрузить миллион патронов. Случае неисполнения будете расстреляны. Плясунков». У Гамбурга такого количества патронов нет, и ответил он телеграммой же: «Посылаю полмиллиона. Сперва сосчитай, потом расстреливай». Примчался к нему Плясунков, нагайкой размахивает: «Ты что надо мной измываешься? Мне полмиллиона сосчитать — пяти лет не хватит, я тебе не интеллигент паршивый, в академиях не учился, но за то, что меня не боишься, уважаю». Теперь такие друзья — водой не разольешь.

— Н-да, — крикнул Чапаев. — Интеллиген мужика вокруг пальца завсегда обведет.

Майская ночь пахла сиренью, дышала волжской мягкой прохладой. Фурманову казались невероятными тишина и покой. Вот перед ним двое: Фрунзе — человек, рожденный для борьбы, Чапаев — человек, уже ставший легендой. А какие они разные и неожиданные! Захотелось писать, но разве возможны лирические слова, когда земля истекает кровью! «Если доживу до мирного времени, сумею ли написать что-нибудь путное об образованном человеке и полуграмотном мужике, устремленных к одной и той же цели?»

— Довольны своим комиссаром, Василий Иванович? — услышал Фурманов и насторожился.

— Ежели от всей души — то конечно. Мужик он башковитый, да и в бою не зеленеет, но ежели обратно — то, конечно...

— А ты, Дмитрий, начдивом — как?

— Претензий к Василию Ивановичу нет, — коротко ответил Фурманов.

— Я его нахваляю, а он ко мне «претензией не имеет»... Хорош друг-приятель! — рассердился Чапаев.

Фрунзе взял с подоконника папку, нашел бумагу и прочел вслух, не сдерживая искорок смеха в глазах:

— «Будничные люди не могут простить плотнику Чапаю его грубости, его дерзости и смелости решительно во всем — будь тут командующий и раскомандующий. Они не знают, не видят того,

как Чапай не спит ночи напролет, как он мучается за каждую мелочь, как он любит свое дело и горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность, поэтому он дорог мне бесконечно...» Ну как, Василий Иванович, нравится отзыв комиссара о тебе? Кто кого обводит вокруг пальца?

— Все равно — он меня. Я так написать не сумею...

— Так чего же вы ссоритесь, зачем нелепыми телеграммами меня гвоздите? Уфу надо брать, Колчака добивать надо, а вы чуть не на дуэль друг друга. Эх, вояки, вояки...

Они распрощались с радушными хозяевами и ушли в свой номер. Чапаев уснул сразу, Фурманов раскрыл походный дневник.

Он писал, поднимая изредка голову, щурясь на сочный, вишневый свет волжской зари.

Эхо времени

С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую пружинку твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого...

Крепко сжат для удара по Колчаку чугунный кулак Красной Армии. Фронт почувствовал дыханье свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в неожиданной радости. Вокруг и неведомо как перестроились смятенные мысли — полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен...

Фурманов



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Томительное ожидание кончилось.

«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы...»

Эту телеграмму Ленина Реввоенсовет Восточного фронта немедленно передал Фрунзе. И еще сообщили ему — Каменев восстановлен на посту командующего фронтом.

Фрунзе отдал приказ о форсировании реки Белой в районе Уфы.

В июньских сумерках река стала густой, вязкой, черной. Над водой склонялись сонные березы, зеленые облака ракитника постепенно меркли, от луговых трав шел терпкий, согревающий сердце запах.

Темнел в тумане обрывистый противоположный берег: там погружалась во мрак Уфа. Громада железнодорожного моста через Белую таяла на глазах Фурманова и как бы отсекала город. И была во всем странная, непонятная тишина.

Фурманов знал, что не может быть абсолютной тишины от десятков тысяч людей, животных, орудий, пулеметов на обоих берегах реки, и поэтому она давила на уши, от нее тяжелели веки, тревога пульсировала в крови.

«Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву въехать в Москву — две клятвы скрестились на уфимской горе. Чья клятва сбудется?» — думал Фурманов, представляя на мгновение командарма у военной карты, одетой в цветной узор флажков. «Тонкой палочкой он бродит по степным балкам, речкам, переправам, проселкам, все приближаясь к кружку со словом «Уфа», в котором теперь решится судьба революции. Здесь не жизнь человеческая — сама Советская Россия повисла на волоске...»

Колчак пока безраздельный хозяин уфимского берега.

Сорок шесть тысяч его солдат расположились на восточном берегу, более ста тяжелых орудий уставились своими жерлами против красных, семьсот пулеметов готовы были обрушить смертоносный огонь, и прежде всего по переправам.

А на западном берегу, в березовых рощах, оврагах, высоких травах, замерли, затаились чапаевцы. Бросок через реку начнется перед рассветом у деревушки Красный Яр, около железнодорож-

ного моста. Два дня, две ночи чапаевцы вязали плоты, собирали бревна, доски, бочки, строили лодки.

Фурманов вернулся в избу, где разместился дивизионный штаб.

Чапаев спал, сидя в красном углу, скрестив на груди руки; на тонком лице — каменная тяжесть усталости. Стараясь не разбудить начдива, Фурманов сел на лавку под квадратом светлеющего окна.

«По узким тропам, бродом через речки, в дождь, в грязь, по утренней росе, в вечерних туманах шли мы сюда, неудержимые, терпеливые, гордые, голодные, но страшные в своем натиске. Сражались героями, умирали как красные рыцари, мучениками гибли под пыткой. Будут новые моменты, и прекрасные, и глубокие содержанием, но это уже будет другое, — размышлял он, по привычке ощупывая карман, в котором неотлучно хранился походный дневник. — Это следовало бы записать, пригодится на будущее. Если не я, то кто же запечатлеет движущееся время истории? Кто оставит свидетельства героизма, сверхъестественную деятельность народных вождей революции? Кто кроме меня — свидетеля, участника этих событий? Но не переоценивай своего значения, Дмитрий Андреевич, есть и другие...»

— Почему не спишь, комиссар? — раздался голос Чапаева.

— Не могу в такую ночь...

— А ты через не могу. Денек-то будет жаркий, а силенок не прибавится. Я чуток вздремнул, но, кажись, светает.

Скрипнула дверь соседней горенки, на пороге показался Фрунзе.

— Сквозь сон услышал ваши голоса и вскочил. — Фрунзе глянул на молочный туман, заливший реку, одернул гимнастерку. — Пора начинать, Василий Иванович...

Командующий, начдив, комиссар вышли на росное крыльцо, речная прохлада смыла с лиц незримые паутинки сна. Теперь от их действий зависит жизнь и смерть, и порыв, и успех, и победа. Они не думали о собственной безопасности, воинской славе, историч-

ности времени; было только одно дело, было одно желание — быстрее переправиться через Белую.

— Командуй, Василий Иванович! — приказал командующий.

И все пришло в движение. К плотам и лодкам первыми кинулись добровольцы Иваново-вознесенского полка, за ними разинцы, пугачевцы, отчалили буксиры с броневиками и пушками. Туман скрывал людей, лошадей, орудия, и только всплески весел, только урчание воды да мерное постукивание паровых плиц доносились с реки.

Фурманов прыгнул на зыбкий плот, вскинул левой рукой винтовку, зажал правой обломанную доску и стал помогать бойцам. «Только бы не заметили и не открыли пальбу...» — стучало в его голове.

Жидкие пятна зари заиграли на крестах и куполах уфимских церквей, ночные тени отползали к обрывам, распадались плотные завесы тумана. С крутых обрывов сверкнули дикие молнии, ахнули орудийные раскаты, вздыбились над рекой водяные смерчи. Красные батареи ответили сразу — Фурманов услышал вой пролетающих над головой снарядов. В двух шагах вспыхнула водяная воронка. Плот отшвырнуло, Фурманов сорвался в реку, но тут же нащупал ногами песчаное дно. Не выпуская из рук винтовку, выбрался на отмель. Всюду, куда доставал взгляд его, мелькали иваново-вознесенцы. Именно их поставил Фрунзе на пути главного удара; на мужество и бесстрашие их рассчитывал он, а командиром иваново-вознесенцев назначил Фурманова. Если сейчас Фурманову хотелось оправдать чье-либо доверие, быть значительным в чьих-либо глазах, то таким человеком являлся командующий.

Фурманов собрал свои батальоны и немедленно повел в атаку. Сколько раз под Бугурусланом, под Белебеем кидался он в атаки и всегда удивлялся странной кратковременности их. В огне, дыму, грохоте, треске, в криках атакующих он не замечал летящих мгновений.

Сейчас он тоже бежал впереди, с винтовкой наперевес, спотыкался, падал, опять поднимался, видел дымные картины боя и тут же забывал их.

Уже давно припекало солнце, но все так же кипела лихорадка боя. Противник, выбитый из окопов, отступал; казалось, еще усилие — и чапаевцы ворвутся в город, и вдруг стала смолкать винтовочная стрельба, начали пятиться бойцы к песчаным отмелям.

Произошло непредвиденное: чапаевцы расстреляли все патроны и теперь сдавали завоеванные позиции. Четыре часа продолжалось сражение.

— Ни шагу назад! Нет обратного хода через реку! Ложись, окапывайся, жди команды! — надрывался Фурманов.

Колчаковцы заметили растерянность красных и перешли в контратаку. Над чапаевцами появились самолеты, тяжеловесные, неуклюжие, они шли на бреющем полете, бомбя залегших, и нечем было отогнать смертоносную стаю.

Колчаковцы развертывались в цепи, безнаказанно надвигались на чапаевцев.

— Принять в штыки! — скомандовал Фурманов и тут заметил группу всадников, галопом мчавшихся к ним.

Всадники спрыгнули со взмыленных лошадей, и Фрунзе, поднимая наган, прокричал громко, властно:

— За мной, в атаку!..

Между цепями от бойца к бойцу полетело электрической искрой знакомое всем, бодрящее имя:

— Фрунзе, Фрунзе!..

Те, что видели, но не слышали, и те, что слышали, но не видели командующего, ощутили небывалый подъем, словно до победы рукой подать, словно до этого мгновения не было человека, верящего в нее.

Теперь такой человек появился! Он знает — победа близка, он зовет к ней и нет больше сомнений. По берегу уже мчатся повозки

с патронами, уже жадные руки хватают обоймы, загоняют их в затворы.

В едином порыве кинулись чапаевцы за командующим, увлекающим их в штыковую атаку, и такой необычной была сила удара, что приостановились, смешались, закружились на месте вражеские цепи и — побежали.

Перелом свершился. Воодушевленные успехом, воины продолжали продвигаться вперед. Фрунзе оставил передние цепи, чтобы вернуться на переправу, перед Фурмановым промелькнуло только его возбужденное боем, раскрасневшееся лицо.

Самолет появился внезапно, словно ястреб, подстерегавший добычу. Две бомбы швырнул он на группу всадников; Фрунзе выбило из седла, отбросило в сторону, дончак забился в смертельных судорогах. Ординарцы кинулись к командующему, помогли подняться.

Чапаев приказал отогнать артиллерией самолеты, но летчики только поднялись выше и продолжали кружиться над рекой.

Все утро Чапаев руководил переправой, ничто не ускользало от его внимания. Каждые десять минут он связывался с командирами полков, отдавал короткие распоряжения, расспрашивал, что творится в стане противника, и немедленно принимал меры: подбрасывал свежие подкрепления, заменял выбывших из боя командиров. Только перед вражескими самолетами был он бессилен — не мог бросить им навстречу красных летчиков.

Казалось, судьба охраняла его от всех случайностей боя. Яростная, вдохновенная деятельность Чапаева обеспечивала успех наступления: стремительно перекидывались полки с левобережья и с ходу шли в атаку, великолепно работала полевая связь, ординарцы мчались с новыми и новыми приказами Чапаева — энергия, быстрота, верность решений становились его оружием. Чапаева все интересовало, все тревожило, талант военачальника проявлялся в нем в эти минуты с необыкновенной силой, интуиция действовала безотказно.

Шальная пуля попала Чапаеву в голову. Он упал. Его отнесли в кусты, врач пытался достать застрявшую в черепной кости пулю. С первого раза не вышло. Чапаев стиснул зубы, скривился от боли, но не вскрикнул, не застонал. Только на шестой раз удалось удалить пулю, но он и раненный не хотел покидать командный пост, и Фурманов насильно отправил его в полевой госпиталь.

Командование дивизией принял Иван Кутяков.

Победа под Уфой открыла путь на Южный Урал и в Сибирь.

Победа создавала условия для перехода в наступление по всему Восточному фронту, и Фрунзе с особенной ясностью понимал новую, благоприятную ситуацию.

Огромны потери у Колчака, в армиях его уныние, по тылам действуют партизаны, население с ненавистью относится к режиму виселиц и шомполов и при любом удобном случае помогает красным.

Но еще крепок «верховный правитель» России, еще поддерживают его союзные державы, еще владеет Пермью Сибирская армия, еще есть в Западной армии Ханжина тридцать тысяч бойцов, и он перестраивает свои полки, оправляясь после поражения. И еще в запасе у адмирала вновь пополненный резервный корпус Каппеля, расположенный по железной дороге между Уфой и Златоустом, и группа Войцеховского, прикрывающая Уфимское плоскогорье.

Змеится еще черная линия колчаковского фронта параллельно красной черте от Соликамска до Уральска, пересекая тысячи верст степей.

В районе Оренбурга упорно дерутся с фрунзенскими войсками армия генерала Белова и казаки атамана Дутова, и в железном кольце белоказачьих отрядов Уральск. Там верные адмиралу казаки одержали важные победы и вот-вот захватят Уральск, откроют путь на Саратов, соединятся с Деникиным.

Пока еще силен и грозен Колчак, и колеблются чаши весов истории, а на них — судьба революции. Но странное дело: этого не

понимает, не хочет понимать председатель Реввоенсовета Троцкий. Зато с поразительной ясностью видят это Ленин и Фрунзе.

Вацетис при поддержке Троцкого предложил приостановить наступление, закрепиться на рубеже реки Белой, а значительную часть войск бросить против Деникина. И мотивы весьма убедительные: на юге все опаснее становится генерал Деникин, а Юденич стоит у ворот Петрограда.

— Приостановить наступление — дать Колчаку собраться с силами! — возмутился Фрунзе и обратился за помощью к Ленину.

«Наступление на Урал нельзя ослабить, его надо безусловно усилить, ускорить, подкрепить пополнениями», — телеграфировал Ленин Реввоенсовету Восточного фронта.

Началась подготовка нового наступления. Освободить Екатеринбург и Челябинск, отбросить Колчака в глубь Сибири — главная цель операции. Вторая и Третья армии начнут военные действия с рубежей Камы. Пятая ударит на Златоуст и Челябинск. Здесь главный удар должен нанести юный командарм Михаил Тухачевский.

Между тем из Оренбурга и Уральска приходили тревожные вести.

Армия генерала Белова и атаман Дутов угрожали Оренбургу, белоказачье войско генерала Толстова осадило Уральск. В городе голод, иссякли боеприпасы, снова зашевелились контрреволюционеры. Четвертая армия, подавляя заговоры и мятежи, держала круговую оборону с мужеством отчаяния.

Фрунзе решил послать на помощь уральцам чапаевскую дивизию.

В тот же день чапаевцы по ковыльным степям форсированным маршем пошли к осажденному Уральску.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Особый отряд полковника Андерса расположился в станице Соболевской на берегу Урала.

Дутов берег отряд Андерса как резерв и не пускал в дело под Оренбургом. Атаман с часу на час ожидал, что генерал Толстов возьмет Уральск и откроет заветный путь на соединение с Деникиным, но шел пятидесятый день осады, а 4-я армия, запертая в городке, не сдавалась. Отчаянное сопротивление красных путало все планы не только Дутова, но и командующего группой войск генерала Белова, и самого Колчака. «Верховный правитель», требуя покончить с Оренбургом и Уральском, грозил обрушить на Дутова свой гнев, но потом, желая воодушевить, произвел его в генералы.

Разведка донесла Дутову о чапаевской дивизии, идущей на помощь Уральску. Атаман, как свои пять пальцев знавший степь между Бузулуком и Уральском, кинулся к Белову.

— Наконец-то, наконец нам представился случай поймать за хвост Чапаева, — захлебываясь словами, говорил Дутов. — Его путь из Бузулука до реки Урал лежит по ковыльным степям, сейчас трава выше пояса, жарынь так подсушила, кинь сигарку — изойдет пожарами. Мы чапаевцев, как сусликов, заживо изжарим, а ежели кто прорвется к реке, на тех устроим засаду. А для засады самое славное место — станица Соболевская. Чапаеву ее миновать невозможно. Пожаром начнем — мясорубкой кончим. — Дутов потер шершавые, сильные ладони с удовольствием человека, обдумавшего сногшибательное дело.

Белов колебался: не хотелось дробить силы, не желалось лишнего завитка в военной славе атамана.

Тогда Дутов пустил в ход решающий козырь:

— Не нужно оттягивать силы из-под Оренбурга, я направляю из своего резерва отряд полковника Андерса. Лихие казаки, бесстрашные офицеры сметут в Урал чапаевскую шайку...

И генерал Белов согласился. Он придал Особому отряду несколько броневиков, и Андерс форсированным маршем намного раньше Чапаева вошел в Соболевскую. Уже четвертый день стоял он в Соболевской, строго храня тайну местонахождения. Из станицы никто не смел выходить даже по самонужнейшему делу, всюду сторожили пикеты, разъезжали конные патрули. Разведчики дежу-

рили в степи, пулеметчики не покидали замаскированных броневиков.

Андерс и Казанашвили заняли под свой штаб дом дьякона. Сам хозяин сидел в подвале арестованный: сын его дезертировал из белой армии и бежал в осажденный Уральск.

В последнее время Казанашвили жил в каком-то опьянении опасной силой власти. Давно замечено: только честные люди не используют власть в личных целях, но Казанашвили не принадлежал к таким людям. Нравственность он считал буржуазным предрассудком, ненависть — необходимостью для своего самоутверждения и любил говорить, что душа его — выжженная пустыня, в ней нет места жалости.

Казанашвили посмотрел на пламенеющий закатом Урал. Над рекой мела седая метелица: сотни бабочек, приплясывая, падали в воду, рыбы жадно хватали добычу. Над степью толпились грозовые тучи, прошиваемые лиловыми молниями, но грома не было слышно.

«Гроза пройдет стороной», — решил Казанашвили, любуясь двустворчатой радугой; из нее, как из многоцветной арки, текли высокие ковыли. «Может быть, сейчас где-то за горизонтом скачут к радужной арке всадники Чапаева, не подозревая о нашей засаде, — удовлетворенно подумал Несо. — Только бы не предупредил их какой-нибудь сукин сын!»

При этой мысли он вспомнил прапорщика, бежавшего в Уральск, и отца его, дьякона, сидевшего в подвале собственного дома.

— Надо выбить из старого сыча что-нибудь важное. — Казанашвили одернул черкеску, вернулся в дом, приказал привести дьякона. Сам сел в красный угол, под запыленными иконами. Часовой ввел в комнату седого старика в разорванной рясе. В растрепанные волосы набилась труха, на скулах синели кровоподтеки.

— Как, отец, будешь давать показания? — строго спросил Казанашвили.

— Не ведаю, куда скрылся сын мой, — прохрипел дьякон, при-
слонясь к бревенчатой стене.

— Не ведаешь?! Большевикам проданся, красным шпионом
стал, подлец! Буду бить, пока не признаешься. — Казанашвили
вскочил, подступил к арестованному.

— Сея семена ненависти, не соберешь урожая добра, — про-
бормотал дьякон.

— А мне и не нужен урожай добра. Почему сынок бежал к
красным?

— Ничего я не ведаю, а ежели бы и знал, не предал бы сына,
как Иуда Искарот бога...

— Иуде Искароту нужно монумент воздвигнуть, как первому
анархисту земли. В Москве, на Красной площади... — Казанашви-
ли скрутил сигарку, закурил. Пустил едкое сизое колечко в лицо
дьякону. — Твой Христос был потрясателем государственных ос-
нов. Он хуже, чем Иуда. Впрочем, черт знает, может, он и был все-
таки богом... Как по-твоему — был богом?

— А ведь вы его убили, бога-то моего, — прошептал дьякон. —
Иуда его предал, Понтий Пилат распял, но он две тысячи лет вос-
кресал и учил любви к ближнему своему. И вот вы снова его рас-
пяли, да не просто на кресте, а в сердцах человеческих.

— Философствуешь, долгогривый пес! — Казанашвили ткнул
горящей сигаркой в лоб дьякону, тот отшатнулся, закрыл ладонью
глаза. — Тебя самого распять надо, да не стоишь креста... Повешу
на твоих же воротах!

Скрипнула дверь, в комнату вошел Андерс.

— Не признаётся? — спросил он душевно.

— Я из него еще масло не жал.

— Простите, батюшка, но время такое поганое — родную мать
прирежешь. Ступайте домой с миром, и хранит вас господь.

Дьякон не шевелился.

— Идите же! — повысил голос Андерс.

Дьякон, пятясь, распахнул задом дверь, вылетел из комнаты.

— Что это значит, Лаврентий? — ошеломленно спросил Казанавили.

— Ничего особенного. Дьяконов-то сын, оказывается, наш лазутчик, только что вернулся из Уральска. Я уже побеседовал с ним: чапаевцы в двух переходах от Соболевской. Вот я и проявил великодушие; нам предстоят дела посерьезнее, чем возня с каким-то дьяконом...

Степь полыхала от горизонта до горизонта; клубящаяся стена дыма, прошиваемая багровыми языками огня, шла навстречу чапаевцам. С сухим, злобным треском горели ковыли, в горячем воздухе крутился черный пепел, суслики бежали перед огнем, перепела, не успевшие взлететь, корчились в предсмертных судорогах.

— Огонь на огонь! — приказал Чапаев. — Поджигать траву во встречь! Наше счастье, что ветра нет. Ежели бы ветер в лицо... Да что там калякать, пали!..

Вскочив в седло, он помчался от батальона к батальону, размахивая плетью, прикрикивая на бойцов; Фурманов не успевал за ним. От едкого дыма перехватывало дыхание, пепел набивался в ноздри, полынная горечь тлела на воспаленных губах.

Фурманов видел, как в разных местах степи появлялись полотнища пламени и сливались, вырастали во встречную, бегущую вперед стену дыма. Две стены столкнулись, взвились в утреннее небо и начали распадаться. Зеленый мир изменился мгновенно. Степь оделась в траур: бойцы и лошади почернели. Всех мучила жажда.

К Фурманову подлетел Чапаев, осадил коня, выдохнул возбужденно:

— Не робей, комиссар! Бог не выдаст — свинья не съест! Пушу как можно дальше разведку, чтоб разузнала, где нас казачки поджидают. Оберегай правый фланг, я проскочу на левый. Дай глоток водицы, горло пересохло.

— Ни капли, Василий Иванович.

Чапаев рукавом гимнастерки отер лицо.

— Огонь — беда, вода — беда, но нет хуже беды, коли ни огня, ни воды...

Чапаевские полки продолжали путь под ослепительным солнцем. В полдень появились казачьи разъезды, они мельтешили в знойном мареве, но не приближались. На горизонте расплзались пылевые тучи, и Чапаев приказал выдвинуть вперед орудия, готовить к бою пулеметы.

— Пылища-то неспроста. Ее беляки подняли. Прут против нас, скоро увидимся, — говорил он.

Степь, скорбно подрагивая и трепеща, наполнялась ревом моторов.

— Броневики, — определил Фурманов, вскинув бинокль.

С обоих флангов их обходили казачьи эскадроны, на центр надвигались бронемашины. Маневр Андерса был простым, но чрезвычайно опасным, и Фурманов воздал должное полковнику.

— Рассчитывают огнем броневиков устроить нас, а когда попытаемся — бросить конницу с обоих флангов. Рассчитывают на психологический эффект, — сказал он самому себе. — Ну да чапаевцев психологией не запугаешь, под Уфой ее испытали!

Броневики приближались.

— Ложись! — скомандовал Фурманов. — Ложись, пропускай в тыл машины! — повторял он команду, с радостью слыша, как полетели слова его по цепям, и видя мгновенно падающих в черный пепел чапаевцев.

Бронированные машины проскочили через цепи, но не успели развернуться — чапаевцы отрезали от них конницу пулеметным огнем. Казаки умчались, не смея атаковать, броневики поспешно ушли.

— Не получилось эффекта, — с наслаждением заметил Фурманов. — Потерь у нас нет и, слава богу, страха нет.

Прискакал Чапаев и, узнав, как ловко иванововознесенцы ликвидировали опасность, во весь голос, чтобы слышали все, похвалил Фурманова:

— Комиссар у меня — не пень еловый! Награда за мной!

Пришпорив лошадь, он умчался в бригаду Ивана Кутикова — узнать обстановку, ободрить, похвалить, обругать, наказать, если потребуется.

Вечером следующего дня Чапаев разгромил на берегу Урала отборные батальоны полковника Андерса и освободил станицу Соболевскую. Андерс, собрав рассеявшиеся по степи части, отступил.

— Я так надеялся на вашу победу под Соболевской, а вы не проявили воли к победе. Не могли сжечь измученных переходами лапотников. Стыдно, полковник! — выговаривал Андерсу командир корпуса, старый царский генерал.

— Степные пожары — палка о двух концах, но вам представляется счастливый случай покончить с Чапаевым, — ядовито сказал Андерс.

В последнее время его томило предчувствие новых неудач: все получается не так, как хочется, рушатся самые смелые замыслы, растерянность сменилась страхом поражения, а поражение — самый верный путь к панике. С невероятными усилиями ему удалось собрать разбежавшихся солдат и офицеров, но многих недоставало. Одни погибли под чапаевскими саблями, другие перебежали к красным, третьи скрылись в безводной степи. Смерть, измена, трудность разваливают Особый отряд, и то же самое творится в конном корпусе.

Андерс посмотрел на генерала: тусклое, невыразительное лицо, ни вдохновения, ни мысли, ни эмоции. «Я знал Корнилова, Краснова, Керенского, Колчака. Кто-то из них обладает храбростью, кто-то — умом, а этот? Чурка с глазами... Когда пьян, его рвет военными секретами».

В окне хаты темнело степное небо со спелыми июльскими звездами, скверно пахло конским навозом, тлением неубранных мертвецов.

В комнату вошел Казанашвили.

— Тебе чего? — сонно спросил генерал.

— Мародера поймал. С убитых офицеров снимал часы и кольца.

Сонная одурь сошла с физиономии генерала, встрепенулся и Андерс. У обоих сразу появилось желание сорвать на ком-нибудь зло.

— Где он, твой мародер?

Казанашвили распахнул дверь, часовой ввел казака.

— Ты обкрадывал мертвых? — гневно спросил генерал. Казанашвили толкнул в спину казака.

— Покажи украденное, — приказал он.

Казак вынул из-за пазухи три золотых кольца, пару серебряных карманных часов — они мелко задрожали на растопыренных его пальцах. Казанашвили взял часы и кольца, швырнул на стол.

— Нэгодяй! Мошенник! Стрелять, только стрелять! — расสวิрепел он.

— Как ты мог решиться! Ты же кощунствовал над своими защитниками, мерзавец! — ругался Андерс.

— Почему другим можно, а мне нельзя? Вот они... — показал казак на Казанашвили, — вот их благородие в Оренбурге зорили богатых казачков, я сам видел. Им можно, а мне нельзя? — повторил казак.

— Мародер в преступлении сознался. Прикажете расстрелять? — всем видом выражая готовность, спросил Казанашвили.

— Мародеров не расстреливают — мародеров вешают, — назидательно ответил генерал. — Повесить утром перед строем его сотни! Кто еще есть в контрразведке?

— Чапаевский шпион. Поймали в прибрежных кустах на Урале.

— Выведывал наши тайны, теперь выдает чапаевские?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Приведи его, хочу взглянуть.

Казанашвили ушел, подталкивая в плечо сникшего мародера.

Андерс с несвойственной ему меланхолией произнес:

— Пусть погибнет мир, но свершится правосудие...

— Какое там правосудие, полковник... Я бы и Казанашвили повесил вместе с мародером, он ведь тоже мародер, только покрупнее, — отозвался генерал, и щеки его подернулись зеленоватой бледностью.

Вернулся Казанашвили с пленником, молодым краснощеким парнем в разорванной, окровавленной тельняшке, обтрепанных штанах, босым. Из-под шапки выгоревших русских волос смотрели влажные синие глаза.

— Откуда родом, братец? — ласково спросил генерал.

— Волгарь я, из-под Саратова.

— С немцами воевал?

— Два георгиевских креста за пять немецких ран.

— Да ты просто герой! Покажи-ка свои раны.

Матрос повернулся багровой исполосованной спиной, и рыдания сотрясли его мускулистое тело.

— Ты что же расплакался, братец? Неужто из страха, что расстреляем?

— Нет, — сдавленно ответил матрос.

— Тогда от раскаяния, может?

— От обиды. Захватили меня казаки, привели вот к нему, — матрос повернулся к Казанашвили, — а он спрашивает: «Шпион?» — «Красный разведчик», — отвечаю.

— Так сразу и признался? А еще георгиевский кавалер, — мягко упрекнул генерал.

— Так вы же все равно расстреляете. Мне теперь и господь бог не поможет...

— Это верно, бог всегда в стороне. Пошел, значит, ты по шерсть и сам оказался остриженным. И от такой-то обиды заплакал?

Матрос отрывисто закашлял, вытер ладонью рот.

— От иной. Говорит вот он, — матрос снова показал на Казанашвили. — «Снимай, — говорит, — тельняшку, бить будем». — «По немецким ранам, что получил за Россию, лупить будешь? Бей

лучше в рыло, а раны не оскверняй». А он в ответ: «По ним и бить стану, чтоб больше было!»

— Да, такое слушать обидно, — добродушно согласился генерал. — Но обиды забываются, братец, а я воздам тебе должное и за твою храбрость, и за твои святые раны. Расскажи, сколько у Чапаева орудий, пулеметов, о нем самом что знаешь?

— Это можно. Это пожалуйста. Пушек-пулеметов у Чапая как песка на Волге, а попадетесь к нему в лапы — одним сабельным ударом из вас двух генералов сотворит, — в нахальной усмешке расплылся матрос.

— Ты, я вижу, шутник, — отбросив ласковый тон, сказал генерал. — Будешь записаться — повешу вниз головой.

— Всех не перевешаешь, я и мертвый буду жить.

— Идиот! Мертвые живы, пока их помнят живые.

— Осерчал генерал на солдата зря. Забыл, видно, что солдаты — миллионы, царских генералов — всего ничего осталось. Повырбили мы одних, выгнали из России других, очередь ваша...

— Нет, пока что очередь твоя! — уже не сдерживая ярости, крикнул генерал. — Убрать его, Казанашвили...

Андерс и генерал стояли в напряженных позах, прислушиваясь к ночной тишине, ожидая короткого выстрела.

— А все же он молодец, — сказал Андерс, вздрогнув от пистолетного звука за окном.

Чапаев спешил на помощь осажденному Уральску.

По зеленой цветущей пойме Урала чапаевцы ежедневно совершали пятидесятиверстные переходы, несмотря на частые стычки с отрядами белоказаков.

Одиннадцатого июля под стенами Уральска произошло решающее сражение; оно продолжалось весь день и закончилось победой Чапаева. Белоказаки отступили вниз по реке, к неизвестному степному Лбищенску.

Жители Уральска встретили Чапаева как освободителя: в честь его гремели оркестры, трезвонили колокола, улицы расцвелись

флагами. Люди обнимали друг друга, целовались, плакали от радости, всюду возникали стихийные митинги, ораторам не хватало слов для выражения своих чувств.

Несколько дней продолжались торжества. Чапаев выступал с речами, насыщая их энергичными шутками, пословицами и поговорками. После каждого такого митинга Фурманов записывал в блокнот свои впечатления о Чапаеве, о чапаевцах, мысли о великой грозе над Россией. Записывал и думал, что пора готовиться к новому походу, уже на Лбищенск, что страшен будет путь по солончаковой пустыне, по ржавым, заметающим все следы пескам.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Удар, нанесенный Фрунзе войскам адмирала под Уфой, настолько искусен, а результаты так велики, что даже если он больше ничего не совершит, за ним останется слава замечательного полководца, — говорил Новицкий, выделяя и подчеркивая последние слова. — Видно, выдающимися военачальниками рождаются, как и поэтами. Никакие военные академии не сделают из бездарности таланта.

— Зато они шлифуют талант, — возразил Куйбышев. — Но Фрунзе — исключение, его талант шлифует революция. Он применяет новые методы в руководстве войсками. У него свой, фрунзенский если хотите, почерк. Спросите какой? По-моему, почерк Фрунзе выражается в понимании конкретных обстоятельств на территории боевых действий, в политической работе среди бойцов и населения. Политическая пропаганда — грозное оружие в руках пролетарского полководца. Именно пролетарского, — подчеркнул Куйбышев. — А Фрунзе воплощает в себе дух и суть революции. Еще могу сказать: особенностью Фрунзе являются и активный маневр, и решительное наступление. Наступление в условиях гражданской войны — душа победы. Разумеется, если наступление хорошо продумано и подготовлено с учетом всех случайностей.

— В бою невозможно предугадать все случайности. Никакой Наполеон не может знать, что думает и делает противник в момент боя, — возразил Новицкий.

— Ладно сказано. Откинем категорическое «все», но использовать случай для победы — не в этом ли военное мастерство? Я еще не закончил портрет полководца нового стиля. Фрунзе тесно связан не только с командирами и комиссарами, но и с бойцами. Командующий группой армий лично проверяет выполнение своих приказов, терпеливо разъясняет бойцам замыслы и особенности разработанных им операций. Это ведь не свойственно царским генералам.

Новицкий слушал, наклонив голову, пристукивая карандашом по столешнице. Он, прекрасно знавший нравы царских генералов, никак еще не мог понять до конца взаимоотношения между Куйбышевым и Фрунзе. «Политическая агитация и ее успехи — заслуга самого Куйбышева, он же приписывает ее Фрунзе, а Фрунзе говорит: без советов Куйбышева его военные операции — птицы без крыльев. Ни зависти у них друг к другу, ни жажды личной славы. Все успехи, все победы они приписывают своей партии. Фрунзе недавно сказал, что он счастлив быть большевиком, и я верю, потому что давно не встречал такого искреннего человека. Вот уже полгода работаю с ним бок о бок и вижу его — доступного, приветливого, скромного, несмотря на величие той роли, которую он призван играть волею русской истории».

— Всего месяц прошел, как Фрунзе стал командующим, а как изменилось положение на Восточном фронте! — опять заговорил Новицкий. — Вторая армия освободила Екатеринбург, Тухачевский развернулся во весь размах своего блестящего дарования. Пятая армия под его руководством овладела Златоустом и Челябинском. Третья штурмом взяла Троицк. Теперь колчаковские войска разорваны на две неравные части. Главные силы адмирала уходят на восток, думаю, что скоро и сам он покинет свою столицу.

— Фрунзе нанес решающий удар по Колчаку, колчаковщину надо еще добивать на сибирских просторах. Теперь у нас два стра-

тегических направления: сибирское и туркестанское, причем последнее стало важнее. Недаром же Реввоенсовет республики срочно вызвал Михаила Васильевича в Москву. Не сегодня завтра мы узнаем, куда собираться — в Сибирь или в Туркестан, — заключил Куйбышев.

— У меня к вам просьба. Не передавайте Михаилу Васильевичу моих восторженных слов о нем, — попросил Новицкий.

— Стыдитесь похвалить?

— Он может подумать, что я подхалим. Этого я стыжусь.

— Сколько в вас еще условностей, Федор Федорович! Пора отбросить их в наше суровое время.

— Для меня время — песчаная струя, утекающая сквозь пальцы.

— Ну нет, нет! Время — это подвижный образ вечности. Все значительное, все новое, что совершили творцы революции, будет всегда живым для поколений. Призывом к действию и совершенству людскому останется наше время.

Вернулся из Москвы Фрунзе и сразу же пригласил к себе Куйбышева, Новицкого, Батурина. Они явились в нетерпеливом ожидании новостей. Фрунзе, оживленный, веселый, с обычным радушием встретил друзей.

Софья Алексеевна угостила всех стерляжьей ухой, мясными пирожками, на сладкое подала заревые ломти знаменитого камышинского арбуза. Михаил Васильевич раскупорил бутылку «Голубой ленты».

— Трофейный коньячок! Из личного погреба его превосходительства генерала Ханжина, — похвастался он.

В гостинном трюмо запуталось солнце, его бесшумные зайчики играли на стенах, в раскрытых окнах легкими парусами раздувались занавески, но Куйбышев, Новицкий, Батурин, не замечая милых светлых мелочей августовского дня, ждали, когда Фрунзе начнет рассказывать о поездке в Москву.

Первым не вытерпел Куйбышев.

— Не томи, Михаил Васильевич. Выкладывай новости, — умоляюще попросил он.

— Соня, угощай их зеленым чаем по-киргизски, — обернулся к жене Михаил Васильевич, — подай баурсаки, а скоро я научу их варить бесбармак и пить кумыс из бараньих бурдюков. Пора и русским людям переходить на пищу детей Востока. — Он по-мальчишески погладил щеки и подбородок, обросшие бородой. — Советую всем отрастить бороды, чем длиннее — тем лучше. На Востоке борода — признак мудрости...

— Так, значит, едем в Туркестан! — воскликнул Батурин.

— Мы — да, ты — нет. Для адъютанта особых поручений при командующем есть новое задание. Но об этом позже, Павел... — Фрунзе отставил рюмку с недопитым коньяком. — Друзья мои! — сказал с особой торжественностью. — Реввоенсовет республики разделил фронт на Туркестанский и Восточный. В Туркестанский входят Первая и Четвертая армии и все войска, находящиеся в Туркестане. Кроме того, командованию Туркестанского фронта подчинена Одиннадцатая армия, действующая в районе Астрахани. Командующим назначили меня. Так вот, друзья мои, добывать Колчака и его союзников поручено Пятой армии Тухачевского, а нам — собираться в дальнюю дорогу. Надо немедленно отозвать из чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова, из Уральска — Иосифа Гамбурга, они поедут с нами...

— А я? А как же я? — не вытерпел Батурин.

— Ты сменишь Фурманова в дивизии Чапаева. Там нужен комиссар, не уступающий ни в чем Фурманову. Кого же посылать, кроме тебя? Смелости, выдержки, принципиальности тебе не занимать, а Митяй, — Фрунзе по-особенному тепло произнес имя Фурманова, — нужен на новый пост в армии. Вызывайте его немедленно, Федор Федорович, — обратился он к Новицкому. — И Гамбурга не забудьте.

Воцарилось сосредоточенное молчание: каждый думал о новом походе, но каждый — по-своему.

«Бухарский эмир Сеид-Алим готовится к борьбе с Советским Туркестаном, а за его спиной — англичане. Эсеры и меньшевики создали Закаспийское правительство и поддерживают эмира, в Семиречье полыхает восстание баев и местных казаков, теперь там все воюет: богатство, политика, религия; там христианский крест и мусульманский полумесяц, византийская хоругвь и зеленое знамя газавата объединились в ненависти к революции. Сложная обстановка, трудное положение», — думал Куйбышев.

«Между Самарой и Ташкентом пресловутая «туркестанская пробка». За Оренбургом железную дорогу перерезали армии Белова и Дутова. С боем придется вышибать эту пробку, иного выхода нет», — размышлял Новицкий.

«Быть комиссаром у Чапаева — ой нелегко! Сумасброд, грозящий расстрелом своим же товарищам по любому случаю, — это же не шутка. Но этот сумасброд — любимец армии. Я должен увидеть в Чапаеве его положительные черты, а не его бесшабашность», — думал Батурин.

«Куда иголка — туда и нитка. Я не могу оставить Зеленый Листок без присмотра. А в Ташкенте сейчас пропасть винограда, и персиков, и всякой снеди — есть чем кормить Михаила», — размышляла Софья Алексеевна.

И только сам Фрунзе думал о личных делах: живы ли в Верном мать, сестры, брат Константин? Может, схвачены атаманом Анненковым, о котором разведка доносит как об извращенном садисте. В сравнении с ним бешеный пес — милый зверь. При воспоминании о матери он опечалился. Уже шестнадцать лет он не видел ее и не может представить состарившейся. Мать всегда вспоминалась молодой, веселой, ясноглазой, доброй и была его незыскательным нравственным солнцем.

У человека есть дивная способность — легчайшим напряжением воли уноситься к звездам и возвращаться в свое детство.

Его мысль летела во времени и пространстве, на него накатывались зеленые волны яблоневого сада Тянь-Шаня, перед ним мелькали скопления диких тюльпанов заилийской полупустыни, он слышал гортанные вскрики фазанов, видел горных козлов на кручах. В небе кружились орлы, по обрывам проползали пестрые змеи. «Змея достигает вершины ползком, орел — одним взмахом крыла» — в этом народном изречении заключены и правда, и символ.

— Ты что-то загрустил? — спросила Софья Алексеевна, положив руку на его плечо.

— Что ты сказала? — встрепнулся он. — Почему загрустил? Вспомнил маму, Небесные горы вспомнил, и страсть как захотелось повидать родное гнездо.

— Ты родился в Пишпекке, я — в Омске, между нашими гнездами лежит киргизская степь. Степь на тысячи верст, еще недавно пустынная, сегодня вся в крови. В свои родные места приходится пробиваться с наганом в руке, — задумчиво произнес Куйбышев.

Фрунзе разлил остатки коньяка по рюмкам, предложил тост за нового военного комиссара Батурина:

— Павел первым покидает Самару. Он раньше нас снова появится на линии жизни и смерти. Очень жаль расставаться, но ничего не поделаешь. Другого комиссара для чапаевской дивизии нет...

Батурин выпил коньяк, встал. Ответил:

— Приказ командира — закон для солдата. Но приказ боевого друга — не просто закон, а еще и вера в деятельную силу дружбы. Я горжусь, что буду исполнять приказ командующего, дружбу которого считаю самым значительным фактом моей жизни. А с Чапаевым мы столкнемся.

Уже несколько дней Уральск изнуряла жара: из прикаспийских степей дули суховеи, выжигая поля и бахчи. Жухла и осыпалась неубранная пшеница, обмелела река, рыбная молодежь подыхала в гниющем иле. Даже ночью не было спасительной прохлады; люди

укрывались в погребках, со страхом ожидая нового раскаленного дня.

Иосиф Гамбург спал в предбаннике, предварительно полив его стены водой — так легче переносилась парная духота азиатской ночи. Днем, когда было по горло работы, он, как это ни странно, чувствовал себя лучше.

Снабжать целую армию во время ее похода — дело тяжелое, малоблагодарное. Начдивы, комбриги, комиссары просят, умоляют, угрожают начальнику снабжения всеми возможными карами и требуют всегда больше, чем он может дать.

Четвертой армии предстояла операция по уничтожению белоказачьих отрядов генерала Толстова, и главную роль в ней играла чапаевская дивизия. Гамбург обеспечивал ее всем — от патронов до фуража.

«Обеспечить всем» Чапаева означало: вынь да положь не только это, но и то, чего нет и быть не может. Гамбургу же нужно было, отшучиваясь, доказывать Чапаеву неисполнимость его требований.

Лежа на влажной камышовой подстилке, он вспоминал недавнюю встречу с Чапаевым.

— Ты мне дашь все, канцелярская душа! А не дашь — поедешь драться с казаками, посмотрю, какой ты вояка...

Чапаев стоял посередине комнаты, хватистый, красивый даже в несправедливом гневе своем. Было в его тонком лице горделивое сознание своей значимости, пальцы, играющие на серебряном эфесе сабли, как бы предупреждали: «А ну поговори еще, повозражай самому Чапаю!» Несмотря на адову жару, был Чапаев в мерлушковой папахе и кавказской бурке.

— Вы бы хоть бурку сняли, Василь Иванович. С нее же вода капает, — добродушно посоветовал Гамбург.

— И в самом деле сопрел, — Чапаев скинул бурку. — Ну а теперь, чернильная клякса, подавай патроны, снаряды, гимнастерки. Не дашь — вот те крест, пристрелю!

— Не посмеешь, Василь Иванович... Я сейчас же Фрунзе телеграмму отобью. Хочешь отобью? Фрунзе за такое вымогательство по головке не погладит...

— Есть у него время заниматься жалобами какого-то интенданта. Я Чапаев, а ты кто? Тебя Фрунзе знать не знает и знать не захочет.

— Мы с ним старые друзья, Василь Иванович. Еще по сибирской ссылке друзья...

Чапаев крикнул, расправил усы, присел на стул возле Гамбурга.

— Что же ты сразу не сказал? Ежели с Фрунзе в Сибири горевал, то извиняй за глупое слово...

Гамбург смотрел на розовеющее от зари окошко, и было ему легко и спокойно, и казалось, живая сцена встречи поднимается из глубины памяти, как воздушные пузырьки с речного дна.

— Эй, кто в тереме живет? — раздался за окном знакомый голос.

Гамбург опрометью вылетел из предбанника.

— Батурин! Паша! Какими судьбами, дружище? — заахал он, ликуя от неожиданной встречи.

Батурин объяснил причину приезда и добавил:

— Срочно отправляйся в Самару. Это приказ Фрунзе, а я сегодня же в Лбищенск, к Чапаеву.

— Не успели встретиться, и уже расставание...

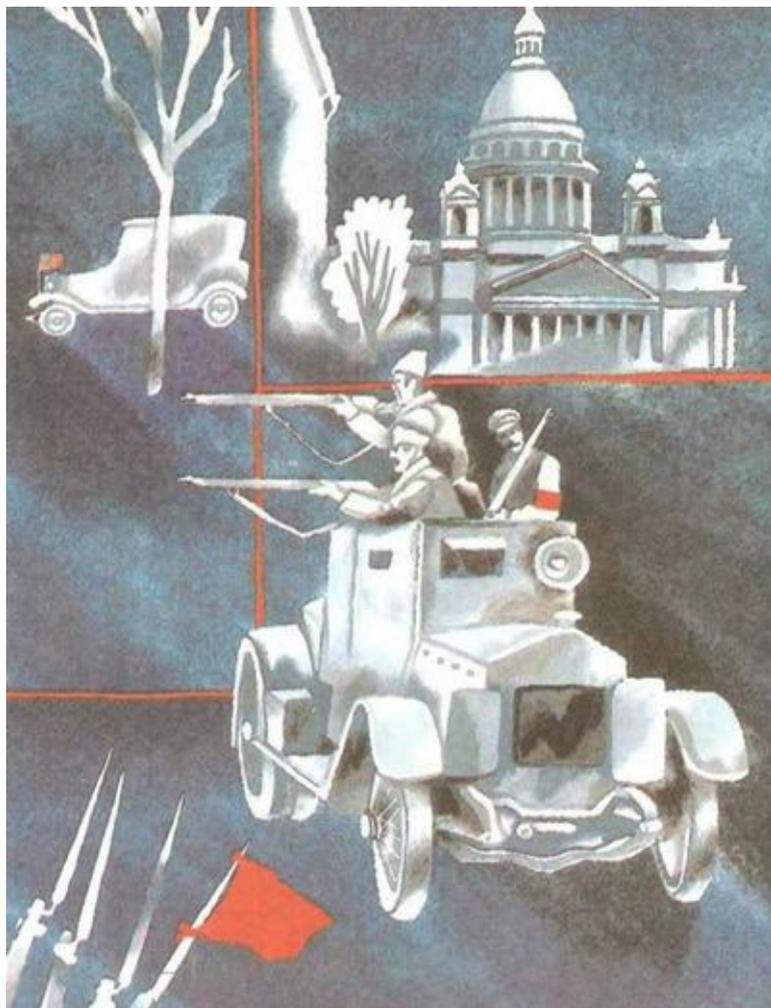
— Такова солдатская судьба. Но пока мы живы, есть встречи в будущем.

— «Мы живы, горит наша алая кровь огнем нерастраченных сил», — продекламировал Гамбург.

Батурин торопился. Через пару часов друзья распрощались. Батурин сел в тарантас, поднял над головой руку.

— Поклон Михаилу Васильевичу! Береги себя, Иосиф!

— Ты тоже безрассудно не лезь под казацкую шашку...



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Туркестанский фронт...

Необозримые просторы его начинались в предгорьях Урала и шли через киргизскую степь в страну Семи Рек, потом вдоль белых

громад Тянь-Шаня, по красным пескам Муюнкумов, по мрачным каракумским пескам, знойными долинами узбеков и туркмен до полынной зелени каспийских вод.

Границы фронта устремлялись к пустынным берегам Каспия, к голому городку Гурьеву, к дельте Волги.

В те легендарные годы бойцы Туркестанского фронта видали весенние, с кручеными молниями и гневными громами, грозы.

И летние песчаные бури, когда они ложились на землю, задыхаясь от пыльной духоты.

И зимние степные бураны, в которых замирает душа от белой ревущей мглы.

И кровавые закаты над осенними оренбургскими, уральскими, актюбинскими степями.

В тех грозах, бурях, буранах, рассветах, закатах, в травах и песках, политый кровью, опаленный пожарами, трясущийся от тифа, от воды из отравленных колодцев, искореженный, истерзанный, лежал Туркестанский фронт...

Три цели были у Михаила Фрунзе на Туркестанском фронте.

Первая и самая тяжелая — разгромить группу войск генерала Белова, Толстова, Дутова, очистить от них территорию Оренбургской и Уральской губерний.

И была вторая цель — пробиться из Самары в Ташкент, изгнать из Бухары, Андижана эмиров, ханов, басмачей, колониальные войска англичан.

А третья заключалась в военной помощи Южному фронту в его борьбе против Деникина. Для этой цели Фрунзе подчинили 11-ю армию, не пропускавшую в Астрахань барона Врангеля.

Ленин настоял на том, чтобы командующим этим необъятным фронтом был назначен именно Фрунзе. Центральный Комитет партии учитывал не только его блестящие способности, его талант организатора, опыт политического руководителя, но даже то, что сам он родился в Туркестане, знал жизнь, обычаи, языки тюркских народов.

А чтобы командующему легче работалось, членом Реввоенсовета Туркестанского фронта назначили Куйбышева, заместителем оставался Новицкий — с ним особенно хорошо работалось Фрунзе.

Новый план был трудным в своей простоте. Надо было окружить и уничтожить три армии белых в районе Орска — Актюбинска, отрезать им пути на юг, к Деникину, и на восток, к Колчаку.

Эту операцию возложил Фрунзе на 1-ю армию.

Первая армия перешла в наступление на Актюбинск; на помощь ей от Аральского моря выступила Казалинская группа войск. Эта группа должна была ударить в тыл колчаковцам и не пропустить их на юг. В то же время Тухачевский получил приказ, перекрыв пути на восток, овладеть Орском.

Удары последовали сразу с трех сторон. За неделю красные глубоко вклинились во фронт противника, разрывая его на части.

Белые теряли станицу за станицей, но все же им удалось закрепиться на рубеже реки Илек. Там в конце августа и развернулись ожесточенные бои.

Командарм-1 ввел в дело свежую силу — Татарскую стрелковую бригаду, сформированную в Казани. Она прибыла на Восточный фронт и с ходу вступила в бои с белоказаками.

Боевое крещение татары получили при форсировании реки Урал. Августовскими ночами они сосредоточили свои полки на берегу, подготовили лодки, плоты. В три часа утра в густом тумане началась переправа. В предрассветной тишине всплескивала под веслами вода, фыркали лошади, тяжело дышали бойцы.

Якуб Чанышев — молодой артиллерист и комиссар дивизиона — переправлялся на плоту вместе с прислугой батареи и каждым нервом своим чувствовал подстерегавшую опасность. Лишь бы успеть, только бы не заметили...

Быстрое течение сносило плот, вода захлестывала артиллеристов, орудие кренилось набок. Чанышев, ухватившись за колеса, с трудом удерживал его. Был он богатырски силен, но теперь каза-

лось — не хватит ни силы, ни ловкости, чтобы не упустить со-
скальзывающее с бревен орудие.

Плот сел на отмель. Вместе с бойцами Чанышев выволок ору-
дие на берег, даже не заметив, как расползлись туманные завесы и
солнце уже заливало желтым светом лодки с людьми, всадников,
стоявших в седлах со вскинутым оружием.

Уже половина бригады высадилась на берег, когда казаки от-
крыли пулеметный огонь по переправе. Вода закипела от пуль,
срывались в воду бойцы, опрокидывались неуправляемые лодки.

Откуда-то из высоких степных трав появилась конница: с гика-
ньем, свистом мчались казаки на высадившихся татар.

— Орудия к бою! Бить картечью! — приказал Чанышев.

Артиллерист замешкался, Чанышев подскочил к орудию.

Он посылал снаряд за снарядом в темную, стремительно при-
ближавшуюся лавину; картечь с визгом разламывала, сметала ка-
зачью конницу. Из кустов заговорили татарские пулеметы, появи-
лись конники. Они вылетали из реки, мокрые с головы до ног,
оставляя за собой радуги брызг, и с каждым новым всадником у
Чанышева прибавлялись силы.

Он стал замечать все, что не видят обычно в начале боя.

В десяти шагах от него казаки окружили пулеметчика и рубили
саблями во весь размах, со всего плеча.

Две юные девушки в белых платках, пригибаясь к земле, уно-
сили в укрытие раненого бойца. «Это же Марьям и Айша из Треть-
его полка», — подумал Чанышев, но тут новая картина открылась
взору.

Во весь опор на него скакал чернобородый, длинноволосый че-
ловек в черкеске и стрелял из нагана; пули попадали в орудийный
ствол и рикошетом косили траву. Всадник был уже рядом. Чаны-
шев выстрелил в его жеребца. Жеребец вздыбился и сбросил седо-
ка. Он поднялся и прихрамывая, зигзагами побежал в степь, полы
черкески стелились желтыми крыльями.

— Это не казак, это скорее кавказец, — решил Чанышев и вы-
стрелил вдогонку, но промахнулся.

Все, что видел и запомнил он, продолжалось секунды, потом снова начался угарный азарт боя.

Татары дрались с лихостью, и казаки, сами лихие рубаки, не выдержав, начали отступать с той поспешностью, что порождает панику.

На третий день боя татары освободили сильно укрепленную крепость Илецкая Защита и остановились в ожидании нового приказа.

В крепость прибыл Фрунзе. Он поздравил бойцов и командиров с успешным наступлением, наградил многих подарками, а командирам велел выдать новое обмундирование.

Впервые в жизни Чанышев надел кожаную хрустящую куртку, зеленые с синими леями галифе, хромовые сапоги. Черноглазый, чернобровый, сам одетый в черное, явился он на прием к командующему.

Несмотря на свою молодость, Чанышев уже познал, что такое война. Он надел шинель еще в царские времена, служил фейерверкером и был любимцем всех артиллеристов. На фронте он вступил в партию большевиков.

С нескрываемым интересом смотрел он на Фрунзе, думая, сумеет ли точно и верно перевести речь командарма на татарский язык. «Слушай и запоминай, Якуб, и чтоб твои татары не задавали ненужных вопросов».

— Ипташляр! Кзыл аскерляр!^[2] — начал свое обращение к войнам Фрунзе.

У Чанышева дрогнули от удивления брови: командарм, говорящий по-татарски? — было чему удивиться.

Фрунзе продолжал, без усилия выговаривая татарские слова и уже одним этим покаяя сердца бойцов:

— Мы идем в Туркестан не как завоеватели, а как освободители киргизов, узбеков, туркмен от феодального рабства, от ханов и английских колонизаторов. Только наш поход — не простая военная операция: мы несем на Восток революционные идеи. Мы должны убедить народы Средней Азии, что отныне и навсегда они

свободны и равны среди других народов России. Один английский поэт провозгласил: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись!» Великие поэты Востока проповедовали свободу и дружбу, теперь они наши союзники, а не поэты, утверждающие расовое превосходство. Мы будем привлекать на свою сторону азиатские народы не пулями, а правдой. Правда сильнее пуль! Произнесенная на родном языке, на десятках языков, она проникнет в сердце каждого аткаменера^[3], засияет в глазах каждого джигита. Нести нашу правду на родном языке — это необыкновенно важное дело, и я смотрю на Татарскую бригаду как на знаменосца идей революции...

Слова командарма падали как семена на взрыхленное поле, и смутные, еще не осознанные мечты Чанышева приобретали четкие очертания. Он прислушивался к речи Фрунзе, говорившего о трудностях похода в страну Семи Рек, в Ташкент, Андижан, Бухару, и видения вставали перед ним, словно во сне.

Он видел каменную кружевную вязь мавзолеев, минаретов, роскошных ханских дворцов, глинобитные дувалы, полуголодных рабов, женщин-рабынь, не смевших смотреть на свою землю и своего повелителя, и все сильнее раскалялась в нем та правда, о которой говорит командарм. «Нести эту правду, говорить ее людям на их родном языке», — повторял он мысленно, словно клятву.

Фрунзе приказал Татарской бригаде обойти Актюбинск и раньше противника занять железнодорожную станцию Джурун.

— Зорко охраняйте фланги, посылайте глубокую разведку; берите свои штабы. Уже были случаи, когда наши штабы становились добычей казачьих набегов, — предупреждал Фрунзе.

Оренбургские привольные степи сменились солончаками, зарослями саксаула, кипчака; татарские полки шли по безводной, унылой местности. Дни, знойные, с колеблющимся маревом на горизонте, сменялись заиндевелыми ночами, непроглядный сумрак их слабо освещался низкими звездами.

Бывалые бойцы спали на верблюжьих шкурах или просто на земле, окружив себя веревками из верблюжьей шерсти.

— Это для чего же? — спрашивал Чанышев.

— Каракурт не ужалит, он, шайтан, верблюжьего запаха не переносит, — отвечали бывалые.

— Я слышал — скорпион или фаланга ползут как раз на верблюжий запах.

— От скорпионьего яда на тот свет не уйдешь, а каракурт недалеко зовется «черной смертью».

Чанышев все же предпочитал спать у чахлого костерка: все ядовитые насекомые боятся огня.

На рассвете снова скрипели повозки, ржали лошади, позванивало оружие. Полки снимались с бивака, и опять начинался форсированный марш по барханам и такырам.

Чанышев и полковые комиссары при каждом удобном случае объясняли казахам-кочевникам, зачем и куда они идут. Кочевники дружелюбно встречали красных, доставляли мясо, брынзу, кумыс, предупреждали о передвижении противника.

Почти две недели продолжался этот поход; Татарской бригаде удалось обойти Актюбинск и захватить станцию Джурун.

Казачи уже не оказывали серьезного сопротивления. Оторванные от родных станиц, потерявшие веру в победу белых, на собственном опыте убедившиеся, что, кроме старых порядков, оголтелого насилия, от колчаковцев нечего ждать, они или сдавались в плен, или расходились по домам.

У станции Челкар произошла новая схватка с Беловым и Дутовым, закончившаяся победой Татарской бригады.

С несколькими поредевшими сотнями Белов и Дутов прорвались в Семиречье; вместе с ними ушел и полковник Андерс, бросив Особый отряд на произвол судьбы.

Несо Казанашвили принял под свою команду отряд и увел его на берег Аральского моря.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Они сидели на крутом обрыве; под ногами, весь в солнечных бликах и синих тенях, раскинулся Урал. Над водой носились крикливые чайки, на отмелях дремали цапли, степные коршуны парили в небе. Плоская левобережная степь уходила к горизонту, безжизненная и пустынная.

— Казаки зовут левобережье бухарской стороной, — сказал Фурманов. — Как подумаешь, что от Лбищенска до Бухары несколько тысяч верст солончаков да песка, и голова кругом. В этой пустыне без проводников, без воды верная смерть.

— Смерть, смерть... — задумчиво повторил Батулин. — Шестой год дуют над Россией смертоносные ветры. Погибли миллионы людей, города в развалинах, деревни опустошены, голод, тиф, «испанка» — все беды, все несчастья обрушились на Россию. Одна война перешла в другую, и не вижу этой другой конца...

— А я вижу. Если мы сокрушили Колчака, если загнали в пустыню, — Фурманов махнул рукой на бухарскую сторону, — таких матерых врагов, как уральские казаки, то скоро конец...

Батулин сорвал травинку, раскусил ее, выплюнул горький сок. Фурманов посмотрел на опечаленное лицо друга и переменял тему.

— Ввел я тебя в курс всех дел дивизии; с Чапаевым найдешь общий язык, не сомневаюсь. Он многому научился и смотрит на жизнь иными глазами: не партизанит, не грозит расправой по всякому случаю. Он созрел до крупного организатора масс, а это серьезная победа. Победа Чапаева-большевика над Чапаевым-анархистом, ума и рассудка — над бесшабашным характером...

— Ты молодец, что завел путевой дневник. Представляю, какая книга получится при твоём уме и таланте, — неожиданно сказал Батулин.

— Умишко есть, талант — не знаю. Кто-то сказал, что таланта надо иметь один процент, а девяносто девять — терпения.

— Нам ли занимать терпения? Нам бы времени у века подзаянть, чтобы воскресить из руин всю Россию...

Они замолчали, перевели взгляды на реку, что ткала в ткала в своей глубине сети из солнечных пятен.

— Героем твоей книги, конечно, будет Чапаев? — после долгой паузы спросил Батулин.

— Бесспорно.

— Описывая Чапаева, не забывай чапаевцев. Пиши человека со всеми его противоречиями, а не легендарного героя. Не впадай в искушение показывать красных — голубыми, белых — черными, только политические мошенники чураются правды. Если сочинитель начнет приукрашивать историю, то появятся герои без подвига, таланты без дарований, гиганты мысли и действия станут пигмеями.

— Я все хочу уяснить себе, в чем героизм Чапаева? Да и вообще, какие конкретно случаи следует считать героическими? За Чапаевым летит по степям слава, и по ней выходит: Чапаев рубит врагов направо-налево, кидается в самую круговерть схватки и решает ее исход. А спросите-ка глашатаев чапаевской славы — они не знают ни его подвигов, ни его самого. Восторги дополняются вымыслом и передаются другим. Так складываются легенды о героях, а Чапаев, бесспорно, герой народный. Только его героизм — в талантливом руководстве бойцами. Он военный организатор народа, той самой среды, которая его породила. — Фурманов вынул записную книжку, перелистал исчерканные странички. — Вот я записывал, послушай-ка: «Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе — о, это великий героизм...»

— Хорошо, Дмитрий, и верно. Буду счастлив прочитать книгу, написанную тобой.

Перед отъездом из Лбищенска Фурманов устроил прощальный ужин для командиров и комиссаров дивизии. Было оживленно, да-

же немножко шумно, но все же грустно. Батурин забился в угол и молчал. Чапаев говорил много, но бессвязно, нервно, как бы сердясь на Фурманова за его отъезд. Потом обнял за плечи, запел разбитым голосом: «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой».

— Расстаемся, Митяй, и, может быть, навсегда. У меня такая сквернота на душе, что даже выпить не хочется. — Наклонившись к самому уху, тихо спросил: — Новый-то комиссар заменит ли тебя, а?

— Батурина Фрунзе послал, он друг его давний. По беде, по несчастью друг, от царских ищеек Фрунзе прятал, — тоже тихо ответил Фурманов.

— К Чапаеву завялящего комиссара не пошлют, — с запоздалой гордостью сказал Чапаев. — Раз Фрунзе, то, следовано... но все же Михаилу Васильевичу передай большое спасибо... — Чапаеву хотелось выразить какими-то особенными словами свое отношение к командующему. Он искал этих слов и не нашел и, махнув рукой, вышел на крыльцо.

В звездной темноте под обрывом ворочался отяжелевший от дождей Урал.

В те сентябрьские дни Чапаев ходил мрачный, злой: тиф косил его бойцов, лекарств не хватало, обозы не успевали доставлять провиант. А впереди — путь по чужой стороне, отравленные колдцы, подстерегающие казачьи засады.

Казакам тоже не сладко, им тоже не хочется уходить из родных станиц и остается или обмануть бдительность непобедимого противника, или же сдаться на милость победителя.

Наступила ночь на пятое сентября.

Батурин засиделся у Чапаева; тот хмуро слушал доклад начальника штаба и все повторял:

— Что тифозниками забиты все избы и сараи — знаю. Что больные по канавам лежат — видел. Казаков, что наш обоз захватили, не догнали?

— Как сквозь землю провалились. Вокруг Лбищенска такая тишина, прислушаешься — и не по себе, — ответил начальник штаба.

— Выставь на караул курсантов, и штоб зоркости больше. Дозоры штоб всюду стояли, мы оторвались от дивизии, недолго и до беды, — предупредил Чапаев.

Начальник штаба ушел, Чапаев отстегнул саблю, снял пояс с маузером, сел на лавку. Желтый кружок света из керосиновой лампы упал на измученное лицо его, переместился на подбородок, на шею.

— Устал я што-то, комиссар. В сон так и клонит, — пробормотал он, упираясь подбородком в сцепленные ладони. — Ложись и ты, силенки надо беречь...

Батурин хотел что-то сказать, но Чапаев уже спал, локтем касаясь маузера. Батурин направился к себе.

Политотдел квартировал в просторном, покинутом хозяевами доме, в пяти шагах от речного обрыва. Прежде чем войти в дом, Батурин осторожно заглянул под кручу.

Темно. Тихо. Только на бухарской стороне трепетно, безмолвно вспыхивают голубые зарницы.

В комнате вповалку спали работники политотдела. Батурин прилег на лавку у окна, положил голову на свернутую шинель. Дремота заволакивала глаза, и комиссар как бы переступил границы своего тела. Он спал и не спал, и видел себя со стороны в самых разных местах одновременно. Время слилось в единый поток, расцветая то красками здоровой радости, то пепельным цветом печали.

Громкий выстрел убил дремоту, второй сбросил с лавки, с третьим комиссар схватил винтовку.

— Тревога! — прокричал он.

Политотдельцы вскакивали, выбегали на улицу, группируясь вокруг комиссара. Предраассветный городок закровенел пожарами, налился воем и визгом резни.

Исподтишка, где ползком, где бочком, где на цыпочках, пробирались казаки в Лбищенск, ножами снимали постовых, проникали в окна, в двери, действуя прикладами и штыками.

В сумраке предрассветья началась кровавая оргия, но скоро взорвалась яростью сопротивления. Сразу же определились и две главные точки борьбы. Первая — на обрыве, где Батурин с горсткой коммунистов и рядовых бойцов дрался с нападавшими. Казаки подкатили пулеметы. Батурин кинулся в контратаку, увлекая за собой бойцов. Контратака была такой стремительной, что пулеметчики разбежались.

Батурин повернул пулемет против казаков, но те сообразили, что лобовой атакой чапаевцев не опрокинешь. Они стали обтекать группу Батурина со всех сторон. Комиссар продолжал бить из пулемета, но видел, как гибнут его товарищи.

У Батурина оставался только путь к переправе, еще казалось возможным уйти на бухарскую сторону, — но нет, уже поздно: казаки перерезали и эту стезжку.

В последний раз увидел он, как блеснула казацкая шашка над его головой. Комиссара бросили наземь, остервенело рубили саблями, кололи штыками, топтали ногами. Убийцы опомнились, когда совершенно обессилели от собственной злобы.

А рядом, на соседней улочке, сражался Чапаев.

Плечом к плечу с ним дралась чапаевцы. Пуля пробила Чапаеву руку, подскочил ординарец Петька Исаев, поддержал начдива, истошно крикнул:

— Спасайте его! Спасайте!..

Окружив своего командира, шаг за шагом отходили чапаевцы на высокий обрыв, но, захлебываясь очередями, били по ним из пулеметов казаки.

И тогда мужество идеи охватило чапаевцев. Мужество идеи — одно из самых героических проявлений человеческого духа. Уже никто не придет на помощь, нет надежды на спасение, и тогда проявляется мужество идеи: исчезает чувство самосохранения, страх

перед смертью, человек загорается одним желанием — уничтожить как можно больше врагов, прежде чем они уничтожат его.

Петька, прикрывая Чапаева, послал шесть пуль из нагана в подбегающих казаков, седьмую — в собственное сердце.

С маузером в правой руке, стискивая винтовку левой, поднимался Чапаев по голому склону, оставляя за собой кровавый след.

И вот, освещенный восходящим солнцем, появился он на обрыве...

Фрунзе был потрясен гибелью Чапаева и Батурина.

В Самаре состоялось экстренное заседание Реввоенсовета Туркестанского фронта. По предложению Фрунзе 25-ю дивизию переименовали в Чапаевскую.

И еще один приказ издал Фрунзе. Он потребовал от командиров строже оберегать стоянки войсковых штабов. «В случае обнаружения небрежности или халатности в этом отношении с чьей бы то ни было стороны виновных расстреливать», — приказывал Фрунзе.

Вся 4-я армия была брошена на разгром генерала Толстова, ушедшего в Гурьев, к берегам Каспия.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Новый поход начала контрреволюция против республики.

На этот раз ставка ее была уже не на «верховного правителя», а на главнокомандующего вооруженных сил юга России генерала Деникина. В его штабе разрабатывали планы удушения революции с участием дипломатических представителей Англии и Франции. Под началом Деникина сражались с красными опытные генералы, и среди них барон Врангель.

Кавказская армия Врангеля, захватив Царицын, двинулась на Москву. Взять Астрахань, соединиться с белоказацкими войсками генерала Толстова и снова восстановить линию Восточного фронта

от Каспия до уральских предгорий было уже второстепенной задачей.

А для этого им надо было разбить остатки 11-й армии красных, закрывшие путь между Царицыным и Астраханью на волжском берегу у слободы Черный Яр.

Фрунзе сам прибыл в Черный Яр. Семь бессонных суток провел он на Волге вместе с Куйбышевым, Кировым и Новицким, обдумывая план сокрушения Врангеля. Было решено создать из частей разбитой 11-й армии Черноярскую и Кизлярскую группы.

Весь сентябрь на нижней Волге с переменным успехом шли бои. Невероятным напряжением сил большевики сорвали замыслы Врангеля и отбросили от Астрахани его армию.

В конце сентября Фрунзе распорядился перенести часть штаба фронта в Ташкент. Отъезд назначили на 23 октября, но вдруг он получил короткую телеграмму от Ленина: «Все внимание уделите не Туркестану, а полной ликвидации уральских казаков всяческими, хотя бы и дипломатическими мерами. Ускорьте изо всех сил помощь Южфронту».

Окрыленные успехами, деникинцы, овладев Орлом, приближались к Москве. Южный фронт походил на гигантский полукруг: западный конец его упирался в Днепр, восточный — в дельту Волги. В районе Царицына находилась Кавказская армия барона Врангеля, у Воронежа — Донская армия. В центре наступала Добровольческая. Не жалея солдат, не считая потерь, рвались деникинцы к своей заветной цели — Москве.

В сырой пурге трясся по актюбинским степям товарно-пассажирский поезд.

В нетопленном вагоне Куйбышев и Новицкий коротали время в нескончаемых разговорах. Неизбывные темы — фронт, голод, тиф, белоказаки, Туркестан — сменялись менее значительными, — люди ведь не могут постоянно говорить о трагических событиях или житейских неурядицах, мечты и надежды сопутствуют им и в самые мрачные времена.

— Вот еду в Туркестан, о котором знаю только по историческим книгам да стихам поэтов Востока, — говорил Куйбышев. — По книгам вся история Туркестана — лазурные ханские дворцы и гаремы да Чингисхан с Тамерланом, а поэзия дополняет историю любовными вздохами в тени чинар, пышными пирами властителей да сказками «Тысячи и одной ночи»...

— Но ведь все это было и есть, — сказал Новицкий. — И минареты, и ханы, и гаремы. Существует же эта жизнь Востока, и никуда от нее не денешься. Значит, история не такая уж лживая дама.

— Это только часть жизни, и притом самая ничтожная, — возразил Куйбышев. — Народ, построивший все — от дворцов до гробниц, создавший благоуханную жизнь своим властителям, — всего лишь пыль на страницах истории. О кровавых деяниях какого-нибудь Тамерлана написаны горы книг, о бедствиях и страданиях народных — жалкие строчки. Но я уверен, наша революция породит новую, народную литературу. Жизнь и героизм простых людей станут ее содержанием; писатели и поэты создадут произведения, достойные героической эпохи. Роман, эпос — из них поколения поймут железную поступь революции, — сказал Куйбышев.

— В романе кроме грома пушек и визга шрапнели должна быть любовь, — усмехнулся Новицкий.

— Женская любовь как награда за военные подвиги мужчин?

— Что-то в этом роде.

— Наши женщины вместе с нами сражаются за революцию. Женщины революции — захватывающая тема. Но на эту тему лучше напишут сами женщины, — заметил Куйбышев.

— Куда им... — рассмеялся Новицкий.

— Вы так думаете, Федор Федорович?

— Женский роман о войне, да вы смеетесь...

Куйбышев снял с верхней полки чемодан, достал «Известия ВЦИК».

— Прочитаю несколько строк, а вы скажете, кто написал: мужчина? женщина? «Нет, не боли, не раны, не огонь страшен на фронте. Не в бою старятся и дают трещины молодые, не борьба

иссушает нервы и сердце заставляет биться медленно и прерывисто. Это делает тайная болезнь души; назовите ее как хотите: массовое внушение, паника, навязчивый, ни на чем не основанный упадок, — вот неизлечимый и таинственный недуг войны... И тогда нужно все величие разума, вся его сосредоточенная, ледяная мощь, чтобы отогнать призраки, которые гораздо опаснее явного врага, и удержать на месте бегущих...»

— Нуте, Федор Федорович, определите автора.

— Чисто мужской слог. Дамским кружевным стилем даже не пахнет. Кто же автор?

— Лариса Рейснер, — довольный, что провел Новицкого, ответил Куйбышев.

— А я ее знаю! Видел на эсминце Волжской военной флотилии. Красивая молодая женщина, у меня из-за нее даже недоразумение произошло, — сказал Новицкий.

— Я с ней тоже знаком. А что за недоразумение? — спросил Куйбышев.

— В Черном Яре я поехал проверять военную флотилию. Повели меня осматривать корабль; смотрю, на капитанском мостике стоит этакая красотка в позе весьма решительной, даже воинственной. Спрашиваю: «Почему женщина на военном корабле?» Отвечают: «Это комиссар нашей флотилии Лариса Михайловна Рейснер». Ладно, пошли мы в разведку; белые близко подпустили миноносец и открыли огонь из береговых орудий. На палубе начали рваться снаряды, появились раненые, вспыхнул пожар, но паники никакой. Все на своих постах, хотя и поглядывают на капитанский мостик: там Лариса одним своим видом поддерживает порядок и дисциплину. Я был поражен ее выдержкой; а мужчине-то нельзя показаться трусом в присутствии женщины, — это же как закон! Позже я беседовал с Ларисой Михайловной; образованная, утонченная интеллигентка — и комиссар военной флотилии. Не понимаю, что привело ее к революции?

— А что привело в революцию бывшего генерала Новицкого? — спросил Куйбышев.

— Мне за пятьдесят — ей нет двадцати трех.

— Молодость — самый революционный возраст.

— А старики — консерваторы, да?

— Дай мне бог такую старость, как ваша.

— Если бы молодость знала, если бы старость могла, — меланхолически вздохнул Новицкий. — Если бы да кабы, мы бы не дали белому шабашу так разгуляться на просторах России...

— Лариса Рейснер — женщина с лицом богини и сердцем воина, — вернулся к прерванному разговору Куйбышев. — Про ее смелость, выдержку, находчивость с восхищением говорили мне командиры и матросы флотилии. Она была комиссаром Главного морского штаба, но попросилась на фронт, ходила разведчицей в расположение белых, участвовала в штурме Казани, освобождала Сарапул, дралась под Царицыном...

— Кто она по происхождению?

— Дочь петербургского профессора права. Бросила сытую жизнь, литературных друзей, всякие там салоны и вернисажи и стала комиссаром. Я не встречал женщины, которая с таким упорством воюет и так прогрессивно мыслит, как Лариса Рейснер.

Наступило общее молчание, просекаемое перестуком вагонных колес да снежным воем метели. Подрагивали на столике стаканы, покачивались на вешалке шинели и гимнастерки.

— А пурга метет и метет уже третьи сутки, — нарушил молчание Новицкий.

— Скоро прорвемся из пурги к солнцу. Мне тепло даже при одной мысли о знойном туркестанском небе, — снова заговорил Куйбышев. — Но, друзья мои, в Туркестане предстоят не просто бои с басмачами и белогвардейцами; настоящее наше дело — освободить народы Туркестана от феодального гнета.

— Действительно, предстоит жаркая работа под жарким небосводом, — согласился Новицкий. — Михаил Васильевич мечтает открыть путь хлопку в Россию. Ведь все мы — от красноармейцев до ребятишек — ходим полуголыми. Господи боже, увижу ли я Россию обутой, одетой, сытой?

Под вой метели они улеглись спать. Куйбышев, лежа на нижней полке, представил, что поезд их пробирается сквозь бесконечный черный туннель и нет ему конца и края. Мысли растаяли, все стало непроглядным ревушим мраком, а Куйбышеву снилось солнце, абрикосовые деревья в цвету, тигровые лилии южных долин.

Он проснулся от неожиданной тишины: метель улеглась, поезд стоял.

Куйбышев вызвал начальника поезда.

— Где мы и почему стоим?

— В степи, на разъезде. Из Челкара поступила телеграмма от командира дивизии. Он остановил наш поезд потому, что за Челкаром находится большой неизвестный отряд.

Куйбышев накинул шинель, прошел в станционный телеграф, вызвал командира дивизии. Спросил, что случилось.

— Могу доложить только лично. Мне предъявлен ультиматум, по которому... Нет, доложу только лично. Сейчас выезжаю...

Через час командир дивизии явился к Куйбышеву.

— Под Челкаром появился большой белогвардейский отряд. Пехота, конница, артиллерия, — взволнованно отрапортовал он. — Командир белого отряда в сопровождении двух офицеров приехал в Челкар и сказал, что, если на него нападут, он даст сокрушительный отпор, у него, дескать, десять тысяч сабель.

— И вы поверили его словам?

— Я ездил к белогвардейцам и убедился, что все правда. По боевой тревоге поднял дивизию, но у меня наполовину меньше бойцов, и к тому же многие лежат в тифу. Вступать в бой бессмысленно.

— Чего же они хотят?

— Командир их заявляет, что его Особый отряд входил в армию генерала Белова. Теперь он отказался служить белым, но не желает воевать и за комиссаров. Белые и красные для него больше не существуют. Он убежденный анархист, направляется в Гурьев и требует оставить его в покое...

— В Гурьеве армия генерала Толстова. Значит, идет все-таки к белым, — заметил Куйбышев. — В каком чине командир отряда?

— Говорит — не признает никаких чинов.

— А как фамилия его?

— Казанашвили.

— Каков из себя?

— Длинноволосый, с черной бородищей...

— Безумец! Разве не безумие вести такую массу людей через голодную пустыню к берегам Каспия? Пусть уходят, зима и пустыня повоюют с ними по-своему, а нам дорог каждый боец. Пусть уходят, — повторил Куйбышев. — Примите все меры для охраны железной дороги.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Иди, иди, не оглядывайся. Мы не едим людей ни вареными, ни пареными, — посмеивался боец, подталкивая своего пленника прикладом в спину.

Пленник, еле переставляя ноги, шел сквозь строй бойцов. Они что-то кричали, свистели, и он вздрагивал, озираясь по сторонам.

— Куда ты его волокешь, Ванька? Заарканил шпиона, што ли? Морда у него больно нерусская! Ежели шпион, то гони в рай к господу богу...

— Я его к комдиву волоку, может, из него какие тайны-секреты выжмет. — Боец снова подтолкнул пленника. — Я ж тебе русским языком баю: переступай ногами, не озирайся.

В глинобитной хате был штаб Чапаевской дивизии. Новый ее командир Иван Кутяков что-то писал за обеденным столом, когда в хату ввалился боец со своим пленником.

— Кого привел, Иван? — строго спросил Кутяков, поднимая голову и вглядываясь в длинное, морщинистое лицо пленника.

Был он одет в рваный полушубок, обут в лапти, заячий треух еле держался на коротко остриженной голове. Несмотря на жалкое одеяние, пленник был осанист, даже величествен.

— Шпиона словили, когда налет на казачий хутор делали. Казачки бежали, а он в погребке зарылся, я оттуда его вылупил, — радостно сообщил боец. — Английским капитаном назвался.

— Я капеллан, а не капитан. Иес, сэр, да, иес, — проговорил тот.

— Что есть капеллан? — невольно подделываясь под стиль пленника, спросил Кутяков.

— Священник, сэр. Капеллан шотландского стрелкового батальона.

— Почему он так одет? — спросил Кутяков у бойца.

— Мы его немножко тово... — смутился тот.

— Переодели в свое рванье? Ты смотри у меня не мародерствуй! Снимайте полушубок, капеллан, здесь не холодно.

Капеллан дрожащими руками снял полушубок: в Гурьеве офицеры предупреждали его, что красные, прежде чем расстрелять, раздевают догола.

Кутяков что-то тихо сказал бойцу, тот смерил капеллана оценивающим взглядом и вышел. Капеллан окончательно сник: конец близок, надо молиться. Он вскинул тоскующие глаза на божницу, затем понурил голову.

— Успокойтесь, вам не угрожает опасность, — сказал Кутяков как можно доброжелательнее. — Какие ветры занесли вас в Гурьев?

— Прибыл с английской миссией майора Обрейна.

— Миссия все еще в Гурьеве?

— Была, когда я уезжал.

— Как же вы очутились в степном хуторе?

— На хуторе вместе с казаками были и английские солдаты. Почти все они заболели тифом, мой долг священнослужителя повелевал утешать словом божьим умирающих.

— А кто утешал казаков?

— Тоже я. Русские священники умерли от тифа.

— Что вы знаете о положении в Гурьеве?

— Все военачальники смотрят на священников как на воинов господ и требуют выдачи секретов, — вздохнул капеллан. — А наше оружие — только крест и молитва.

— Я не требую от вас военных секретов. Меня интересует общее положение в городе.

— Оно ужасно. Жители и солдаты вымирают от тифа и голода, здоровые разбегаются, куда глаза глядят. В Гурьеве нет больше ни кораблей, ни лодок, все угнали дезертиры и местные рыбаки. Оставшиеся со страхом ждут красных, — безнадежно ответил капеллан.

— Что же делает генерал Толстов для спасения своей армии?

— Расстреливает дезертиров и смутьянов и еще ждет пароходов из Красноводска, чтобы эвакуироваться.

— Вы встречались с генералом?

— Да, конечно. Очень недоверчивый человек. Тяжелый характер.

— Когда командующий армией думает об эвакуации, то песенка его спета. Не так ли?

Капеллан кивнул в знак согласия.

— А если корабли не придут? — продолжал спрашивать Кутяков.

— Англичане не бросают своих солдат на произвол судьбы. Не оставят они в беде и своих союзников, — робко произнес капеллан.

— Так-то оно так... Только на Каспии есть еще военная флотилия красных.

— Генерал Толстов говорит — если красные появятся раньше, он будет защищаться до последней пули.

В хату вошел боец с новым полушубком и меховыми сапогами. Положил на скамью, бросил поверх шапку и шерстяные варежки.

— Вот вам одежда, дадим еще трехдневный запас провианта, и отправляйтесь в Гурьев. За линию фронта вас проводят, господин капеллан, — сказал Кутяков.

— Вы меня отпускаете? Без всяких условий? — недоверчиво спросил капеллан.

— Нет, с условием. Передайте мое письмо генералу Толстову о полной капитуляции.

— С удовольствием, сэр, — пробормотал обрадованный капеллан.

— Тогда я пишу письмо. — Кутяков повернулся к бойцу: — Накорми господина капеллана.

Капеллан и боец вышли. Кутяков достал с божницы воззвание Фрунзе.

«Уральцы! — писал в своем воззвании Фрунзе. — Не пора ли понять, что та правда, за которую лили кровь вы, — правда помещика, кулака, заводчика, — не ваша правда. Не пора ли понять, что вам, потомкам прежних вольнолюбивых борцов за мужицкие права, не место в лагере тех, кто хочет затянуть петлю на шею проснувшихся к новой жизни рабочих и крестьян... Пора опомниться; пора пойти по стопам оренбуржцев и сибирцев, бросивших лагерь врагов и поднявших советское знамя».

Тысячи листовок с воззванием Фрунзе разбросали с самолетов над биваками армии генерала Толстова, над казачьими станицами.

— Генерал, конечно, выбросит их, но все же, может, и придумается, — рассуждал Кутяков, запечатывая пакет.

Атаман Толстов был произведен Колчаком в генералы, когда тот осыпал своих приближенных чинами и орденами с щедростью осеннего листопада.

Уроженец казачьей станицы, сын богатого прасола, Толстов был отчаянно тщеславен. Еще до революции подкупам и хитро сплетенными интригами он добился избрания в атаманы Уральско-го казачьего войска и больше не расставался с властью.

В восемнадцатом году ценой невероятных усилий он захватил Уральск и приобрел черную славу вешателя.

«Если нет пуль для расстрела, то вешайте. Если нет деревьев — вешайте на оглоблях» — эта фраза из приказа Толстова по армии стала своего рода девизом для всех колчаковских карателей. Даже

Дутов завидовал решительности своего приятеля, а генерал Савельев сказал: «Толстов, конечно, сукин сын, но это неважно. Такие люди, отлитые из грязи, похоти и преступных желаний, необходимы для нас».

Дух палачества с особой силой проявился в Толстове при разгроме штаба Чапаевской дивизии. Он подвергал пленных изощренным пыткам, убивал их с холодной жестокостью.

Уральск и Лбищенск — две бесславные победы — поставили генерала в один ряд с самыми черными карателями Колчака.

Отступив в Гурьев, генерал Толстов все еще надеялся соединиться с деникинской армией. Когда надежда испарилась, он стал ждать военной помощи от англичан из Баку и Красноводска.

— То, что говорите вы, сэр, немыслимо. Если нефть — королева, то Баку — ее трон. Потому-то мы и не отдадим Баку большевикам, — разглаживая густые бакенбарды, говорил майор Обрейн. — Я радиодепешу получил, что из Красноводска вышли два парохода с оружием и боеприпасами. Они вот-вот появятся, надо продержаться еще несколько дней...

— Пока пароходы придут, нам будет крышка, — равнодушно ответил Толстов. — Красные в ста верстах от Гурьева.

— Что такое «крышка», сэр?

— Могила, мистер Обрейн. Чтобы не оказаться в могиле, надо отступать в форт Александровск.

— У вас еще семнадцать тысяч солдат, десять тысяч из них — казачья конница. Еще можно сопротивляться, мы на теплых квартирах, мы одеты, обуты, а большевики едва передвигают ноги. Они оставляют за собой тысячи трупов: тиф косит их словно траву. То, что рассказывал капеллан Роджерс, — ужас. От его рассказов у меня волосы встают дыбом, но эти же рассказы укрепляют волю к борьбе. Сражаясь с полуживыми, еще можно верить в победу, — все более раздражаясь, доказывал майор Обрейн.

— Тиф не щадит и моих солдат. Некогда хоронить, зарываем своих мертвецов в снег, но большевики направили против нас

оружие пострашнее тифа и мороза. Вот эти проклятые прокламации... — Толстов потряс листками с постановлением Совнаркома и воззванием Фрунзе, — эти прокламации действуют на солдат страшнее тифа. Какое там тифа — страшнее чумы! Сегодня у меня семнадцать тысяч солдат, завтра останется семь, послезавтра...

— Что послезавтра, сэр?

— Нас повесят на берегу Каспия. Пока не поздно, я уйду в форт Александровск, — решительно объявил Толстов.

— Это поход голодной смерти в холодной пустыне. Мистер Казанашвили от Челкара до Гурьева оставил в песках четыре тысячи мертвецов. Он же здесь при вас говорил это.

— Завтра оставлю Гурьев, — упрямо повторил Толстов. — Советую идти со мной. Еще советую радировать в Красноводск, чтобы приказали капитанам изменить курс и направиться в форт Александровск. Оттуда можно эвакуироваться морем в Баку или Красноводск.

— Ваше войско не уместится в два парохода.

— К тому времени нас будет значительно меньше...

Майор Джемс Обрейн приподнял брови. «Русский генерал ценит солдат дешевле репы», — подумал он.

После ухода майора Толстов прошел в спальню; у стены висел штабель кожаных чемоданов. Генерал задумчиво пощелкал по твердой черной коже верхнего чемодана, приподнял крышку; в глаза ударил жирный, маслянистый свет золота. «Восемьдесят пудов драгоценностей! Как же я увезу такой груз, да еще в секрете от собственной охраны?»

Толстов начал пригоршнями вычерпывать драгоценности и высыпать на кровать.

Золотые кольца, зубные коронки, жемчужные ожерелья, сапфировые бусы, яхонтовые серьги, браслеты с вкрапленными изумрудами, табакерки, украшенные бриллиантами, вычурные шкапулки, амуры из оникса, нимфы, рыцари, черти, ангелочки из александрита, грудные иконки, нательные кресты, дароносицы, бокалы, рюмки, кубки, старинные блюда — все эти формы, краски, то-

на, полутона освещали серое солдатское одеяло. Все прозрачно звенело, побрякивало, пело, ликовало, радуя глаз, волнуя душу.

Толстов выбрал из груды драгоценностей зубные коронки, брезгливо отложил в сторону. «Мерзавцы, вырывали зубы у мертвецов, даже противно держать в руках! А как же быть с серебром? Придется раздать офицерам конвоя». Генерал с досадой пнул сапогом тяжелый чемодан.

По требованию майора Обрейна белоказаки вступили в решающий бой с Чапаевской дивизией под станицей Глинской. Чапаевцы выбили белоказачков из станицы, и это решило исход сражения. Белоказаки отступили в Гурьев.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Докладываю вам, Владимир Ильич...

— Постойте, подождите. Дайте сперва поглядеть на вас. Как здоровье, настроение как? Выглядите молодцом, и дел таких натворили, что нет слов для похвал.

Ленин весело смотрел на Фрунзе, в прищуренных глазах светилося восхищение; ему доставляло явное удовольствие видеть этого скромного человека с открытым лицом. Не было ничего воинственного в облике победителя колчаковских армий.

— Теперь я слушаю, Михаил Васильевич...

Фрунзе рассказал о разгроме армий Белова и Дутова, о стремительном наступлении на Гурьев.

— Освобождение северного и восточного побережья Каспия — дело нескольких дней. Первая армия отправила экспедиционный отряд к Эмбе: там на промыслах скопилось огромное количество нефти. Нельзя допускать, чтобы враги уничтожили ее.

— И правильно сделали. Нефть нужна как хлеб...

— И как хлопок, Владимир Ильич.

— Хлеб, нефть, хлопок, уголь, даже соль! Не знаю предмета, который был бы не нужен. А лекарства? Они тоже первая необходимость. По всей республике свирепствует тиф.

— Пути наших армий устланы погибшими от тифа бойцами. Эпидемия уничтожает больше красноармейцев, чем враги, — сказал Фрунзе и замолчал: об этом было тяжело говорить.

— Деникин и вошь сегодня главные наши враги. Но мы должны победить! — взволнованно произнес Ленин. — Кончайте с белоказаками и всю энергию — на Туркестан. Очищайте край от врагов, ведите пропаганду нашей политики равноправия наций. Кстати, мне сказали, вы знаете национальные языки и сами уроженец Туркестана. Это правда?

— Я родился на Тянь-Шане. Недурно владею киргизским языком.

— Это чудесно! Революционер, говорящий на языке того народа, за свободу которого сражается, найдет путь к сердцу простого человека. Вы еще знаете языки?

— Английский знаю, немецкий и французский, но хуже. А вот по-итальянски говорю совсем плохо.

— Когда же вы успели? Ведь ваша жизнь — тюрьма, каторга, ссылка.

— Учился иностранным языкам в смертной камере...

Улыбка осветила скуластое лицо Ленина; поглаживая ладонями ручки кресла, он смотрел на Фрунзе и опять любовался им. Было в его собеседнике особенное, волевое начало и такая целеустремленность, что проявляется только в действии. «Он надежный человек, Он доказал надежность разгромом Колчака», — подумал Ленин.

— Придет время — историки станут изучать ваши военные операции. Нас кое-кто запугивал, что с голодной, плохо вооруженной армией не победить Колчака. Ан победили! Колчак уже бежит на Байкал. Это не значит, что можно успокаиваться, враг еще подкарауливает нас на каждом шагу. Подкупом, насилием, заговорами еще пытается скинуть нас, но это уже бессильные попытки, — говорил Ленин и как бы между прочим добавил: — Я слышал, что вы выдвигаете на ответственные посты красноармейцев. Это хорошо, но не давите чужой инициативы. Некоторые товарищи или душат

инициативу, или попадают в плен чужого авторитета. Искусство организовать победу — в воспитании бойцов. Трудное это искусство! Желаю вам новых побед в Туркестане и жду добрых вестей.

Фрунзе внимательно слушал политический доклад Ленина на VIII Всероссийской конференции РКП(б).

— Мы... убедились на опыте в том, что в революционное время классовая борьба ведется в формах самых ужасных, но может привести к победе только тогда, когда класс, который ведет ее, способен вести за собой большинство населения... Этот опыт по отношению к Колчаку показал, что мы осуществляем господство того самого класса, большинство которого умеем вести за собой, присоединяя к себе в друзья и союзники крестьянство... Мы можем сказать, что в конце концов победим всех наших противников, — говорил Ленин.

При этих словах зал поднялся с мест, зазвучала мелодия «Интернационала», делегаты пели гимн в порыве той безграничной радости, что воспламеняет каждое сердце. Аплодисменты и возгласы делегатов сливались в общий напряженный шум; так обламывается тишина при торжествующем громе грозы.

— Слава победителю Колчака! — выкрикнул кто-то из зала.

— Слава, слава! — подхватили делегаты.

Потребовалось несколько мгновений, чтобы Фрунзе понял: приветствуют его, как конкретного организатора победы над Колчаком, и радость залила его, и волнение подступило к горлу, и возникло летящее чувство приподнятости. Он даже побледнел от неожиданности: радость, как и печаль, иногда чересчур сильно действует на душу.

Фрунзе вернулся в Самару и с утроенной энергией продолжал руководить боевыми действиями своих армий.

В начале нового, двадцатого года 4-я армия достигла побережья Каспия. Конница Чапаевской дивизии захватила Гурьев, экспедиционный отряд 1-й армии очистил от белоказаков Эмбинский нефтяной район.

Остатки белоказачьих сотен бежали в форт Александровск. Генерал Толстов вместе с английской миссией майора Обрейна и Особым отрядом Казанашвили ускользнул из Александровска и направился сухопутьем к границам Ирана.

Отряд Казанашвили в прикаспийской пустыне отделился от генерала Толстова и пошел на Красноводск.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Туркестан!

При этом слове у Валериана Куйбышева возникало множество представлений, и прежде всего географических.

Бывшее Туркестанское генерал-губернаторство вмещало в себя Самаркандскую, Ферганскую, Закаспийскую, Сырдарьинскую области. Входило в него еще эмиратство Бухарское, ханство Хивинское. Горы, пустыни, долины, мощные реки, субтропические сады, хлопковые плантации составляли красочные ландшафты туркестанской природы.

Феодальные отношения, религиозное изуверство, рабство, освященное Кораном, колониальные устои соседствовали друг с другом и помогали друг другу в угнетении народов, населяющих Туркестан.

История сохранила истребительные войны Чингисхана и Тамерлана, мечети, минареты, мавзолеи восточных владык, весь узорчатый, сотканный из золота и мрамора мир азиатского феодализма. Поэтические и религиозные мифы, вечные спутники истории, разукрасили этот мир цветами высокопарной поэзии, изречениями мудрецов. «Прочти и подумай, куда идет солнце, куда идут реки, куда идет мир» — предупреждали надписи на мраморных стелах перед дворцом эмира бухарского.

Но мифы, стихи, изречения не оставляли свидетельств о рабской жизни туркмен, узбеков, таджиков, киргизов, казахов, дунган, каракалпаков, только память народная, эта неписаная история человечества, берегла события и имена героев, боровшихся с произ-

волом феодальных властителей. О них слагались легенды, их имена заставляли мечтать о новой жизни.

И рабы мечтали, и рабы надеялись, но туманными были мечты, неопределенными были надежды.

Победоносное шествие большевизма достигло Туркестана довольно поздно, партийные организации и Советы, возникшие на туркестанской земле, были еще слабы, не имели ни политического опыта, ни закаленных борцов. В Туркестане не было пролетариата — главной опорной силы большевиков; отдельные рабочие коллективы являлись лишь оазисами в массе населения. Духом русского великодержавия были заражены многие местные коммунисты, их даже прозвали «великодержавниками» за то, что считали, что только русские рабочие могут проводить в Туркестане диктатуру пролетариата.

А рядом с «великодержавниками» буйствовали буржуазные националисты. Они как могли прививали ненависть к русским рабочим, кучка мусульман интеллигентов выдавала себя за выразителей настроений многомиллионного народа.

«Великодержавники» и националисты задерживали искоренение колониализма, мешали борьбе с феодалами.

Всем этим ловко пользовались феодалы. Заговоры, мятежи, восстания следовали один за другим. Фергана превратилась в сплошной ад, по всем областям свирепствовали басмачи, вырезая целые аулы за сочувствие к большевикам, сжигая железнодорожные станции, совершая набеги даже на такие крупные города, как Андижан.

На южной границе бухарский эмир Сеид-Алим готовился к нападению на Туркестанскую Советскую республику. Он, правда, еще колебался, но его поторапливали англичане.

В сложный водоворот политических событий, страстей попал Валериан Куйбышев — член Особой комиссии ВЦИК и Совнаркома по делам Туркестана и Реввоенсовета Туркестанского фронта. Нет рядом Фрунзе, который мог бы что-то посоветовать, предупредить о неверном шаге. Зато имел Куйбышев документ —

постановление ВЦИК, в котором говорилось, что «самоопределение народов Туркестана и уничтожение всяческого национального неравенства и привилегий одной национальной группы за счет другой составляют основу всей политики Советского правительства России и служат руководящим началом во всей работе... Только такой работой можно окончательно преодолеть созданное многолетним господством русского царизма недоверие туземных трудящихся масс Туркестана к рабочим и крестьянам России».

Этот документ — и совет, и наказ, и руководство к действию. До приезда Фрунзе придется Куйбышеву быть и высшим военным руководителем Красной Армии Туркестана, и партийным деятелем, и дипломатом.

По опыту он знал: нужно нащупать главное звено в цепи неотложных дел. А главное звено здесь разгром антисоветских мятежей и восстаний. У Красной Армии в Туркестане ничтожные силы, с ними не победишь многочисленных и фанатичных врагов большевизма. Необходимо, чтобы мусульмане сами защищали свою республику.

Реввоенсовет Туркестанского фронта пригласил мусульман в национальные бригады Красной Армии. Объявили призыв всех, способных носить оружие. Вскоре 4-я армия выросла на тридцать тысяч бойцов. Татарская бригада, прибывшая в Ташкент, пополнилась бойцами, говорящими на многих языках.

«Мусульмане переходят на службу к неверным, мусульмане поддерживают большевиков» — слова эти катились по Туркестану, возбуждая не только дехкан, но и феодалов; слова эти находили отзвук в эмирате Бухарском, в Хивинском ханстве. Насторожились иранский и афганский шахи.

Туркестанский фронт в силу географических и военных обстоятельств был фактически разделен на три. Ферганский фронт, где басмачи создали свою «армию пророка». С ней поддерживают постоянную связь атаманы Дутов и Анненков. Сами они свирепствовали в городе Копале на китайской границе. Им противостояли красные части Семиреченского фронта. Самый же главный в эти

дни — Закаспийский фронт: там, у Красноводска, армия белых под командой генерала Литвинова.

Уже несколько месяцев против генерала Литвинова действовала группа Сергея Тимошкова, но никак не могла добиться успеха. Группа оказалась в трагическом положении: не было продуктов для красноармейцев, корма для лошадей, топлива, чтобы развести костры на биваках.

Куйбышев решил поехать на помощь Тимошкову. Вместе они обдумали план разгрома армии Литвинова. Главные силы генерала находились на станции Айдин, вблизи Красноводска. Было решено вести общее наступление по железной дороге, а специальный отряд в четыре тысячи бойцов послать в обход, чтобы ударить в тыл противнику.

— Вот и все. Мы отрежем белогвардейцев от Красноводска и загоним в мешок. Только одна опасность угрожает нашей операции, — говорил Куйбышев, — отряду нужно пройти свыше ста верст в величайшем секрете. Если деникинцы узнают о нашем походе — все пропало.

— И не только! — пасмурно возразил Тимошков. — Отряду предстоит путь через Каракумы. Нужно брать с собой артиллерийские снаряды, и провиант, и фураж, и воду. В пустыне вода дороже бриллиантов, а от Кизыл-Арвата до Айдина не найдешь ни колодца, ни источника. Для отряда потребуется три тысячи верблюдов. Люди пойдут при сильной жаре, ночью станут замерзать на заиндевевших песках.

— Ты наговорил такого, что в пору отказаться от похода, — нахмурился Куйбышев.

— Я сказал только правду. Поход должен состояться во имя нашей победы, но лучше заранее знать, на какие жертвы идут люди.

— Это верно, — согласился Куйбышев. — Что еще тебя беспокоит, Сергей Прокофьевич?

— Во главе отряда нужно поставить такого командира, которому бы подчинялись беспрекословно. Он, конечно, будет обла-

дать всей полнотой власти, но власть без воли и цели — призрачная власть. А такого командира у меня нет.

— Вы согласны, если я стану командиром? — спросил Куйбышев.

Тимошков удивленно качнул головой. «Куйбышев фактически командует всем фронтом, можно ли ему рисковать собой в таком походе? Но слово Куйбышева — закон для меня, и не могу я ему запретить», — промелькнуло в уме Тимошкова.

— Вы молчите, — значит, согласны.

— У нас нет верблюдов. Придется их реквизировать у жителей Кизыл-Арвата, — уклонился от ответа Тимошков.

— Реквизиция — скверное слово. Начинать с насилия, объявив всем, что мы боремся с насилием, — хуже и придумать нельзя. Надо бы созвать совет стариков туркмен: если они согласятся, то мы получим верблюдов. Ах как жаль, что нет с нами Фрунзе! Беседовать через переводчика, да еще не зная местных обычаев, — тяжкая штука. Можно попасть в идиотское положение.

Вечером на площади сошлись самые старые жители Кизыл-Арвата; безмолвно стояли узкобородые аксакалы в верблюжьих с красными полосами халатах, каракулевых папахах, с тамарисковыми посохами, фисташковыми четками в скрюченных пальцах; у них был отрешенный вид, словно все их мечты и страсти давно были выжжены черными песками пустыни.

Среди аксакалов выделялся стройный не по летам мулла. Смуглое худое лицо обрамляла черная бородка, глаза — острые, пытливые — так и вцепились в Куйбышева.

Куйбышев сказал, что отряд его идет по важному делу в пустыню, и окончил короткую речь просьбой о верблюдах.

— Чем поручится высокочтимый гость, что вернет верблюдов? — спросил мулла.

— Именем власти Советов как в Ташкенте, так и в Москве.

— Ташкент далеко, Москва еще дальше. Можно ли верить слову путника, уходящего в пустыню? Не зыбко ли оно, как песок бархана?

— Я всегда держу слово свое.

— У нас нет доказательств, что высокочтимый гость верен своему слову. Не знает ли он в Ташкенте самого важного воина — Куйбаши-ака? — неожиданно спросил мулла.

Его вопрос и смутил и насторожил Куйбышева. Подозревая подвох, он ответил уклончиво:

— Куйбаши-ака не имеет отношения к нашей беседе...

— Мы бы дали верблюдов под его ручательство. Я был в Ташкенте, когда Куйбаши-ака обещал отправить афганских святых в Герат. Когда же святые взяли с собой двадцать правоверных, то кзыл аскеры не захотели отправлять поезд. Пришлось идти к Куйбаши-ака с жалобой...

Куйбышев вспомнил, как неделю назад приказал отправить в Герат афганских священнослужителей, но с их отъездом произошла заминка. К нему приходила депутация мусульман с жалобой на работников Ташкентской губчека.

— Вы тоже были у Куйбаши-ака? — спросил он.

— Я даже разговаривал с ним. Куйбаши-ака сказал: «Пусть едут в Герат и святые и грешники». И тогда мы уехали, — ответил мулла.

— Разве вы меня не узнаете? — как можно сердечнее спросил, улыбнувшись, Куйбышев.

Мулла со строгой внимательностью взгляделся в обросшее жесткой щетиной лицо Куйбышева.

— Я узнаю тебя по улыбке, Куйбаши-ака. Мы дадим верблюдов, и да поможет вам аллах...

Старейшины Кизыл-Арвата дали две тысячи верблюдов, но и их не хватало для перевозки необходимых грузов. Бурдюки с водой пришлось распределить между бойцами.

Отряду предстояло в четверо суток пройти сто верст по черным пескам Каракумов. Бойцы знали, что судьба операции и личная судьба каждого из них зависит от быстроты и соблюдения тайны: если белогвардейцы обнаружат отряд, гибель неизбежна. Никто не

придет на помощь, ибо части Тимошкова ушли из Кызыл-Арвата по железной дороге на Айдин.

Отряд Куйбышева выступил перед рассветом. Верблюжий караван растянулся на многие версты, верблюды шагали бодро, качивая тяжелыми тюками. Конница шла в отдалении от каравана, поднимая облака пыли; еще дальше двигались в пешем строю стрелки.

Куйбышев ехал на саврасом жеребце, вглядываясь в рассветающий мир пустыни. В небе, особенно черном перед рассветом, сияли ровные сухие звезды. За барханы закатывалась маленькая легкая луна, диск ее, резко очерченный и пронзительно яркий, обличал необыкновенную сухость воздуха. В меловом свете луны барханы казались значительно выше и походили на онемевшие морские валы.

Проводник, молодой туркмен, подъехал к Куйбышеву, сказал, прижимая левую ладонь к сердцу:

— Скоро взойдет солнце, и тогда камни пустыни будут кричать. Предупреди своих воинов, Куйбаши-ака, чтобы берегли воду как свои глаза. Пусть каждый пьет только две пиалы в день и ни капли больше...

— Мы последуем твоему совету, джигит.

— Люди не могут идти по караванной тропе, они разбредаются по барханам, как сайгаки, и если каждый...

Проводник замолчал, словно боясь высказать какую-то сокровенную мысль.

— Почему не говоришь до конца? — спросил Куйбышев.

— Кончается ночь — меняются мысли.

— Я хочу услышать твою дневную мысль.

— В полдень, когда закричат камни, воины могут выпить не только свою, но и чужую воду. Отбери у них бурдюки с водой и погрузи на верблюдов...

— Верблюды везут снаряды.

— Вода дороже, Куйбаши-ака.

Рыжее солнце поднималось в зенит, барханы сверкали, словно стекла, воздух терял свою ясность, над пустыней заколебалось знойное марево, смазывая ее очертания. К полудню жара достигла тридцати градусов, во рту появилась сухость, стало тяжело дышать. Куйбышев отпил из фляги глоток теплой воды, но не утолил жажду. Проводник, ехавший рядом, сразу же предостерег:

— Береги свою воду, Куйбаши-ака, жара еще усилится.

Чем сильнее становился зной, тем резче сверкали пески. И несло от них безысходной печалью. Куйбышев положил пальцы на револьвер и тотчас отдернул руку: сталь опалила ладонь. По обочинам тропы то и дело попадались верблюжьих черепа; из глазниц выглядывали серые вараны. Извилистые следы оставляли на песке гремучие змеи, и Куйбышев невольно вздрагивал при виде ядовитых пресмыкающихся. Вдруг он услышал странные сухие звуки, словно что-то пощелкивало и лопалось на барханах.

— Солнце заставило кричать камни пустыни, — встревоженно сказал проводник, показывая на ржавые валуны.

— Такая жара в декабре... А что тут летом? Огненный ад...

— Кричащие камни предвещают черную бурю, — опять сказал проводник.

Если конники страдали только от жары и жажды, то стрелки выбивались из сил, увязая в рассыпающихся песках. Какой-то боец, не выдержав солнцепека, потерял сознание, шедший рядом красноармеец, спасая товарища, помочился на его голову. Боец пришел в себя, но уже не мог идти. Куйбышев отдал ему жеребца, а винтовку и подсумок с патронами закинул себе за спину.

Вечером солнце затянула желтоватая пелена пыли, барханы перестали сверкать и приобрели дымный тоскливый цвет.

— Привал, — скомандовал проводник. — Идет черная буря...

Хотя не было никаких ее признаков, Куйбышев приказал разбить бивак. Верблюды со стоном ложились на землю, лошади опустили головы, раздувая пыльные ноздри, красноармейцы жадно тянулись к бурдюкам с водой. Куйбышев еще и еще раз предупре-

дил о бережном расходовании воды, сам с трудом оторвавшись от соблазнительной фляги.

Прошло полчаса в затишье. Куйбышев полулежал, прислонившись спиной к песчаному холмику, и смотрел на меркнувшее солнце.

С юга подул испепеляющий ветер, вздымая, волоча и клубя песчаные тучи. С визгом и скрежетом запрыгали камни, песчаные струи слились в сплошной поток, и пустыня словно обеспамятовала.

Буря обрушилась на бивак песковоротами, барханы стали смещаться. Пушки забивало песком. Бойцы легли навзничь, пряча в воротники шинелей глаза и уши. Песок обжигал тело, разъедал глаза. Куйбышев со страхом подумал: выдержат ли бойцы атаку взбунтовавшейся стихии? Сам он чувствовал себя ничтожной песчинкой в хаосе песка и ветра.

Три часа бушевала черная буря и унеслась на север. Пустыня успокоилась, небо очистилось от пыли, задышало прохладой. Утром люди долго приводили себя в порядок, выбивали песок не только из одежды, но и из оружейных стволов. Куйбышев, пораженный, смотрел на изменившийся пейзаж: барханы переместились и теперь вытягивались с юга на север и не было никаких следов на песке, кроме их собственных.

Четыре дня продолжался этот поход по Каракумам, и Куйбышев снова убедился в выдержке своих бойцов. Они стойко переносили жару и жажду и заиндевелые ночи пустыни. Не слышно было ни жалоб, ни ропота.

К исходу четвертого дня проводник показал на высокую песчаную гору.

— За этой горой — Айдин, — сказал он как о чем-то обыденном. — Обогнешь гору — выйдешь на железную дорогу.

Куйбышев решил напасть на Айдин перед рассветом; было в запасе несколько часов передышки. Бойцы выпили последнюю воду и прилегли. Измотанный до предела, Куйбышев грелся у маленького костерка, радуясь, что удалось подойти к противнику не-

заметно. «Генерал Литвинов не подозревает о нашем присутствии. А если бы знал, подготовил бы встречу, ведь он может вызвать подмогу из Красноводска. Надо взорвать железную дорогу и телеграфную линию и лишить генерала связи с городом».

Голова Куйбышева склонилась над синими углями костерка, дремота окутывала мягкой пеленой. Очнулся он от чьего-то прикосновения.

— На горе всадники, Куйбаши-ака, — шептал проводник.

Куйбышев вскочил, ухватился за бинокль. На круглой вершине горы маячили пять всадников, — должно быть, разведчики-белогвардейцы. У Куйбышева упало сердце. «Мы обнаружены! Внезапность нападения исчезла, тайна открыта. Генерал Литвинов успеет подготовиться к отпору, а нам нет хода назад... Догнать, перехватить разведчиков, как можно скорее взорвать железнодорожный путь и телеграфную связь», — решил Куйбышев и тут же отдал приказ.

Группа преследователей помчалась наперехват белым. Куйбышев, нахлестывая своего жеребца, скакал впереди.

Белые всадники заметили их и повернули обратно. Они уходили, недостижимые для выстрелов.

Куйбышев выехал на железную дорогу в тылу противника. Он отдавал себе отчет в том, что разведчики уже сообщили о появлении красных, и был обескуражен беспечностью генерала Литвинова: нет никакой охраны на железной дороге. Удалось беспрепятственно взорвать рельсы, свалить телеграфные столбы. Подъехали поближе к станции — там сонная, безмятежная тишина.

«Странно, невероятно! Неужели белогвардейцы все еще не знают о нас?» — подумал Куйбышев и поскакал навстречу уже поднимающемуся в гору отряду.

С горы открывался просторный вид на Айдин: запасные пути забиты поездами, вокзал, депо, здания четко вырисовываются на песчаной равнине.

Захваченные врасплох белогвардейцы метались по станции и гибли под пулями красных. С вершины горы Куйбышев видел, что равнина буквально усеяна бегущими.

В штабе успевшего скрыться генерала Литвинова Куйбышев обнаружил рапорт разведчика. Он доносил генералу, что в четырех верстах от Айдина появился большой отряд красных с артиллерией и конницей. На рапорте красивым мелким почерком было написано: «Арестовать паникера. Чтобы в четырех верстах могли очутиться красные — это исключено. Генерал Литвинов».

Причина его беспечности стала ясна.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Мы берем вашу ладью и объявляем шах и мат, товарищ командующий. Не угодно ли еще партию?

Фрунзе смешал на доске фигуры.

— Хватит, я что-то устал.

— Тогда на боковую и спим до Актюбинска. — Гамбург растегунул воротник гимнастерки, зевнул, прикрывая рот ладонью. — Ползем как черепахи, при такой езде в Ташкенте окажемся через месяц...

Фрунзе промолчал. Гамбург повернулся к окну, вглядываясь в проползающие заснеженные просторы. Белая, бесконечная, печальная степь утомляла глаза.

— Пойду сдать, — повторил Гамбург и вышел из салон-вагона.

Фрунзе пересел на диван, скрестил на груди руки. Задумался. Фронты, события, люди — бурный поток времени мгновенно прошумел перед ним. Прошло всего девять месяцев после Бугурус-ланской операции — первой победы над могущественным врагом, а как все изменилось! Колчак сидит в иркутской тюрьме. Сто тысяч его солдат взято в плен, военные трофеи неисчислимы. Золотой запас России — шестьдесят с лишним тысяч пудов золота и драгоценностей — возвращен народу. «Я телеграфировал Ленину о ликвидации Уральского фронта, а теперь сам получил телеграмму

от Куйбышева: Закаспийский фронт перестал существовать, Куйбышев приближается к Красноводску. Куйбышев? Валериан? Прекрасный товарищ, великолепный организатор, но все почему-то думалось — партикулярный человек. Сейчас вижу в нем талант военачальника. Но откуда он, этот талант? А я сам что — военная косточка? Читать на досуге Клаузевица и Бонапарта маловато для военного дела. Революция растит таланты, борьба за народ поднимает их. Наши полководцы знают, за что воюют, и потому побеждают. Знание — половина успеха. Вера в правое дело — полный успех. И как синтез правого деда и знаний — победа. Военные знания, которые царские генералы приобретали годами в стенах академий, наши командиры получают в кровавых столкновениях с врагом. Революция пробудила умы, раскрыла таланты, дала смелость, сноровку, находчивость, уверенность. Самый лучший пример — Чапаев. Вот в ком воплотился дух революции...»

При воспоминании о Чапаеве лицо Фрунзе помрачнело. «О Чапаеве будут петь песни, создавать легенды, он останется любимым сыном народа. Народная память сохранит образ Чапаева для будущих поколений, ибо на земле бессмертен только народ. Что бы мы знали сегодня о Степане Разине или Емельяне Пугачеве, если бы народ позабыл их имена и деяния?...»

Он прикрыл глаза и увидел Чапаева на гнедом иноходце. На том самом, которого Чапаев подарил ему за месяц до своей гибели. Фрунзе любит этую гнедого красавца с черными добрыми глазами; иноходец и сейчас едет с ним в Туркестан. «В Актюбинске схожу в товарный вагон, проверю, не холодно ли гнедому. Сыт ли».

В поезде командующего — пассажирские и товарные вагоны, платформы с пулеметами и дровами. Приходится везти дрова для паровоза, на станциях нет никакого топлива.

Вместе с Фрунзе кроме Сони и Гамбурга едут Исидор Любимов и Дмитрий Фурманов; первый — начальник снабжения всего фронта, второй — начальник политотдела, и все живут мечтой о Туркестане, хотя и знают: там помимо солнца и земного изобилия

банды басмачей, белогвардейские отряды, жизнь, пропитанная средневековьем.

Фрунзе поднялся с дивана, прошел в купе. Соня спала на нижней полке, подложив ладонь под щеку. Он сел напротив жены, с нежностью посмотрел на ее бледное, с болезненным румянцем лицо. Милая Соня, она сопутствует ему во всех походах, стоически переносит лишения и неудобства. Болезнь подтачивает ее, и нет лекарства, чтобы помочь.

На снежной равнине замелькали заборы, мазанки, здания; поезд подходил к Актюбинску, придавленному лохматым зимним небом и такой страшной бедой, о которой Фрунзе еще не имел представления.

На вокзале командир актюбинского гарнизона доложил командарму: большинство бойцов лежат в госпитале.

— Тиф, — упавшим голосом добавил он, и слово это прозвучало особенно зловеще.

— В госпиталь, — приказал Фрунзе.

— Я не могу вас подвергнуть опасности..,

— В госпиталь! — вспыхнул Фрунзе.

Он, многократно смотревший в глаза смерти, выдавший кровавые поля, усеянные убитыми, был до глубины души потрясен открывшимся зрелищем.

Госпиталь располагался в глинобитном бараке с разбитыми стеклами, зияющими дырами в потолке. На голом полу вповалку лежали больные и мертвые; вши покрывали всех шевелящейся массой. Омерзительные запахи тления и нечистот висели в спертom воздухе.

— Это ужасно! Нет, это чудовищно! Где главный врач? — закричал Фрунзе.

Из угла выступил бородатый старик в грязном халате поверх полушубка.

— Я главный врач...

— Вы? Вы... — обжигаясь яростью, выдохнул Фрунзе. — Расстрелять его! Немедленно! Сейчас же!

Врач закрыл бородатое лицо ладонями и зарыдал.

— Что я могу поделать один? Все санитары умерли. Фельдшер в тифозном бреду. Нет лекарств, нет ни полена дров, даже половицы пришлось сжечь. Не успеваю выносить трупы. Если не принять экстренных мер, жители вымрут... — бормотал он, и от несвязной речи его сжалось сердце командующего.

Фрунзе почувствовал острую боль и тоску. Старый доктор был действительно бессилен перед такой катастрофой, а за трагический свой героизм он достоин награды, не пули.

— Оставьте в покое доктора, пусть исполняет свой долг, — повернулся Фрунзе к командиру гарнизона. — А вы — за дело! Выгрузить все дрова из моего поезда — и в госпиталь. Все здоровые мобилизуются на борьбу с эпидемией, я задержусь с отъездом.

Ни прежде, ни позже не испытывал Фрунзе такого прилива энергии.

В Оренбург, в Самару полетели телеграммы: эшелонов с дровами, и как можно скорее! По городу собирали чистое белье для больных, мужчины ломали заборы, снимали крыши с учреждений и пилили на дрова, женщины мыли полы и стены в госпитале, проводили дезинфекцию домов и служебных помещений.

Вместе с ним работали Соня, Фурманов, Любимов, Гамбург. Все, рискуя заразиться тифом, ухаживали за больными.

Одиннадцать суток продолжалась эта борьба. Фрунзе спал урывками, и Гамбург сказал ему как бы между прочим:

— Поостерегись, Михаил, ты же в ответе за весь Туркестанский фронт...

— Здесь умирает тысяча человек в сутки — ни одно сражение не вырывало у нас столько жертв. К чему революция, если вымрет Россия? К чему все наши слова о будущем, если станет мертво настоящее? — с горечью ответил Фрунзе.

Решительные меры принесли результаты: эпидемия пошла на убыль. Фрунзе отдал последние распоряжения о борьбе с тифом и отправился в путь. На станциях стояли эшелоны с войсками 4-й армии, замерзшие паровозы, составы вагонов. На многие версты

были выворочены рельсы; командир одной из частей смекнул, что топить паровоз можно шпалами, и вынимал их из-под рельсов через короткие промежутки пути, ставя в безвыходное положение остальные поезда. Фрунзе приказал предать командира военно-полевому суду.

Ташкент казался призрачным, как мираж. Поезд задерживали бураны, и тогда приходилось очищать пути. По ночам безумствовали морозы, люди коченели в вагонах. У Фрунзе волосы примерзали к вагонным стенкам; он поднимался и кутал в шинель обессилевшую Соню.

На одной из станций он сказал Гамбургу:

— Пошлю ему телеграмму. Он должен знать, что творится на этом кошмарном пути. Он поймет невольную мою задержку.

Хотя Фрунзе не сказал, кто это «он», Гамбург догадался, что это Ленин.

После Аральского моря стало теплее: небо очистилось от снежных туч, приобрело синий влажный цвет. Все приободрились, повеселели.

В Казалинске Фрунзе получил сразу несколько телеграмм. Куйбышев сообщал, что Красноводск освобожден от белогвардейцев, Новицкий — о бесчинствах басмачей в Фергане, о новых зверствах атамана Анненкова в Семиречье. Была короткая телеграмма из Москвы; в ней говорилось, что «верховный правитель» России Колчак расстрелян в Иркутске.

— И неглупый был человек, а вот не понял, что невозможно бороться со своим народом. В этом трагедия адмирала, — сказал Фрунзе, откладывая телеграмму. — Мертвые сраму не имут, но имя его станет для России черным символом палачества...

За Ак-Мечетью, на маленьком полустанке, Фрунзе прошел к барханам, уже покрытым зазеленевшим саксаулом. На песке грелись пестрые ящерицы, ползали крохотные черепахи. Дикие тюльпаны готовились к цветению, бутоны их казались раскаленными изнутри.

«Природа просыпается к жизни, а мы все воюем и воюем. Мы мечтаем утвердить революцию во всех сердцах, белые надеются, что революция уйдет из каждого сердца, — не потому ли не видно конца войне?» — подумал Фрунзе.

Вскоре поезд ворвался под зеленые кущи ташкентских чинар.

На вокзальном перроне под весенний гром военного оркестра командарм обошел строй почетного караула и направился на площадь, где прибоем шумела толпа встречающих. Цветастые халаты, русские рубахи, тюбетейки, картузы; среди бесконечного разнообразия лиц мелькнуло вдруг до боли знакомое лицо и исчезло.

Благодарно улыбаясь за теплую встречу, Фрунзе продвигался к автомобилю; снова, уже совсем рядом, появилось знакомое лицо, и Фрунзе воскликнул:

— Костя! Брат! Вот так встреча...

Брат Константин служил врачом в ташкентской больнице и пришел встречать Фрунзе, веря и не веря, что это именно он, — мало ли однофамильцев на свете.

— Где мать? Где сестры? Столько лет разлуки, и какие события, какие перемены за эти годы! — возбужденно говорил Фрунзе.

Мать и сестры по-прежнему жили в Верном, скрываясь от контрразведки атамана Анненкова. «Черный атаман» разнюхал о семье Фрунзе и приказал арестовать мать и сестер. К счастью, их никто не выдал.

Фрунзе облегченно вздохнул, но радость подернулась печалью. Если бы сейчас промчаться шестьсот верст до Верного, обнять бы свою старушку, успокоить ее, взглянуть на белые вершины Тянь-Шаня, вдохнуть воздух горных садов. Если бы он мог! Но разве можно оставить дела, в которых заключена судьба всего Туркестана?

Вечером того же дня он обратился с приказом к войскам фронта: «Сегодня, 22 февраля, я с полевым штабом прибыл в Ташкент и вступил в непосредственное командование войсками, расположенными в пределах Туркестана...»

Жарко грело солнце, буйно цвели ташкентские сады, но некогда отдохнуть Фрунзе. Несколько дней знакомился он с положением на фронтах, стараясь определить, где сегодня самая большая опасность? Фергана, которую заливают народной кровью басмачи? Эмир бухарский, готовый каждый час выступить против Туркестана? Хивинский хан Джунаид? А может быть, атаман Анненков в Копале, против которого приходится держать целый Семиреченский фронт?

Разведка заполучила секретные письма атамана Дутова. Он сговаривался с басмачами о совместном нападении на Туркестан. Нельзя допустить этот сговор, надо покончить с Анненковым!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

«С нами бог и атаман Анненков!» — читал полковник Андерс багровый девиз, начертанный на стволе полевого орудия. «С нами бог и атаман Анненков» — увидел он ту же надпись на дверях штаба белоказачьей армии.

Наглый этот девиз смущал аристократа, думалось, что дурно, даже неприлично ставить Анненкова в одну строку с господом богом.

— Брат полковник, я не разделяю вашего негодования, — ласково, но покровительственно возражал начальник анненковского штаба Денисов. — Почему мы ставим атамана рядом с богом? Да вы же знаете пословицу: бог молчит — за него действуют люди. Вы уже месяц как вступили в наше братство, а жметесь, будто гимназистка, когда ее щупают в интимно-лирических местах.

— Не могу я под таким девизом сажать на кол людей, брат капитан. Не могу кидать в горящую печку младенцев, — пробормотал Андерс.

— Смешно и странно! Мы уничтожаем не людей, а красных дьяволов. Истребляя корни, не забывай о семени. Проливая чужую кровь, береги свою, она все-таки голубая. Борис Васильевич Анненков, и я, и вы, слава богу, дворяне. А сколько наших дворян иг-

рали в демократию и вот доигрались. Теперь вместо Москвы окопались в каком-то Копале! Даже острота идиотская. Нам осталось только очищать русскую землю мечом, и огнем, и мором, время присяжных заседателей кончилось. Террор стал божьим словом, атаман — его воплощением.

— Нет бога, кроме бога, и Анненков — пророк его, — усмехнулся презрительно Андерс.

— Можно и так. Какая разница... Принимайте дела бывшего начальника контрразведки, я поздравляю с ответственным назначением...

— Благодар, — с трудом выговорил Андерс нелепо усеченное слово. — Только я не радуюсь, брат капитан.

Андерс никак не мог привыкнуть к правилам, установленным в анненковской армии. Для чего нужно говорить «благодар» вместо «благодарю», зачем кстати и некстати повторять «брат капитан», «брат полковник», при каждой встрече выкрикивать девиз о боге и атамане?

— Вы мне понравились, брат полковник, — продолжал Денисов. — Потому советую: не перечьте атаману. От малейшего возмущения он приходит в бешенство, и тогда... Да что говорить... Ваш предшественник расстрелян за то, что хотел снять с фургона смерти знамя с вышитым черепом и перекрещенными костями. Теперь фургон смерти — ваше хозяйство. Проверьте по списку смертников — за их бегство отвечаете головой. Вот вам канцелярия контрразведки. Тут всякие приказы, донесения, приговоры и прочие милые документы. Ваш кабинет рядом с атаманом, будете у него под рукой денно и нощно. С нами бог... — поднял Денисов указательный и средний палец правой руки.

— ...и атаман Анненков, — угрюмо добавил Андерс.

В своем кабинете он вывалил на стол груды измятых бумажек, стал бегло просматривать.

«В первый день Нового, 1920 года поздравляю все войска Отдельной Семиреченской армии, желаю счастья и успехов в ратных делах...

Приказываю: замеченных в распространении провокационных и панических слухов, агитирующих в пользу большевизма немедленно расстреливать на месте преступления. Право приводить в исполнение расстрел таких негодяев даю каждому офицеру и добровольцу...»

Андерс отложил приказ и углубился в чтение документов. На каждом было начертано: «Совершенно секретно». Документы по военному короткие, каменно равнодушные, с особым презрением к человеческой жизни и смерти. Может быть, именно своим равнодушием и презрением производили они угнетающее впечатление. Безысходная тоска за клубилась в душе Андерса, он почувствовал всю шаткость собственного своего положения: ведь и его жизнь зависела теперь от настроения или прихоти Анненкова.

«...В станице Троицкой ликвидировано 108 жителей, сочувствующих большевизму. Особенно опасных каратели привязали к лошадям и разодрали на части».

«...В селе Перевальном изрублено семь человек. Восьмого — мальчика-младенца положили в зыбку и сожгли живым».

«...Отряд анненковцев с боем занял станицу Константиновку. Большевики были расстреляны, а мирных жителей согнали в церковь, обложили соломой, облили керосином и сожгли. Погибло триста человек».

«...В селе Черный Дол казнено 10 женщин. Красноармейцу Некрасову разрубили голову, достали мозг и положили на грудь. Крестьянина Сивко и его сына заставили рыть для себя могилу. Выпороти каждого десятого жителя. Пороли и приговаривали: «Мужика надо выпороть, посолить раны и снова пороть».

«...В Славгороде расстреляли больных, стоявших в очереди к врачу. Изловили и уничтожили 80 большевиков. Всего в городе убито 1667 человек».

«...В Семипалатинске пленных раздевали догола и заставляли прыгать в прорубь. Сопротивлявшихся закалывали штыками».

«...В селе Вородулиха выпороти всех мужиков, потом расстреляли».

«...В станице Черкасской красноармейцев пилили тупой пилой, завертывали им ноги за шею».

«...В деревне Осиповке живьем закопали в землю 40 крестьян».

«...В станицу Шеманаиху приехали переодетыми в красноармейскую форму. Стали приглашать крестьян записываться в Красную Армию. Всех записавшихся расстреляли на базарной площади. Анненков приказал попу служить молебен по убитым».

«...В случае отступления приказываю жечь все станицы и села» (из приказа Анненкова).

«При отступлении из деревни Карповки убито 108 партизан, сожжено 20 домов» (из рапорта командира карательного отряда).

«После расстрела мятежников излишне ездить по их трупам и петь «Боже, царя храни» (резолуция на рапорте).

«...После захвата Копала восстали три полка Семиреченской армии. Полки разоружили, восставших загнали в камыши озера Арал и расстреляли из пулеметов. Тех, кто пытался убежать, догнали и рубили шашкой».

Андерс отбросил стопу недочитанных бумаг, опустил голову, закрыл глаза. Тоскливая тревога переросла в отчаяние, к горлу подступила тошнота. Казались невозможными такие жестокости, такая смесь ненависти и садизма. «Подобные меры убили белое движение и привели нас к пропасти. Что же делать мне? Уподобиться Анненкову или бежать из его зачумленной армии? Я не могу, и не хочу идти с покаянной к большевикам. Вот проклятие, даже не с кем посоветоваться! Дутов — это Анненков, только меньшего калибра, генерал Белов предусмотрительно скрылся. Капитан Денисов собственноручно расстреляет меня, как братьев офицеров в аральских камышах».

Андерс подошел к окну. Из окна открывалась просторная панорама на Копал, на вершины Семиреченского Алатау.

Военное поселение Копал было основано еще в царствование Александра Второго для защиты киргизов Большой орды, перешедших в русское подданство. Строился Копал как крепость: с земляным валом, гарнизонными казармами, складами, конюшня-

ми, неизменным учебным плацем и чахлой деревянной церквушкой. Русские переселенцы придали военному поселению вид обывательского заштатного городка: понастроили лавок, кабаков, насадили яблоневые и абрикосовые сады, развели виноградники и бахчи. Ничем не отличался теперь Копал от какой-нибудь Чухломы или Тарусы, если бы не мощные вершины Семиреченского Алатау.

Снежные купола и пики, закрывая горизонт, лучились свежо и чисто под весенним солнцем, словно призывая в свою ослепительную белизну, чтоб раствориться в ней и стать частицей дикого, но просторного и естественного мира.

На плацу, между казармами и кабаками стояла выморочная тишина; безмолвно торчали часовые у просторного дома, в котором жил Анненков. Андерс не удивлялся этой опасной тишине. С тех пор как Анненков занял Копал, все казаки, способные носить оружие, были мобилизованы в армию. Женщины, старики, даже ребятишки страшились выходить на улицу: казни, порки, истязания последних дней устрашали всех.

Андерс тоскливо посмотрел на горные вершины.

«За горами, в каких-нибудь тридцати верстах, — китайская граница. Два-три часа езды на хорошем коне — и прощай, Россия», — подумал он, отыскивая взглядом дорогу, ведущую в горы. Обсаженная по обочинам пирамидальными тополями, каменистая дорога манила, обещая свободу и самостоятельность. «Нужно бежать. Медлить нельзя, из Верного сообщают, что отряды красного начдива Белова и части Татарской бригады выступили на Копал. Среди анненковцев распространяется какое-то воззвание Фрунзе, и оно разлагает армию с ужасающей быстротой. Я еще не видел его, надо попросить у Денисова, но все равно, что бы ни обещал Фрунзе, меня он не помилует», — размышлял Андерс.

Из дома вышел сам атаман и генерал Дутов. Часовой отдал честь и замер. Анненков вскинул два пальца к фуражке, Дутов наклонил толстую стриженую голову, и оба направились к штабу. Они шли рядом, высокий, поджарый Анненков в черном мундире

— золотые погоны поблескивали на узких плечах — и плотный коренастый Дутов в шинели нараспашку. Шли широким, властным шагом, уверенные в собственной значительности, в силе своей неограниченной власти.

Андерс торопливо вернулся к столу, придвинул недочитанные документы, невольно прислушиваясь к шагам в коридоре. «Заглянут ко мне или нет? Не хочется сейчас встречаться с Анненковым, при нем я теряю спокойствие».

Они не зашли. Андерс облегченно вздохнул и опять принялся за чтение. Расстрелы, пытки, насилие. Но странное дело: они уже не действовали на Андерса. То ли слишком много было в них папачества, то ли притупилось чувство возмущения, но Андерс уже не испытывал нервной дрожи.

В кабинет вошел ординарец.

— Приказано явиться к атаману, брат полковник, — по установленному правилу отчеканил он.

Андерс мгновенно встал, спрятал в письменный стол бумаги, запер на ключ. Одернул мундир и, пристукивая каблуками, вышел в коридор. У анненковского кабинета остановился, сердце замерло и тут же тревожно забилося. Он осторожно приоткрыл дверь.

— Привет, брат полковник! Проходи и садись, — добродушно сказал Анненков, показывая на стул рядом с собой.

Дутов сидел у стены, расставив ноги, положив на них волосатые кулаки.

— Привет, брат атаман, — глухим, деревянным голосом ответил Андерс. — Явился по вашему приказанию...

— Я никогда не приказываю, я всегда прошу, брат полковник. Вы приняли дела контрразведки?

— Так точно, брат атаман!

— Сколько арестованных в фургоне смерти и в копальской тюрьме?

— В фургоне смерти тридцать человек, в тюрьме — сто двадцать.

— Очень хорошо. Прибавьте к этому еще тридцать два наших мерзавца. Только что арестованы за распространение воззвания Фрунзе. Вы читали воззвание, брат полковник?

— Никак нет!

— Вот оно, полюбуйте! На русском, киргизском, тарачинском — словом, на десяти языках. — Анненков протянул листок.

Андерс прочитал воззвание, прикидывая в уме разрушающие его последствия для Семиреченской армии. Красный командующий предлагал казакам мирно разрешить кровавую тяжбу, обещал полное прощение, личную неприкосновенность и безопасность, всемерную помощь жителям в восстановлении разрушенных хозяйств.

Воззвание подчеркивало, что главные силы белых разбиты, у Семиреченской армии нет никаких шансов на продолжение войны.

— Что скажете, брат полковник? — мягко спросил Анненков.

Андерс глянул в его длинное, узкое лицо. Черные густые волосы наполеоновской челкой прикрывали желтый лоб, маленькие розовые уши, тонкие губы — заурядная, хотя и неглупая, физиономия.

— Что я могу сказать? Обычная демагогия, пустые обещания, — медленно произнес Андерс.

— Вы ошибаетесь, брат полковник. Это воззвание опустошает мою армию. Добровольцы бросают оружие и толпами перебегают к большевикам. Еще несколько дней — и предатели свяжут нас с вами и выдадут красным. Вам нравится такая перспектива?

Андерс не ответил. Дутов саркастически ухмыльнулся, Денисов презрительно поджал губы.

— А мне — нет! И потому вот мой приказ — сейчас уже приказ, а не просьба, брат полковник, — подчеркнул Анненков. — Всех арестованных, находящихся в фургоне смерти и тюрьме, немедленно расстрелять! наших предателей, распространявших воззвание, повесить на военном плацу! Всех без исключения, в том числе офицеров...

Андерс весь сжался от этих категорических слов. «Возражать — бессмысленно, отказываться — опасно. Что же делать? — в который раз спросил он самого себя. — Может, оттянуть время казни до утра? У меня впереди целая ночь...»

— Надо казнить всех преступников одновременно. В присутствии добровольцев и местных жителей. Чтобы устрашили, — заговорил Дутов.

— Я не могу снимать с передовой воинские части и гнать их в Копал на цирковое представление. Где гарантия, что добровольцы не взбунтуются? Вы об этом подумали, брат генерал? — спросил Анненков.

— Тогда к чему одних расстреливать, других вешать? Не проще ли всех отвезти в горы и из пулеметов... — предложил Денисов.

— Ну хорошо. Только вместе с братом полковником ты отвечаешь за проведение такой операции, — согласился Анненков. — А теперь о более важном — о наших собственных жизнях. Красные подойдут к Копалу через пару дней. Сегодня двадцатое марта. Последняя наша схватка начнется не позже двадцать третьего. Чем же мы располагаем? У нас несколько тысяч добровольцев, но многие из них могут бросить оружие. Тех, кто будет сражаться насмерть, осталась горстка. В случае поражения мы уведем их в Китай, на остальных наплевать.

— Не верить в победу до схватки нельзя, брат атаман, — тактично заметил Дутов — он еще смел возражать Анненкову.

— А ты веришь? — вскипел Анненков. — Я вот уверен, что ты не веришь! Победа невозможна, но и пропадать бессмысленно — глупость. В Китае мы все начнем сызнова. В Китае тысячи наших офицеров, еще больше солдат. Там дворяне, сановники, промышленники — цвет и краса России. Есть с кем продолжать борьбу против большевиков.

— Китайцы нас разоружат и интернируют, — опять нерешительно возразил Дутов.

— Не смей меня, брат генерал. Лучше я насмешу тебя. Так вот, один китайский генерал начал сражение, а сам в полевом шта-

бе сел играть в шахматы с пленным офицером. Поиграл немножко и вызвал начальника штаба. «Как дела на передовой?» — «Наши перешли в наступление...» — «Немедленно сварить десять котлов риса и отправить на передовую». Начальник штаба ушел исполнять приказ, а пленный спросил: «Зачем столько вареного риса на передовую?» — «Через час буду кормить пленных, так чтобы знали мое великодушие. Ваших друзей буду кормить...» Через час генерал ел в плену тот самый рис, что сварил для противника...

— Забавно, но как насчет морали, брат атаман? — спросил Дутов.

— Мораль простая. Китайцы нас интернируют, но обратятся за помощью к нам же. Я возлагаю на тебя всю организацию по уходу в Китай. Надо подготовить запасы провианта и фуража на тысячу, от силы на полторы тысячи добровольцев. Обоз, пулеметы, патроны заранее отправить в горы. Приступай к делу немедленно.

— Запасы на полторы тысячи человек недостаточны. С нами пойдут по крайней мере тысячи три, — возразил Дутов.

— Пойдут — возможно, но дойдут ли? Это уже моя забота.

Дутов, Денисов, Андерс ушли, Анненков остался один. Он сидел, о чем-то задумавшись, переплетая пальцы, поигрывая ими. О чем размышлял он в эти минуты, какие мысли роились в его коварном, хитром, страшном уме?

Имя его повергало в ужас мирное население Сибири, Киргизской степи и Семиречья, неслыханные злодеяния его стали символом человеконенавистничества. Злоба к большевикам превзошла все даже немислимые пределы. Он как бы вобрал в себя все, что есть античеловеческого в мире, и направил на борьбу с собственным народом.

Новгородский потомственный дворянин, он окончил кадетский корпус и в чине хорунжего был направлен в 4-й Сибирский полк, стоявший в городе Джаркенте, у китайской границы. Началась мировая война, и Анненков с полком выехал на Западный фронт. В первых же боях он проявил храбрость. Получил четыре георгиев-

ских креста. О его холодной смелости и сумасшедшей жестокости офицеры говорили больше со страхом, чем с уважением.

Презрение к смерти у Анненкова сочеталось с презрением к товарищам, а высокомерие, заносчивость, властолюбие казались оскорбительными, особенно офицерам. Его ненавидели, но боязнь заставляла уступать Анненкову во всем. Монархист, он свержение самодержавия встретил спокойно, считая царя слабым монархом.

Советское правительство решило разоружить казачьи войска; Анненков не подчинился приказу и с несколькими сотнями сибирских казаков уехал в Омск. Отказался он выполнить и требование Омского Совета казачьих депутатов и со своим отрядом ушел дальше, в Киргизскую степь.

Быстро передвигаясь с места на место, он убивал советских работников, грабил учреждения, разорял станицы и городки, терроризируя жителей порками и казнями. В отряд его шли зажиточные казаки, мелкие торговцы, царские жандармы, уголовники и авантюристы.

Анненкова поддерживали сибирские золотопромышленники, щедро отпуская миллионы золотых рублей на формирование отряда. Казахские манапы^[4] сформировали свои полки в его отряде.

Ко времени появления в Омске адмирала Колчака отряд Анненкова насчитывал десять тысяч человек. Колчак превратил его в отдельную Семиреченскую армию, а самого Анненкова произвел в генералы, но черный атаман отказался от этой чести.

— Меня может произвести в генералы только государь император, — ответил он.

Анненков не подчинялся никому, даже «верховному правителю». В «братстве» он установил безграничную власть, и по его приказу на знаменах начертали девиз: «С нами бог и атаман Анненков». Ежедневно, ежечасно офицеры вдалбливали солдатам, что нет ничего запрещенного, если с ними сам бог и атаман. Каждая часть получила свое название: «Черные гусары», «Голубые уланы», «Желтые кирасиры»; звучало красиво, но под этой красотой и декоративным демократизмом скрывался оголтелый про-

извол. Анненков поощрял на убийства и делом и словом. «Кто смеет — тот убивает, кто не смеет — тот грабит», — говорил он перед офицерами и оправдывал казни и пытки циничными изречениями: «Террор — могущественное оружие, и стыдно не воспользоваться им против большевизма».

Он расстреливал своих помощников за малейшее возражение. На военном совете командир черных гусар полковник Луговской осмелился напомнить атаману слова пророка Иеремии: «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы питались плодами и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние ее сделали мерзостью...»

Анненков долго молчал, потом медленно сказал:

— Здесь нет для вас достойных оппонентов по библии, брат полковник. Отправляйтесь на тот свет и скажите пророку Иеремии, что он не прав...

Анненков считал, что террор — это естественное оружие неограниченной диктатуры. Он стал и его философией, и его военной политикой. Но чем больше применял он террор, тем яростнее становилось сопротивление, и не только среди жителей, но и в рядах его же армии. После разгрома колчаковских войск Анненков уже не думал о восстановлении старых порядков. Он только мстил, но иногда его мучили приступы отчаяния.

Вот и сейчас оно захлестнуло его.

Он сидел, обессиленный, как змея, сбросившая кожу. Четырехфунтовые золотые погоны, подаренные семипалатинскими купцами, отягощали плечи, поблескивали золотые розетки на голенищах высоких сапог и серебряные игрушечные кинжальчики на кавказском ремешке. Но побрякушки уже не веселили охолодевшее сердце, как не радовала безмерная власть, которой он обладал.

«Бог на небе, атаман на земле» теперь звучит как насмешка. Я сковал кровавой поручкой и братьев офицеров, и братьев солдат. Позволил им убивать, жечь, насиловать, и все же они разбегаются. Знают, что без меня пропадут, и все же убегают при удобном случае, — вяло подумал он. — Эти проклятые листовки оказались

сильнее дисциплины и страха, армия тает. Никому не ведомый человек подвергает сокрушительному разгрому лучшие силы белого движения — командарм из острога товарищ Фрунзе! Кто же он, этот новоявленный Наполеон в засаленной кепочке мастерового? Говорят, он даже не знает, как заряжать маузер. Позор для русского генерального штаба, для воинской нашей славы! А факты остаются фактами: Фрунзе бил нас под Уфой, в Уральске, Оренбурге, на Каспии, теперь добивает в Туркестане. Большевики вопят, что побеждают идейной убежденностью своих бойцов. Чепуха! Вздор! Армия бессловесна и слепа, она бьет оттуда, куда ее поставят...»

Он оцепенело посмотрел на разноцветные листовки с воззванием Фрунзе, сгреб в кучу, швырнул в угол. Отчаяние переросло в ненависть, ненависть искала выхода. «Я убил тысячи, но если бы мог — уничтожил миллионы. Если бы мог. Какая разница — ликвидировать одного человека или миллион? Вся суть в арифметике. За убийство одного судят как преступника, за миллион величают национальным героем. Пройдут годы, но меня будут помнить в этих степях, как помнят Чингисхана. А чем его слава хуже любой другой? На страницах истории он все равно стоит в первом ряду великих завоевателей. Устрашение, устрашение — вот главный рычаг власти. Только устрашением победишь народ свой».

На плацу послышались шаги, звон оружия, отрывистые слова команды.

Анненков распахнул окно, и тело его напряглось, в глазах появился желтый блеск. Он равнодушно смотрел на плац, нащупывая в кармане пачку с папиросами. С незажженной папиросой в уголке тонкогубого рта ждал он убийства и красных, и своих добровольцев, и ничто не трогало его сердца.

Шеренги арестантов черной чертой пересекали плац, по сторонам толпились копальцы, согнанные на зрелище.

Начальник штаба Денисов увидел в окне Анненкова: тот показал рукой на группу офицеров, стоявших отдельно, потом на Андерса. Денисов понимающе кивнул, подошел к Андерсу, что-то сказал ему. Андерс подкатил пулемет к офицерам и оглянулся.

Анненков махнул рукой сверху вниз, потом слева направо, и Андерс припал к пулемету.

Двадцать третьего марта красные окружили Копал, прислали к Анненкову парламентаря, еще раз предлагая прекратить борьбу.

— Передайте вашему командиру: если он попадет в плен, я посажу его на кол, — ответил Анненков.

Семь дней шла осада Копала, шаг за шагом красные выбивали анненковцев из предместных укреплений. В ночь на двадцать девятое Анненков оставил город и с тремя тысячами добровольцев направился к китайской границе.

У озера Алакуль в урочище Ак-Тума он объявил, что может взять с собой только полторы тысячи человек.

— Остальные могут покинуть отряд. Желающие пусть идут по своим станицам или к большевикам — мне все равно, — сказал он и потребовал только, чтобы уходящие оставили оружие и коней.

Командиры отобрали самых надежных и преданных атаману бойцов. Лишних — полторы тысячи семиреченских казаков — Андерс повел по дороге из Ак-Тума на Алакуль. У непролазных зарослей камыша он остановил колонну и стал прощаться с казаками.

— Не поминайте лихом, братья! Мы еще вернемся и тогда обратимся к вам за помощью. Помните, с нами бог и атаман Анненков!..

Андерс и его помощники долго стояли у камышей, сдерживая нетерпеливых коней, напряженно прислушиваясь. Андерс поглядывал на ручные часы и все повторял:

— Сейчас, сейчас, осталось несколько минут...

В камышах раздалась пулеметная трескотня: уходящих расстреливали из засад, еще утром устроенных на дороге.

После кровавой расправы Анненков пересек границу и был разоружен китайцами. Сам он поселился в городке Ланьчжоу, генерал Дутов — в военной крепости Суйдун. Китайцы решили поберечь их на всякий случай.

Андерс, переодевшись буддийским монахом, бежал из лагеря интернированных. Долго скитался он по китайским дорогам, пока не очутился в Харбине.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Переливался всеми красками, шумел разноязычный ташкентский базар.

Людские толпы смыкались, раздвигались, снова смыкались в сплошное пестрое море. Мелькали полосатые халаты, бархатные бурнусы, каракулевые папахи, белые и зеленые чалмы, тюбетейки. Молодцевато, но мягко ступали черноголовые джигиты, истуканами торчали поседевшие аксакалы, словно черные маски, несли на лицах волосяные паранджи женщины.

Фрунзе и Гамбург шагали между баранами, козами, кучами сушеного урюка и кишмиша, бурдюками кумыса. Из ковровых куржумов выглядывали королевские и серебристые фазаны, рядом вскрикивали павлины, похожие на жирные цветы. Стылали привязанные к арбам верблюды, ревели как оглашенные ишаки, черепахи ползали между их копытами.

Фрунзе и Гамбург шли мимо корзин со свежей черешней, красной клубникой, мешков риса, мимо жаровен с дымящимся шашлыком, чугунных котлов с пловом, бесбармаком, мимо кипящих самоваров. Им назойливо предлагали соленые и пропитанные водкой арбузы, вяленые дыни, виноградные гроздья — прозрачные, как хрусталь, черные, словно антрацит. Жгучие ароматы смешивались с едкими запахами людей и животных. Оживление покупателей и продавцов вскипало под утренним, но уже жарким солнцем.

Фрунзе и Гамбург прошли в крытое помещение рынка; там ослепили их тегеранские, бухарские, самаркандские ковры, обувь из мягкой кожи, цветного хрома, войлочные туфли, гигантские, закрученные спиралью рога горных баранов, седла причудливых форм, кривые ятаганы, изделия из бронзы, серебра, дерева, камня.

После ледящей, голодной жизни Гамбург чувствовал себя словно в каком-то крикливом и душном раю, где все было пропитано сытостью и нахальным изобилием. Ему захотелось процитировать строки о терпкой сладости вина и женских поцелуев, но сейчас Фрунзе не обратил бы внимания даже на Омар Хайяма. Он по-узбекски разговаривал с продавцами, смеялся, шутил, щупал хрустящую кожу седел, ичигов, упругие меха, спрашивал цену, проверял качество изделий. Продавцы цокали языком, с размаху били по его ладоням, словно за гроши продавали вселенную.

Они выбрались наконец из базарной сутолоки на улицу, полутемную от древних карагачей.

— Хорошо, что побывали на ташкентском рынке, — удовлетворенно сказал Фрунзе.

— Ты ж ничего не купил.

— Зато кое-что узнал и еще больше понял. Какая пропасть всего в Туркестане, а армия раздета, разута, живет впроголодь. У бойцов нет сапог, у лошадей седел, и это при таком-то избытке сырья. Ты интендант, немедленно создай артели для изготовления военного имущества. Сырье покупай у местных жителей, но только, чур, без обмана, без реквизиций. Здесь торговля — высокая политика, плати наличными за все, что берешь. Положительно хорошо, что прогулялись по базару, — довольный, сказал Фрунзе.

Вечером того же дня Фурманов пригласил командарма на собрание, созванное политотделом фронта.

— Соберутся женщины, снявшие паранджу, будут слушать рассказы о революции. Это же потрясение законов шариата! До сей поры жен и дочерей, скинувших паранджу, мужья и отцы убивали, — говорил Фурманов.

— И сейчас еще убивают, — напомнил Фрунзе.

— Мы обязаны вести агитацию за женское равноправие...

— Что ты меня убеждаешь... Я, слава аллаху, не феодал. Когда собрание? Скажу несколько слов.

Собрание уже началось, когда Фрунзе и Фурманов запасным ходом прошли на сцену театра. Остановились у занавеса, не желая прерывать русскую работницу, произносившую речь.

— ...Дорогие сестры, паранджа была черной завесой между вами и солнцем...

Фрунзе осторожно отвел край занавеса и сквозь узкую щель оглядел переполненный зал. В косяках солнечного света увидел молодые черноглазые лица, приоткрытые губы, сдвинутые соболиные брови. У всех женщин были откинuty паранджи; тяжелая, из конского волоса, ткань лежала на спинах как мертвое крыло ворона.

— Прими мои поздравления, Дмитрий. Ты добился успеха в борьбе с предрассудками, — шепнул Фрунзе.

Работница сошла с трибуны, председатель заметила Фрунзе и громким, торжественным голосом объявила:

— Слово предоставляется командарму товарищу...

Фрунзе выступил из-за занавеса, и в ту же минуту по залу пронесся резкий сухой шорох: привычным жестом женщины опустили паранджу. Зал потемнел. Между Фрунзе и залом выросла стена отчуждения, неприязни и страха, он даже растерялся от такой неожиданности. Было и неловко, и досадно, и смешно произносить речь, не видя человеческих лиц.

— Поторопился я с поздравлением, Дмитрий, — усмехаясь, сказал Фрунзе, когда они возвращались с собрания. — Борьба с феодальными обычаями едва началась. А как они мгновенно закрылись паранджой! Короткий зловещий шорох — и чернота перед моими глазами.

— Это надо описать, — решил Фурманов. — Это же символ отрицательного значения!

В штабе фронта их ждали плохие новости. Хотя Семиреченский фронт был ликвидирован и Анненков с Дутовым бежали в Китай, борьба продолжалась. Зажиточные казаки, русские купцы, киргизские баи сеяли национальную вражду, саботировали законы

Советов, подстрекали на новые мятежи местных жителей. Особенно тревожное положение было в городе Верном: там уже начались открытые выступления врагов революции.

Фрунзе решил послать в Верный группу большевиков, которые смогли бы успокоить взбудораженный край Семи Рек.

Выбор пал на Дмитрия Фурманова. По предложению Фрунзе Реввоенсовет Туркестанского фронта назначил его своим полномочным представителем в Семиречье.

Фурманов снова надел походную куртку, сунул в левый карман пистолет, в правый запрятал свой потрепанный дневник, распрощался с Фрунзе и отправился в неведомый край у подножия Тянь-Шаня.

Поезд, как чудовищный вьюн, крутился в высоких травах Ферганской долины. Мимо проносились азиатские пейзажи — лиловые от зноя, седые от придорожной пыли. За поездом иногда скакали бородатые всадники с английскими винчестерами за плечами и грозили нагайками, пока не исчезали за поворотом.

Высокие травы сменялись фруктовыми садами, вереницами пирамидальных тополей, глинобитными дувалами, мазанками, спрятанными в тени виноградников.

Фрунзе совершал инспекционную поездку по огромному краю, знакомясь с гарнизонами, стоявшими на станциях, в кишлаках, с дехканами, жившими под постоянной угрозой басмаческих налетов.

Он уже побывал в Самарканде, Коканде, Намангане, в пограничной крепости Кушке, в Полторацке, а сейчас ехал в Андижан, где была расквартирована Татарская национальная бригада. На одной из станций его встретил комиссар бригады Якуб Чанышев.

Фрунзе долго и дотошно расспрашивал комиссара о влиянии басмачей на местных жителей, об отношении дехкан к красным войскам, к Советам, раздумывал, как найти быстрые и верные пути к сердцам простых людей.

— Басмачи — самые непримиримые враги наши, — отвечал Чанышев. — За малейшее сочувствие к нам вырезают целые кишлаки, угоняют скот, поджигают сады. Если дехкане и укрывают их, то больше из страха.

Басмачи совершают неожиданные налеты на наши гарнизоны: убьют в ночной суматохе несколько человек, захватят немного оружия — и в горы. Все они воры и разбойники, и предводители их — такие же головорезы.

— Так-таки все? А говорили, что Мадамин-бек проповедует какие-то свои политические идеи, — возразил Фрунзе.

— Религиозный фанатизм да буржуазный национализм — вот единственная идея Мадамин-бека. Он мечтает об автономной Кокандской республике...

— Все-таки о чем-то мечтает, это выделяет его из общей массы.

— Совсем недавно он уничтожил наш отряд, стоявший в кишлаке Мын-Тюбе, — сумрачно сказал Чанышев.

Фрунзе разглядывал узоры бухарского ковра на полу салон-вагона, а сам думал: «Мадамин-бек действует только из-за угла и ночью, басмачам и баям-феодалам наплевать на его сумбурные идеи. Надо найти иной метод для борьбы с ним!»

— Пора не обороняться от басмачей, а нападать на них. Пора отеснить их из опорных пунктов в пустынные местности, оборвать все их связи с жителями. А вот с Мадамин-беком стоит повести мирные переговоры, предложить ему перейти на нашу сторону, — высказал свою мысль Фрунзе.

— Да что вы, товарищ командующий, — ахнул Чанышев, — с разбойниками не разговаривают — разбойников вешают!..

— Молодой, запальчивый друг мой. Я напому тебе строки великого Фирдоуси: «Впадать во гнев владыке недостойно, добро и зло решает шах спокойно...» Мы, конечно, не восточные владыки, но мудрый совет не стоит отбрасывать. Мадамин-бек объединил значительные силы, у него сильная воля и твердая рука, приказы его — закон. Если такого, как Мадамин-бек, повернуть против басмачества, — результат будет отличный.

— Не знаю. А впрочем, попытка не пытка. Возможно, вы и правы, — согласился Чанышев.

Поезд, притормаживая, сбавлял ход: дежурный полустанка отчаянно размахивал красным флагом. Фрунзе и Чанышев спрыгнули на перрон.

— Что случилось? Почему остановили поезд? — спросил Фрунзе.

— Басмачи разобрали путь. Большой отряд приготовился напасть на вас, — сообщил дежурный.

В поезде одна бронеплощадка с пулеметами и горстка охраны — дать бой басмачам невозможно. Фрунзе приказал возвращаться обратно, но выяснилось, что басмачи успели взорвать рельсы и сзади. А вскоре появились и всадники, устремляясь к поезду и стреляя из винчестеров.

Фрунзе послал нарочного за помощью в андижанский гарнизон, сам принял командование над охраной поезда.

Одну за другой отбивал он басмаческие атаки; пулеметы раскалились от непрерывной стрельбы, горстка красноармейцев, покинув вагоны, залегла в кюветах, расстреливая басмачей из укрытий.

Прошло три часа боя под нестерпимым солнцем. Фрунзе чувствовал полное изнеможение. Изредка он кидал быстрый взгляд на Чанышева: комиссар горбился у второго пулемета, в молодом закопченном лице его жила решимость борьбы до последней пули.

И они победили. Нападающие прекратили атаки, повернули коней, поскакали прочь. По пыльной дороге мчались на выручку командующему татарские эскадроны из Андижана.

Утром в Андижане состоялся митинг, на котором выступил Фрунзе. Он говорил по-русски, по-узбекски, с тем особенным подъемом, когда оратору нужно сказать что-то значительное, важное и совершенно необходимое.

— Басмачество — смертельный враг трудового народа, борьба с ним — священный долг не только Красной Армии, но и всего населения, — говорил он. — Большевики завоевали свободу для

всех народов России, им надо завоевать теперь доверие и любовь простых людей Туркестана. Мы несем вам великие идеи революции, и каждый наш поступок должен соответствовать нашим словам. Мы должны оставлять за собой в кишлаках Ферганы не слезы и горе, а радость и благодарность. Если же кто-то из кзыл аскеров рискнет осквернить Красную Армию недостойным поступком — горе такому человеку!..

Внимательно слушали красноармейцы, железнодорожники, дехкане, в притихших толпах на площади чернели паранджи женщин, и опять Фрунзе хотелось видеть их открытые лица, чтобы понять действие своих слов. Но это было еще невозможно, законы шарията стояли над рабынями мрачными тенями.

После митинга Фрунзе возвращался в штаб бригады. Автомобиль крутился в узких улочках, нырял в тень густых тополей, огибал бесконечные дувалы, пока не выскочил на небольшую площадку с кружевным минаретом. Около мечети толпились аксакалы и женщины с неизменной паранджой на лице. Они что-то кричали, призывая на помощь.

— Остановись, — сказал Фрунзе шоферу и выпрыгнул из машины.

— Уй бой, вайдот, вайдот! Кель сакчи, кзыл джигит!^[5] — вопил старик, размахивая сорванной с головы тюбетейкой.

— Что тут происходит? — спросил Фрунзе.

Аксакал показал на двух красноармейцев, отнявших у него корзину с лепешками.

Фрунзе шагнул к ним.

— Как вы смеете грабить человека? — спросил он гневно. — Вы бойцы Красной Армии! Как вы смеете?

— А тебе чо надоть? Не встревай в чужие дела, — нагло обнажил в усмешке желтые зубы один из бойцов.

— В машину! Немедленно! — Фрунзе вынул наган.

Бойцы наконец догадались, кто перед ними, и покорно подчинились приказу.

В штабе бригады Фрунзе приказал созвать военно-полевой суд. Сам заперся в комнате и долго ходил из угла в угол: вихрь смятенных мыслей не давал покоя. «Корзина с лепешками — мелочь, но мы произносим высокие слова о свободе, избавлении от гнета, от произвола и насилия. Все красивые слова — вздор, если они перечеркиваются пусть даже ничтожным поступком мародера! Вздор и болтовня, если не последует наказание — немедленное, беспощадное! Враги используют даже мелкий проступок против нас. Да еще как используют — тысячекратно раздуют клевету. Но на каких весах взвешивать преступление и наказание в условиях военного времени, да еще здесь, в Азии, перед лицом не знавшей справедливости бедноты? Не корзина лепешек, а принцип революционной идеи требует возмездия, но не я ли вчера говорил комиссару: «Впадать во гнев владыке недостойно, добро и зло решает шах спокойно...» Я не хочу быть владыкой, но мне решать судьбу многих людей по законам революции... Так решай же, решай...»

Он присел к столу, сжал ладонями голову. Тяжело, учащенно стучало сердце, голубоватые тени стали темными, и все в комнате подернулось пепельным цветом.

Нервно и сердясь на себя, он начал писать приказ, прорывая бумагу пером:

«Все негодяи, грабители, примазавшиеся к революционной власти для достижения своих личных целей, изгоняются из ее рядов. Начинается привлечение к власти широких кругов мусульманского населения города и кишлака... Скорей же, братья дехкане, подымайтесь на борьбу с язвой местной жизни — басмачеством!»

Перечитал написанное и, подумав, зачеркнул слово «Приказ», написал: «Воззвание». Это должно быть воззвание к населению Ферганской долины, в котором открыто признаются все ошибки и несправедливости, допущенные представителями Советской власти против дехкан. А они были, эти ошибки! Незаконные реквизиции были, и насилия были! Но в безумном напряжении последних

дней как-то не удавалось взглянуть на них со стороны, осмыслить политически, оценить морально.

Поздно вечером военно-полевой суд вынес приговор бойцам, ограбившим старого дехканина. Приговор о расстреле лежал на столе командарма, но он все ходил и ходил из угла в угол, не решаясь начертать на нем короткое слово «утверждаю».

Наконец решился.

Мародеры были расстреляны на той же самой площади перед мечетью, где совершили преступление.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В кабинет вошел высокий, стройный узбек в белой чалме, приложил руку к сердцу, поклонился. Произнес с достоинством знающего себе цену человека:

— Мадамин-бек, предводитель ферганских повстанцев...

Фрунзе поднялся, пригласил давно ожидаемого гостя присесть на диван. Принесли ароматный чай в фарфоровых пиалах, восточные сладости. Фрунзе предложил гостю душистый турецкий табак для его чилима с изогнутым янтарным мундштуком. Мадамин-бек закурил и, пуская красивые колечки дыма, молча смотрел на Фрунзе. Командующий тоже молчал, помня про обычай не говорить сразу о самом важном. Величавое достоинство и смиренная выдержка входят в неписанный кодекс восточной дипломатии.

Первым заговорил Мадамин-бек.

— У русских орлов крепкие крылья. Они пролетели от берегов Волги до предгорий Памира, а это длинный путь. Очень тяжелый путь. Ферганские орлы еще не научились таким большим перелетам.

— Орлы любят учить своих орлят высокому полету. Поднимают их в небо и гоняют кругами до тех пор, пока они не привыкнут к высоте, — отозвался Фрунзе.

— Это верно, высокочтимый дюртенчи¹⁶, но нашим орлятам далеко до русских.

— Тогда почему бы русским орлам не научить ваших орлят смелому парению в небе? Не надо только мешать учению, как это делаете вы, Мадамин-бек. Пройдет год-два, и ферганские орлята вместе с русскими достигнут головокружительных высот, — ответил Фрунзе, а сам подумал: «Не слишком ли высокопарно я разговариваю?»

— Да, возможно, это и так, — неопределенно согласился Мадамин-бек.

— Что же вас смущает?

— Не заклюют ли русские орлы наших, высокочтимый? Мы уже познали по своему опыту силу двуглавого русского орла.

Фрунзе отпил глоток чая, поставил пиалу на низенький столик, пригладил русую бородку, выигрывая мгновения для веского ответа.

— Двуглавый орел клевал не только ферганских дехкан, но и русских мужиков. Тот орел умер. Красные орлы уважают орлов свободы любой нации. Узбеки, туркмены, таджики, киргизы — все теперь одного гнезда.

— Это мудрые слова, высокочтимый дюртенчи, но за мудрыми словами должно быть дело. От имени ферганцев я заявляю: нам нужна независимая, автономная Фергана.

— Вам нужна автономия, — неспешно, выделяя слово «автономия», повторил Фрунзе. — Какая автономия? Колонии бывшей царской России? Или, может быть, автономия Индии, где вся власть в руках колонизаторов и национальных компраторов? Автономия, в которой все земли и воды принадлежат богатым, а для народа — каторжный труд? Такой автономии хотите вы?

— Нет! И еще раз нет! — отрезал Мадамин-бек. — Нам нужна самостоятельная, автономная Фергана.

— Так она же у вас есть. Берите ее! Конституция Туркестанской Советской республики передает всю власть рабочим и дехканам. Конституция отбирает земли и воды у баев и феодальных князей и возвращает их трудящимся. Конституция предоставляет ферганцам все фабрики, все рудники. Почему же вы их не берете? За-

чем восстаете против того самого, что вам так необходимо? Не понимаю, Мадамин-бек...

— История Востока учит осторожности во всем, что обещают люди Запада. История предостерегает мусульман от опасностей белого владычества.

— А кто пишет историю человечества на Востоке и на Западе? — спросил Фрунзе. — Читал я забавную притчу, вот она: умер персидский шах, на престол взошел его сын и созвал всех мудрецов. «Прежде чем начать править государством, хочу знать его историю. Напишите!» — приказал он. Мудрецы писали историю тридцать лет и накатали полсотни толстых фолиантов. Принесли шаху. «Мне шестьдесят лет, не хватит времени прочитать все тома. Сократите!» Ученые сокращали еще десять лет и принесли том в три тысячи страниц. А шах лежал уже на смертном одре. «Так я и умру, не узнав историю моего государства». — «О мой повелитель! Я расскажу тебе всю нашу историю в одной фразе. Люди рождаются, люди страдают, люди умирают», — ответил мудрец.

— Я знаю эту притчу. Ее сочинил французский писатель Франс. Он большой насмешник и ради острой шутки искажил правду нашей истории, — презрительно ответил Мадамин-бек. — В истории Востока кроме страданий народных есть и народные деяния. Купола Самарканда, звездные карты Улугбека, стихи Саади — не ими ли разговаривает с миром душа нашего Востока? — Мадамин-бек встал с дивана.

Фрунзе тоже поднялся. Он был ниже ростом, но Мадамин-бек не почувствовал этого своего преимущества, его полностью захватили слова: «Вам нужна автономия? Почему же вы не берете ее?» «Этот дюртенчи умен или же чересчур хитер — хитрость часто заменяет ум. Он убедил меня наполовину, только наполовину».

— Еще до встречи с вами я понял горькую истину: если против вас не смогли устоять все силы Колчака, если никто не помешал кзыл аскерам прийти в Туркестан, что же могу сделать я, Мадамин-бек?

— Принять советскую автономию...

— А если нет?

— Тогда через вашу голову Красная Армия протянет руку дружбы дехканам Ферганы...

— Я дам ответ завтра, высокочтимый...

Через несколько дней Мадамин-бек торжественно объявил о переходе на сторону Красной Армии. Фрунзе назначил его командиром конного узбекского полка.

После удачи с Мадамин-беком Фрунзе решил вступить в переговоры с другим влиятельным вожаком басмачей — Хал-Ходжой; он был другом Мадамин-бека, и

Фрунзе рассчитывал на успех. Однако Хал-Ходжа наотрез отказался приехать в Андижан, но пригласил Фрунзе к себе.

— Ехать или не ехать? — колебался командующий.

— У Хал-Ходжи дурная слава, но он приглашает сам, а законы восточного гостеприимства священны, — отвечал Чанышев.

— Тогда поеду.

— Я все же не советую. Пошлите лучше меня, я знаю мусульманские обычаи. Так будет спокойнее.

— Ладно. Поедешь с представителем Андижанского ревкома.

Душной ночью они отправились в Араван-кишлак. На околице Аравана их задержали охранники, ссадили с лошадей и повели к Хал-Ходже.

Хал-Ходжа принял их в роскошном халате, сидя на трех расшитых цветами подушках. Золотой, осыпанный бриллиантами пояс стягивал его узкую талию. За поясом торчали кинжалы, английский винчестер лежал на отдельной атласной подушечке. По обеим сторонам Хал-Ходжи сидели бородатые, в чалмах, советники, у каждого на коленях темнел револьвер.

Комиссары остановились на краю зыбкого зеленого ковра. «Слава аллаху, что не обыскали. У меня в кармане две гранаты, но что значат они среди этих волков...» — подумал Чанышев.

— Вассалям алейкум!^[7] — сказал он.

— Здравствуйте, комиссары! Зачем пришли? — бесцеремонно спросил Хал-Ходжа.

— Еще в Андижане наслышаны мы, что Ходжа-ишан-ака — добрый мусульманин и большой святости человек. Правоверным никогда нелишне почерпнуть из кладезя мудрости, и вот мы у тебя. Если наш приход не нравится, мы уйдем, не вкусив плодов твоего гостеприимства, — ответил Чанышев.

Хал-Ходжа ядовито усмехнулся:

— Закон гостеприимства не позволяет отпустить гостей без угощения и достойной беседы. Прошу садиться, вот буза, вот кишмиш.

Хал-Ходжа подал знак рукой одному из советников. Тот исчез за дверью. Комиссары сели на подушки, Хал-Ходжа разлил бузу по пиалам. Началась болтовня о погоде, о здоровье, собеседники прощупывали друг друга, стараясь угадать потаенные мысли, с такой предельной вежливостью, что Чанышеву с трудом удавалось смирять свое нетерпение.

Вернулся советник с белым барашком на руках. Хал-Ходжа благословил животное.

— Пусть повара приготовят шашлык для гостей, — приказал он.

Только через час, после выпитой бузы и шашлыка, Хал-Ходжа начал расспрашивать о политических событиях, особенно интересуясь отношением Советской России к Ирану, Турции, национальной политикой большевиков.

— Комиссар Фрунзе послал вас уговорить меня, чтобы я сложил оружие. Почему сам комиссар не захотел быть моим гостем?

— У комиссара Фрунзе нет времени, почтенный Хал-Ходжа, но он шлет почтительный поклон и пожелание радости, — ответил Чанышев. — Все важное, что скажете вы, мы передадим ему...

— Скажите комиссару, что Хал-Ходжа будет думать. Я буду долго думать, слишком серьезное дело — сложить оружие перед кзыл аскерами. У вас резвые кони?

— Мы не жалуемся на своих коней, — ответил Чанышев.

— Я велел хорошо накормить их. Поспешите в Андижан, передайте Фрунзе: мой ответ он получит через два дня. Только спешите, не жалея коней, через полчаса мои джигиты отправятся в погоню. Если догонят — не отвечаю за вашу жизнь...

Басмачи снова усилили свои набеги. Они нападали на гарнизоны, на кишлаки, угоняли скот, истребляли посевы, отводили воду из арыков или же затопляли кишлаки со стоящими в них гарнизонами.

Фрунзе прекратил мирные переговоры с басмачами и создал Андижанско-Ошский боевой район, на территории которого развернула свои действия Татарская бригада. По всему району формировались летучие конные отряды из местных жителей и железнодорожников. Эти отряды действовали совместно с гарнизонами, в помощь им Фрунзе послал из Ташкента бронепоезда и бронемашину.

Чанышев почти не слезал с коня. Он то создавал новые летучие отряды, то инспектировал свои гарнизоны, то выступал на митингах, призывая дехкан к борьбе с басмачами. Настойчиво напоминал, что Хал-Ходжа смел, хитер, увертлив и с ним нужно быть начеку. Об этом говорил он и командиру сводного отряда, выступающего против Хал-Ходжи.

— Хал-Ходжа собирается напасть на гарнизон в районе Курган-Тюбе. У него две тысячи всадников, его поддерживают баи, он знает все ходы и выходы в тех местах. Не попадите в ловушку, — предупреждал Чанышев.

— Мы били под Оренбургом белоказаков, — лихо ответил командир сводного отряда. — Нам ли остерегаться какого-то бандита...

Хал-Ходжа воспользовался легкомысленной самоуверенностью молодого командира. Чанышев получил донесение, что басмачи окружили сводный отряд под Аим-кишлаком.

Чанышев собрал саперов, штабников, работников политотдела и помчался на выручку.

Неподалеку от Аим-кишлака, на берегу горной речки, они увидели печальную картину: всюду лежали мертвые красноармейцы. В неистовой злобе своей басмачи выкололи всем глаза, обрезали уши, отрубили пальцы. Дотлевал сожженный грузовик, в кустах бродили оседланные лошади.

Чанышев похоронил убитых и дал клятву ликвидировать шайку Хал-Ходжи. Фрунзе направил в помощь Чанышеву два эскадрона и артиллерию. Чанышев повел орудийный огонь по Аим-кишлаку, потом бросил в атаку свежие эскадроны. Кавалерия атаковала басмачей с тыла и ворвалась на улицы кишлака. Басмачи, не выдержав натиска, переправились через реку и ушли в горы.

— Никакой передышки Хал-Ходже! Мы возьмем его живым или мертвым, но возьмем, — снова поклялся Чанышев.

По каменным осыпям над бездонными пропастями, по висячим мостикам через бурные потоки преследовали татарские эскадроны отряд Хал-Ходжи. Чем выше поднимались они, тем причудливее, отрешеннее становился горный мир. Изредка великое горное безмолвие нарушалось отдельными выстрелами, и тогда эхо катилось по ущельям и горы передавали его друг другу как эстафету. Иногда же от неловкого движения срывался камень, увлекая за собой множество других. Каменная осыпь падала громоподобным водопадом, и эхо уже ревело в ущельях, словно смертельно раненный тигр.

А настоящий, живой тигр как-то выпрыгнул из кустарника на тропу. Чанышев, шедший впереди, даже попятился от испуга, но зверь исчез.

— Почему не стрелял? — спросил проводник-дехканин.

— Приберег пулю для Хал-Ходжи. Он пострашнее любого тигра, — сумрачно ответил комиссар.

— До него уже близко, — ответил проводник. — Хал-Ходжа достиг вершины перевала, а перевал обрывается в пропасть. Теперь разбойник в ловушке.

Осторожно приближались бойцы к вершине перевала. Затаившись между скалами, ожидали басмачи, и опять было напряженное горное безмолвие.

Раздался тяжелый каменный гул, от которого пошатнулась под Чанышевым тропа.

— Лавина! Где-то совсем рядом, — возможно, на перевале, — предположил проводник.

Минут через двадцать на узкой тропе появился басмач с белой тряпкой на палке. Размахивая своим флагом, он прижимал левую ладонь к сердцу и кланялся. «Парламентер», — подумал комиссар и шагнул навстречу.

— Ходжа-ишан-ака погиб в камнепаде. Мы сдаемся кзыл аскерам, — сказал парламентер...

Татарская бригада день за днем освобождала от басмачей Андижанско-Ошский район. Фрунзе приказал всех сдавшихся направлять в Ташкент, в военные лагеря, для проверки их лояльности. Басмаческое движение распалось, и лишь отдельные главы не хотели признавать Туркестанскую Советскую республику.

Разведка сообщила Фрунзе, что командир 1-го тюркского полка Ахунджан, тоже бывший басмач, замыслил измену.

Фрунзе выехал в Андижан. В штабе Татарской бригады на военном совете он объявил: тюркский полк отправить в Ташкент для переформирования, его командира арестовать в Андижане.

По случаю приезда командующего тюркский полк решили вывести на парад. Бойцы должны были явиться в новом обмундировании, со знаменем, оружием, но без патронов. Ахунджан со своими ротными командирами приглашался к командующему на совещание перед парадом. В то же время Чанышеву было приказано на параде зорко следить за мятежниками, в удобный момент разоружить их.

Чанышев обдумал все до мелочей.

— Перед каждым мятежником будут стоять два красноармейца. Мятежники должны держать своих коней под уздцы; руки за-

няты, а винтовки закинута за плечи. По моему сигналу бойцы сразу отбирают у них оружие. В переулках и на перекрестках у площади я поставлю повозки с пулеметами, во дворах — боевые секреты. Все выходы из города перекрою, — говорил он.

— Действуй без колебаний, — предупредил Фрунзе и отправился в Народный дом арестовывать Ахунджана.

Случайности иногда разрушают самые обдуманные, самые блистательные планы. Случайности ставят порой в безвыходное положение командиров, приводят к трагическим пропастям армии. В диком сцеплении случайностей гибнут виноватые и неповинные, и какая-нибудь оплошность взрывается, словно мина под ногами сапера.

Все, казалось, предусмотрел Чанышев в операции по разоружению мятежников, но не мог предвидеть, что мятежники явятся на парад с оружием, заряженным боевыми патронами. Не предвидел он и того, что площадь запрудят мирные жители — придут полюбоваться парадом. Люди окружили и бойцов Татарской бригады, и мятежников, и напрасно старался комиссар оттеснять их.

Встревоженный, Чанышев поднялся на трибуну, зачитал приказ о снятии Ахунджана с поста командира и разоружении полка и подал сигнал.

Бойцы кинулись к мятежникам, затрещали винтовочные выстрелы, заработали скрытые во дворах пулеметы. Между красноармейцами и мятежниками начался рукопашный бой.

А в Народном доме Фрунзе ждал Ахунджана. Он появился с дюжиной своих единомышленников; по решительному виду изменника командующий понял, что тот готов на все, и не стал тратить времени на церемонные разговоры.

— Реввоенсовет фронта решил направить Тюркский полк в Ташкент, — объявил он.

— Мы не уйдем из Андижана. Здесь наши дома и семьи, они останутся без защиты, — ответил Ахунджан.

— В Андижане Татарская национальная бригада. На нее возложена охрана города и жизней его жителей.

— Город волнуется. В городе слухи, что, как только мы уйдем, начнутся убийства и грабежи...

— Это ложь, Ахунджан! Красноармейцы не занимаются грабежами, — возмущенно воскликнул Фрунзе. — Ты засорил полк басмачами, это они грабят и насилюют, а потом приписывают свои преступления бойцам Татарской бригады.

— Я не выведу своего полка из города, — упрямо сквозь зубы проговорил Ахунджан, и лицо его налилось темной кровью.

— Револьвер на стол! Ты арестован! — Фрунзе требовательно протянул руку.

Ахунджан выхватил маузер и направил его на командующего. За спиной командующего мгновенно встали бойцы. Фрунзе молча смотрел на Ахунджана, и под этим властным взглядом Ахунджан швырнул пистолет на стол. Единомышленники тоже побросали свои револьверы.

В зал Народного дома вбежал Чанышев.

— Сопротивление басмачей сломлено, но есть убитые, есть раненые, — торопливо сообщил он.

— Объяви всем джигитам, сложившим оружие: никто из них не будет наказан. Они всего лишь послушные исполнители враждебной воли, — приказал Фрунзе и вышел на крыльцо Народного дома.

— Ахунджан — безумец. Но если может сойти с ума командир, почему то же самое не может случиться с полком? — говорил Чанышев, следуя за главкомом.

— Военное безумие охватывает иногда целые нации, но здесь не то. Здесь — слепое подчинение несчастных, запуганных рабов своим повелителям. Политическая слепота излечима, если есть знающие свое дело доктора. — Фрунзе недовольно оглядел базарную площадь, все еще засеянную стреляными гильзами, бумажными клочками, темными пятнами запекшейся крови.

— Час назад здесь творилось черт знает что. А теперь тяжелая, неприятная тишина, как перед бурей, — сказал Чанышев.

— Бури здесь больше не будет. Отсюда я решил ехать в Ош, надо и там на все взглянуть своими глазами. Ты поедешь со мной, комиссар...

Крохотный городишко Ош притаился в предгорьях Алайского хребта на высоте тысячи метров над уровнем моря. Мало кто из людей Запада слышал про Ош, но на Востоке он славился как одно из древнейших поселений. Через Ош проходил когда-то «шелковый путь» в Китай, в Индию, в нем жили мастера-искусники резьбы по мрамору, по дереву, их творениями украшались стены ханских дворцов Самарканда, Бухары, Хивы.

Басмачи отбесчинствовали в Оше и, теснимые частями Татарской национальной бригады, ушли в дикие горы, оставив слухи о «жестокости кзыл аскеров». Как черное воронье, носились эти слухи над городом, и самым страшным был слух о том, что большевики взорвут Трон Соломона, уничтожат святой камень пророка Али, слугителей его предадут мучительным пыткам.

Смутную тоску и тревогу переживал городок в день приезда самого главного кзыл аскера. Муллы — охранители святого камня решили погибнуть, но не покинуть Тахт-и-Сулейман.

Фрунзе провел совещание с командирами гарнизона и советскими работниками. Строго-настрою наказал привлекать дехкан на сторону Советов и словами и делами, и особенно уважать мусульманские обычаи. Кто-то сказал о неопишемом страхе правозверных за местную святыню.

— Вот как, — удивился Фрунзе. — Я хочу посетить Трон Соломона.

Небольшая кавалькада направилась в западную часть городка, над которой возвышался Тахт-и-Сулейман. Кони Фрунзе и Чанышева шли ноздря в ноздю. Гнедой иноходец легко, красиво нес седока, командующий — стройный, подтянутый, с винчестером за плечом — показался комиссару особенно бравым кавалеристом. «Лихой наездник, ничего не скажешь, — думал Чанышев. — А конь-то — чапаевский».

При воспоминании о Чапаеве тень промелькнула по лицу комиссара. «Страх перед смертью унижает человека, слава после смерти возвышает его. Чапай — дважды герой: он не испытывал страха в миг гибели, народ славит его после смерти. Не в этом ли истинное величие солдата?»

Кавалькада поднялась на вершину Трона Соломона. Фрунзе спрыгнул с коня. Спешились и спутники. Истощенные, в рваных халатах, охранители камня пророка Али сбились в кучу, цепenea от предчувствия неслыханного кощунства.

Фрунзе снял фуражку, подошел к священному камню, склонил голову. Даже тень усмешки не проскользнула по сжатым губам его, в глазах, всегда спокойных и решительных, было неподдельное почтение.

Муллы не шевелились, приоткрыв беззубые рты.

Со Священной горы всадники спускались в глубоком молчании. Чанышев, поглядывая на командующего, думал, что он, большевик, атеист, военачальник, преподал ему незабываемый урок тонкого, деликатного и мудрого отношения к народным традициям.

Фрунзе вернулся в Ташкент; там ждала его семейная радость. Софья Алексеевна родила дочку. Сияя от счастья, он носил на руках младенца и все спрашивал:

— Какие самые красивые женские имена на Востоке?

— Лара, — сказал Куйбышев.

— Амира, — сказал Новицкий.

— Лейли, — сказал Гамбург.

— Хорошие имена, но все же назовем ее Татьяной в честь пушкинской героини. Не правда ли, Соня?

— «Итак, она звалась Татьяной», — улыбнулась Софья Алексеевна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Сеид-Алим, эмир бухарский, был любимцем русского императора.

Николай Второй оказывал ему особые знаки внимания: в Ялте он построил для эмира роскошную дачу, по всякому случаю осыпал наградами и дорогими подарками. Табакерки, украшенные бриллиантами, халаты и пояса, шитые белым и черным жемчугом, даже только что входившие в моду граммофоны получал эмир.

Расположение императора к Сеид-Алиму таило в себе тонкий политический расчет. Бухарский эмират — бастион

Русской империи в Средней Азии. Несметные богатства Востока, проникновение русского империализма в сопредельные страны, близкий путь в Индию, постоянная напряженная борьба за владычество с Великобританией сплетались там в запутанный клубок политических интриг.

Императорские резиденты имели в Бухарском эмирате экстерриториальные поселения, свои районы в городах на манер английских сэттльментов. Эмират был включен в русскую таможенную черту.

Великая Бухара, насчитывающая двадцать веков существования, превратилась в заурядный провинциальный город империи, хотя история ее по-прежнему сверкала созвездием славы.

Жители Туркестана гордились историей города. «Если ты имеешь два мешка золота, отдай их, чтобы только взглянуть на Бухару» — эти слова были крылатой поговоркой в народе.

В Бухаре создавали бессмертные произведения Фирдоуси и Рудаки, из Бухары по всему миру разлетелась слава о великом ученом-энциклопедисте Абу Али ибн Сине (европейцы звали его Авиценной).

Бухарские мечети, медресе, мавзолеи восхищали всех совершенством своих архитектурных форм. Особое место среди исторических памятников занимал минарет Калян, или Великий минарет, он же минарет Смерти. С его сорокашестиметровой высоты муэдзины призывали правоверных к молитве, дозорные наблюдали за

появлением вражеских полчищ, феодальные властители сбрасывали приговоренных к смерти. Минарет служил одновременно и аллаху, и дьяволу, и мстительным страстям тиранов.

В центре города, на площади Регистана, возвышалась древняя крепость Акра, служившая резиденцией для бухарских эмиров. Дворцы, гаремы, сады, мрачные казематы вмещала эта крепость, ее мощные стены служили надежной защитой эмира не только от завоевателей, но и от гнева народного.

И все же поразительные архитектурные творения Бухары не могли скрыть гнойные язвы разлагающегося эмирата. Рабство, религиозное ханжество, политический обман, ненаказуемые преступления перед собственным народом уже давно стали нормой жизни эмиров.

После падения русского императора Сеид-Алим спешно создал свою армию. Пятьдесят тысяч сибав¹⁸¹ обучались военному искусству у английских офицеров. Англия же оснащала их самым современным оружием. Раскаты октябрьской грозы напугали Сеид-Алима, он почувствовал ее дыхание за четыре тысячи верст от своего дворца. А когда рядом, в Ташкенте, возникла Туркестанская Советская республика, эмир стал готовиться к смертельной схватке с большевиками. Он принимал в свою армию и царских офицеров, и колчаковцев, и басмачей.

И все же он боялся открыто напасть на Туркестанскую республику. Как ни бесправны были его подданные, ветер русской революции уже бушевал над ними. Рабы поднимали голову, тайное недовольство перерастало в открытое неповиновение.

В одной из схваток попал в плен Мадамин-бек; басмачи сперва уговаривали его перейти на службу к эмиру.

— Дни Сеид-Алима, как и ваши, сочтены...

— Ты изменник, Мадамин-бек!

— Спасти свой народ от тирана — доблесть, а не измена, — гордо ответил тот.

— Мы прирежем тебя как барана! — Главарь басмачей вытащил свой ятаган. — Вместе с тобой погибнет и красный гарнизон в кишлаке Вуадиль.

Поблескивая ятаганом, он подошел к Мадамин-беку, но, подумав, приказал одному из басмачей:

— Застрели его, тело брось шакалам, голову отвези в Бухару...

Ночью басмачи напали на маленький гарнизон в кишлаке Вуадиль. Красноармейцы, захваченные врасплох, защищались героически, но слишком неравны были силы. Только один из них прорвал-

ся сквозь кольцо басмачей и принес Фрунзе горькую весть о гибели Мадамин-бека и гарнизона.

Фрунзе с отрядом конников направился в Вуадиль. Чем ближе подъезжал он к кишлаку, тем нестерпимее становилась боль за погибших товарищей.

Запутанными стёжками, обходными тропами мчались в Вуадиль лазутчики, чтобы сообщить: сам красный генерал выступил в поход на басмачей.

Неподалеку от Вуадила Фрунзе встретил всадника. Тот передал ему письмо от басмачей. «Его превосходительству кзыл генералу Фрунзе» — крупными красивыми буквами было выведено на конверте. Басмачи предлагали вступить в мирные переговоры. Фрунзе, не дочитав письмо, вернул его посланцу.

— Я не разговариваю с бандитами, — сказал он ледяным тоном.

Сеид-Алим наконец решился поднять зеленое знамя газавата — священной войны против Советского Туркестана.

Есть какая-то странная, почти необъяснимая уверенность у многих властителей, что если они обладают силой, многократно превосходящей силу противника, то победа будет за ними. Невозможно избавиться от сумеречной мысли, что пятеро обязательно одолеют одного. Сеид-Алим был в плену миражей своего воображаемого превосходства, но существовали и более глубокие причины для опрометчивого его решения.

Советский Туркестан ярким светочем горел перед народами эмирата. Широко открытыми глазами смотрели они на этот свет свободы, равноправия и справедливости, и все сильнее воздействовала на них пропаганда большевиков. Революционные события нарастали подобно снежным лавинам в горах Алая.

В душную августовскую ночь восстали Чарджуу, Карши, Катта-Курган, Базар-Сакар и Керки.

Фрунзе, переехавший со своим штабом в Самарканд, зорко следил за революционными событиями в эмирате. Опасаясь, что

красные придут на помощь восставшим, Сеид-Алим двинул свои отряды к Самарканду.

Восставшие обратились за помощью к Фрунзе.

«Настал час решительной схватки подавленных и поработенных трудящихся масс Бухары с кровожадным правительством эмира и беков. Полки нарождающейся Бухарской Красной армии двинулись на помощь родному народу. Красные полки рабоче-крестьянской России обязаны стать подле них. Приказываю всей нашей вооруженной мощью прийти на помощь бухарскому народу в этот час решения».

Отдав такой приказ по фронту, Фрунзе двинул десять тысяч своих бойцов против пятидесятитысячного войска Сеид-Алима.

От железнодорожной станции Новый Каган до Бухары двадцать верст. Исходной позицией красных стала эта бесприютная степная станция. От нее августовским рассветом двинулись русские, татары, узбеки, туркмены, таджики, и, не выдержав революционного порыва разноплеменных бойцов, войско эмира начало отступать к бухарским стенам. Напрасно глашатаи эмира убеждали войска, что европейцы пришли поработить мусульман, напрасно беки поднимали в атаку своих сибаетов, напрасно расстреливали их как трусов на площади Регистана, — красные неуклонно приближались к древнему городу.

Нешадно палило солнце, и, усиливая жару, горели фруктовые сады, виноградники, пожухлые тугаи, жалкие лачуги дехкан, каменные дома богачей. Даже мечети огненными смерчами вставали на пути атакующих. Сибаеты отводили воду из арыков или отравляли ее, использовали для сопротивления каждое укрытие.

Но их сопротивление было уже бессильным, как бессильна была ярость самого эмира. Когда атакующие приблизились к Бухаре на расстояние орудийного выстрела, Сеид-Алим самолично командовал открыть огонь из крепостных батарей. Он метался на наблюдательной башне Акры в роскошном своем халате, подпоясанном жемчужным поясом, словно пестрая птица, косясь на военного министра. Тупча-баши, вздрагивая от неприличных руга-

тельств своего повелителя, время от времени произносил робко и тягостно:

— Они приближаются к Каракульским воротам, ваше величество... Они штурмуют ворота Каршинские, ваше величество...

Тупча-баши снова и снова вскидывал бинокль к глазам, стиснув до боли мясистые губы.

— Наши сибай отбросили кзыл аскеров от Мазар-Шерифских ворот, — радостно доложил он эмиру.

— Слава аллаху, мы победим! — воскликнул Сеид-Алим, вытирая о раззолоченные полы халата потные ладони.

Опять пришла ночь непролазного мрака, парной духоты, бесстрастных южных звезд, напряженного ожидания. Мелькали, передвигаясь по крепостным стенам, факелы дозорных, едва тлели костры на биваках атакующих.

Утром Фрунзе приказал бить из всех имеющихся орудий по крепостной стене. Весь день продолжалась бомбардировка, снаряды ковыряли, ломали, разворачивали глинобитную стену Бухары, и к вечеру в ней появился пролом.

Под лихорадочную дробь барабанов, истошные крики, непрерывные выстрелы сибай всю ночь заделывали брешь в стене.

Наступило третье утро штурма. Предрассветная мгла висела над городом, ржавая полоса зари едва прорезывалась сквозь нее. Тупча-баши, стараясь ободрить упавшего духом эмира, сказал виatieвато, но самоуверенно:

— Скоро солнце, ваше величество. Это взойдет солнце нашей победы...

Сеид-Алим резко повернулся к своему министру и ответил:

— Я больше не знаю, куда идет солнце, куда идут, реки, куда идет мир... — Поправил зеленую чалму со сверкающим на ней крупным алмазом и добавил: — Приготовь коней у Северных ворот. Увяжи на верблюдах куржумы с золотом и драгоценностями. Самых преданных моих гвардейцев собрать там же, предупреди иностранцев о нашей эвакуации...

— Они еще ночью покинули Бухару, ваше величество.

— Да поможет им аллах!

— Гарем тоже эвакуировать?

— Что ты спросил? Ах да, гарем... Ты отвлекаешь мое внимание! — прикрикнул он, услышав грохот орудийного разрыва.

Фрунзе открыл огонь по Мазар-Шерифским воротам. В шесть часов их штурмом взял 5-й стрелковый полк. В десять часов 12-й татарский полк прорвался через Каршинские ворота на узкие улицы Бухары. Красные замкнули в кольцо внутреннюю крепость Акру.

Эмир оказался в собственной цитадели, как в ловушке. Его солдаты сдавались на милость победителей, а красные тушили бесчисленные пожары, хоронили убитых, успокаивали перепуганных жителей. Но если гасли пожары, то все сильнее разгоралась паника; жители разбегались из города.

И снова была ночь непроглядного мрака, и парной духоты, и равнодушных звезд.

Второго сентября Фрунзе начал штурм Акры. Двенадцать часов продолжался этот штурм, и красные ворвались на вымощенную гранитными плитами площадь. Тупча-баши кинул на камни английский винчестер, вытащил из-за пояса острый клыч, подаренный ему эмиром, отломил рукоять и отшвырнул от себя.

Среди пленных не было только эмира бухарского. Ночью, переодетый, он выбрался через Северные ворота и умчался в кишлак Дюшамбе вместе с женами, драгоценностями и личной охраной. Фрунзе принесли лишь бесценный халат, жемчужный пояс да зеленую чалму Сеид-Алима.

Над Великим минаретом поднялось красное знамя. Фрунзе молча ходил по площади Регистана, пока не натолкнулся на мраморную стелу с изречением восточного мудреца: «Помни, куда идет солнце, куда идут реки, куда идет мир...»

Он несколько раз перечитал эти слова, стараясь проникнуть в сокровенный смысл их. Потом ответил безвестному мудрецу:

— Солнце идет в вечность, реки идут в океан, мир идет к революции...

Вечер был полон цветущего очарования: бормотал арык под карагачами; с яблонь срывались яблоки и крутились в воде; тигровые лилии, индийские канны стояли по обочинам тропинки, освещая мягким теплым блеском полусумрак сада.

Софья Алексеевна с дочкой и Гамбург прогуливались по саду, примыкавшему к домику, в котором жили Фрунзе. Впервые за последние месяцы говорили они о мирных, милых сердцу делах. Зловещие слова — басмачи, мятежи, восстания — были вне разговора, они теперь казались тенями, опрокинутыми в прошлое.

— Пора бы вернуться Михаилу, а его все нет и нет, — сказала Софья Алексеевна,

— Как всегда, задерживается в штабе. Дел-то невпроворот — проблемы, вопросы, решения. Я поражаюсь, когда он успевает есть и спать. Хотя на востоке и говорят — двух арбузов в одной руке не удержишь, — он ухитряется, — пошутил Гамбург.

Хлопнула калитка, послышались быстрые шаги, на тропе появился Фрунзе. Возбужденный, сияющий, протянул руки к дочери, приподнял ее.

— Растет Танюша, словно чинара! Под здешними небесами легко расти детям и цветам. А я проголодался, Соня. Через час придут гости, устроим прощальный ужин, — сказал он.

— Это почему же прощальный? Кто и куда уезжает? — тревожно спросила Софья Алексеевна.

— Мы уезжаем, Сонечка, да Иосиф с нами. Есть важная новость: меня перебрасывают на новый фронт.

— Господи, опять на войну!

— Снова в дорогу, снова в поход. Как-то на базаре я слышал бродячего певца-киргиза. Таких певцов называют манасчи, они поют только про своего батыра Манаса. Старый манасчи пел: «По долинам шел Манас, через горы шел Манас, шел в поход в который раз». Я не сравниваю себя с Манасом, но в очередной раз идти в поход — такова и моя судьба, — с грустной улыбкой добавил Фрунзе.

Гости уже знали важную новость. Совет Труда и Оборона отзывает Фрунзе из Туркестана. Он назначался командующим новым фронтом, но вот каким? Польским, против Пилсудского? Южным, против Врангеля? Это было пока загадкой, об этом приходилось только гадать.

— Врангель сейчас самый опасный противник. Он, бесспорно, враг номер один, — говорил Фрунзе. — Мы уже имели с ним дело в астраханских степях, знаем его хватку, — добавил он, взглядывая на Куйбышева и Новицкого.

— Да, в этом ему не откажешь, — согласился Куйбышев.

— Вы, Федор Федорович, вроде знали его лично? — спросил Фрунзе.

— Приходилось встречаться. Петербургский дворянин, кончил горный институт, но поступил в лейб-гвардейский конный полк. Участвовал в русско-японской войне. Перед мировой войной окончил Академию генерального штаба, командовал кавалерийским корпусом. Вот, пожалуй, и все, что могу сообщить о бароне, — ответил Новицкий. — Между прочим, добавлю: беспощаден к противнику. Очень любит вникать во все мелочи своих воинских частей. Был почти анекдотический случай, когда он проверил даже состояние отхожих мест, а потом сказал: «Если сортиры в порядке, можно быть спокойным за воинственное настроение кавалеристов...»

Все расхохотались, но Фрунзе погасил смех коротким замечанием:

— А что же, он прав. В армии нет мелочей, как и второстепенных дел. Не знаю, придется ли драться с Врангелем, но он решительный военачальник. Не зря же именно он заменил Деникина и возглавил русскую контрреволюцию.

— Эх, друзья мои! — воскликнул Куйбышев. — Михаил Васильевич будет толковать с Врангелем у Черного моря, а мы потолкуем о том, как нам жить без Михаила Васильевича. Мы без него все равно что Туркестан без солнца...

— Такие басни на твоей совести, Валериан.

— Уж лучше похвалить в глаза, чем за глаза. Бухарский ревком для тебя почетное оружие — шашку и кинжал дамасской стали прислал. Я речь про твои заслуги готовлю — так тоже из басен?

— Есть еще один подарочек, — вмешался в разговор Гамбург. — Халат эмира бухарского с жемчужным-то поясом я уже в чемодан упаковал. В Москву везу, как военный трофей. Халатик-то ценной десять тысяч золотых монет.

Они вспоминали не только боевых друзей, но и своих врагов, отмечая не одно коварство или классовую ненависть, но и ум, и силу, и храбрость их.

— Я получил письмо из Красноводска о нашем общем знакомце Несо Казанашвили, — сказал Куйбышев. — Вот живуч как репейник! На Аральском море у него был отряд в десять тысяч сабель, до Гурьева Несо довел шесть тысяч, из Гурьева до форта Александровск добрался лишь с двумя тысячами. Погубил восемь тысяч, а сам выжил. В Александровске захватил пассажирский пароход и с остатками отряда переправился в Дербент. А там наша, Советская власть...

— И его, конечно, разоружили? — поинтересовался Фрунзе.

— Представь, нет. В одном из последних номеров «Известий ВЦИК» опубликовано его письмо. Несо Казанашвили вместе с отрядом переходит в подчинение к большевикам. Как это тебе нравится?

— Ну уж нет! Надо предупредить ЦК, кто такой Казанашвили...

— А я уже написал письмо про его преступления. Да что же это я порчу расставание разговором о такой сволочи, — спохватился Куйбышев.

— Нам надо спешить с отъездом, — говорил Фрунзе, прощаясь с товарищами.

— Мы и так все время спешим, — сказал Куйбышев.

— Спешить нужно всегда сейчас и никогда потом.

«Я рад отметить, что армии Туркестанского фронта, начав с разгрома колчаковских, дутовских и толстовских банд, довершают ныне свою работу, очищая Туркестан от контрреволюционных

полчищ местных самодержавных властителей. Уверен, что и впредь красные полки Туркестанского фронта, куда бы их ни поставила рука Революции, сумеют поддержать свою боевую революционную славу. Мой прощальный привет вам, товарищи!»

Прощальный приказ командующего еще читали во всех воинских частях, а его поезд уже прошивал бескрайние просторы Киргизской степи.

Снова мелькали станции и городки, которые еще недавно приходилось с бою брать у противника. Теперь осенняя тишина висела над ними. Петляла в высоких камышах Сырдарья, зеленым полымем раскачивалось Аральское море, клубилась рыжая пыль над придорожными зарослями саксаула. Туркестан снова уходил в воспоминания.

Фрунзе часами сидел в салон-вагоне, обложившись справочниками, книгами о Крымском полуострове. Он почему-то верил, что ему именно с Врангелем придется иметь дело.

Вечером поезд прибыл в Москву. Еще вздрагивая, останавливались у перрона Казанского вокзала вагоны, а их уже оцепляли чекисты. В салон-вагон вошел заместитель председателя ВЧК, сухо поздоровался, сухо сказал:

— Приказано произвести обыск у всех ваших работников...

— Что это значит? — удивился Фрунзе.

— Есть сведения, что ваши сотрудники привезли с собой награбленное золото.

— Это оскорбительно! — разволновался Гамбург. — Это наглая провокация!

— Обыск проводится по распоряжению председателя Реввоенсовета...

— Пусть убедятся, что все это небылицы, приперченные клеветой, — как можно спокойнее ответил Фрунзе.

— А не халат ли эмира бухарского — причина для обыска? — предположил Гамбург. — Так вот он, вот он, этот военный трофей для музея! — Гамбург раскрыл чемодан, вынул и встряхнул вышитый золотыми цветами халат.

— Спокойствие, Иосиф! Приступайте к обыску.

Об оскорбительном обыске Фрунзе немедленно доложил Центральному Комитету; специальным решением ЦК выразил полное доверие всем работникам, прибывшим из Туркестана.

На другой день после приезда Фрунзе пригласили к Ленину. Эта, третья по счету, встреча была особенно сердечной: Ленин усадил Фрунзе в кресло, сам остановился у письменного стола и, заложив руки в карманы пиджака, внимательно слушал сжатые, точные фразы о положении в Туркестане.

Фрунзе рассказывал о победах над басмачами, над эмиром бухарским, о мятеже в Верном. Изредка Ленин задавал вопросы, но по лицу его было видно: доволен и горд успехами Красной Армии в Туркестане.

— Так, так... Все хорошо. Вижу, вы потрудились немало, поработали на славу, Михаил Васильевич. — Ленин сел, поставил на стол локти, сцепил пальцы, уперся в них подбородком. — Вы, наверно, догадались, зачем так спешно вызваны в Москву? Центральный Комитет партии решил в наикратчайший срок покончить с врангелевщиной. Франция сейчас делает ставку на барона Врангеля, поэтому мы создаем самостоятельный Южный фронт. На вас возлагается командование фронтом. ЦК уверен, что вы разгромите последний оплот контрреволюции в России. Не мне и не вам говорить, что Врангель — опасный враг, и покончить с ним необходимо до зимы. Я понимаю всю сложность вашей задачи, но проводить еще одну военную зимнюю кампанию нам просто не под силу. Мы поможем Южному фронту всем, что имеем, обращайтесь ко мне в любой час. Желаю полной победы...

Воодушевленный, Фрунзе вернулся в гостиницу.

— Ну что? Ну как? — спрашивал Гамбург. — Как встретил Ильич?

— Об этом можно бы догадаться по моему виду. Идем на Врангеля. Ты — начальник снабжения Южного фронта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Люди часто испытывают оптический обман времени. Ничтожный случай из утраченного детства живет в памяти так выпукло, словно только что был, а крупнейшие события недавних дней расплываются или искривляются в перспективе истории. Тогда-то и перестают верить в то, что было, не понимают причин, круто изменивших ход событий.

Оптическому обману времени подвержены и некоторые политические деятели и полководцы. Им чаще помнятся их даже малые успехи, чем неудачи и поражения. А если и вспоминают о них, то винят кого угодно, кроме себя.

В дни удач такие люди на все смотрят сквозь розовые очки, слушают только дифирамбы, говорят только о полной обреченности своих противников, и лишь поражения возвращают им и дневную трезвость ума, и зоркость предвидения. Но уже поздно.

Давно ли, ну давно ли — всего каких-нибудь девяносто дней назад — барон Врангель подписал свой приказ правителя и главнокомандующего вооруженных сил на юге России. Его зачитывали по всем войсковым частям, расклеивали на стенах всех общественных зданий, публиковали в газетах.

Приказ начинался торжественно, словно писал его барон в молитвенном экстазе:

«Слушайте, русские люди, за что мы боремся:

За поруганную веру и оскорбленные ее святыни.

За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.

За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе ХОЗЯИНА.

Помогите мне, русские люди, спасти родину.

Генерал *Врангель*».

Слово «хозяин» было выделено заглавными буквами, чтобы все понимали: отныне на Руси будет новый и единственный божьей милостью правитель Петр Николаевич Врангель.

В дни денкинского наступления на Москву барон-генерал командовал Кавказской армией. Под его напором части Красной Ар-

мии оставили Северный Кавказ и отступили к Астрахани. Врангелю удалось захватить Царицын, Ставропольскую губернию, восточные районы Области войска Донского.

Оправившись от неудач, Красная Армия разгромила Деникина. Потеряв все, Деникин отказался от поста главнокомандующего белых сил.

Среди высшего офицерства началась борьба за власть; главным претендентом был Врангель. Совет высших офицеров избрал его преемником Деникина. Это произошло в апреле двадцатого года; к тому времени самые боеспособные части белых отошли на Кавказ, укрылись в Крыму.

Новый главнокомандующий энергично принялся реформировать свою армию. Он сократил число крупных соединений, провел тщательный отбор командиров, не обращая внимания на чины и звания. Из тыловых учреждений призвал всех офицеров, массовыми казнями навел дисциплину. В Крыму расстреливались не только солдаты, но и офицеры за малейшее неповиновение приказам барона.

Страны Антанты признали Врангеля. В Крым пошли корабли с танками, самолетами, орудиями. Франция и Англия не жалели денег на вооружение врангелевской армии и в то же время подталкивали на войну с большевиками белополяков. Белопольское войско вторглось на Украину, но Врангель еще не был готов совместно с Польшей начать военные действия.

Гражданская война — война открытых просторов. Только обширные пространства давали кавалерии возможность играть серьезную роль в сражениях, и это понимал Врангель.

Он создал конницу из прирожденных кавалеристов — донских казаков, во главе эскадронов и полков поставил таких же опытных командиров. Он придал конной армии броневые отряды, самолеты, колонны автомашин с пулеметами. Казацкую пику и лихую саблю подкреплял новейшей военной техникой, а пехотные части сделал вспомогательной силой.

К началу июня формирование новой армии было закончено. Конница ждала приказа барона.

Вставало из моря цветущее южное утро, жгуче и сизо сверкали волны, раскачивая легкие кучевые облака, но тишину нарушали басовитые гудки, стволы пароходных дымов чернили равнодушное небо. Десантники армейского корпуса генерала Слащева грузились на французские пароходы.

В тот же день корпус Слащева высадился около озера Молочного и двинулся на Мелитополь.

На рассвете седьмого июня белая артиллерия открыла ураганный огонь по красным позициям на крымских перешейках. Врангель бросил в атаку свои танки и броневики, и вступила в дело конница.

Вся линия красного фронта была смята и опрокинута. Под вихревым налетом конницы пал Мелитополь, и барон въехал в город на белом коне.

Неистово звонили колокола, дамы бросали цветы, господа размахивали шляпами, офицеры вытягивались в струнку. В черной черкеске, с георгиевским крестом на груди, Врангель победоносно поглядывал по сторонам. Заостренное лицо его — от горбатого носа до впалых щек, до твердых глаз — невольно вызывало сравнение с коршуном, готовым к новому молниеносному рывку.

С начальником штаба генералом Шатиловым барон проследовал к кафедральному собору, легко выпрыгнул из седла и, взбежав на паперть, обратился к толпе:

— Крестовый поход за освобождение святой Руси начался. Орлы моей армии уже летят, не встречая сопротивления, по русскому Югу. Скоро они устремятся за Днепр, на Украину, на Кубань, к Тихому Дону, где казаки нетерпеливо ждут нас, своих освободителей. Я торжественно обещаю вырвать русский народ из еврейского засилья.

Последняя фраза барона стала призывом к еврейским погромам: евреев убивали на улицах, во дворах, вешали на телеграфных

столбах. Безумие погромщиков смутило даже Врангеля; он приказал снять с телеграфных столбов трупы повешенных.

— Этакое зрелище омрачает радость победы. Неприятно смотреть, — сказал он генералу Шатилову.

Шатилов доложил, что в Мелитополе происходят грабежи, причем грабят, как правило, особняки богачей.

— Грабители пойманы? — гневно спросил Врангель.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Повесить! И немедленно!

— Но... грабил полковник со своими дружками. Нервная судорога передернули губы Врангеля, — А дружки тоже офицеры?

Генерал Шатилов не ответил. Врангель подумал: «Грабежами занимаются офицеры, и это в самом начале кампании. Что же будет дальше?» Поласкав на груди георгиевский крест, сдавленно приказал:

— Повесить и полковника, и его дружков...

Он прошелся из угла в угол, заложив пальцы за борт мундира, вполголоса разговаривая сам с собой:

— Деникинскую Добровольческую прозвали грабьярмией. Теперь такое же прозвище прилипнет и к Русской армии, как кусок дерьма. Но где же взять честных людей? Где взять?

— Мелкие неприятности не загрязнят нашей святой идеи, — начал было генерал Шатилов, но Врангель махнул на него рукой:

— Не люблю пустословия! Пусть брешут газеты.

Прежде чем начать наступление на север, Врангель решил привлечь на свою сторону донских, кубанских казаков и Махно. Для переговоров с Махно послал парламентеров.

Махно ответил короткой запиской: «Врангелю. Барону. Большевики убили моего брата. Иду им мстить. Ужо, когда отомщу, приду к вам на подмогу».

Махно потребовал, чтобы Врангель выпустил из крымских тюрем атамана Володина и всех махновцев. Барон исполнил требование. Через день перед ним предстал атаман Володин — «камышовый батька», как презрительно называли его офицеры.

Невысокий, плотный, с желтым круглым лицом, с глазами, словно раз и навсегда постигшими, что добро хуже зла, «камышовый батька» поразил Врангеля опереточным своим одеянием. На нем была украинская рубаха, подпоясанная алым шелковым кушаком, широченные, из голубого бархата, шаровары, высокие шевровые сапоги. Целая коллекция пистолетов придавала батьке устрашающий вид.

Разговор между Врангелем и Володиным был лаконичным.

— Нестор Иванович вступает в союз с Русской армией, отныне мы вместе освободим Русь от большевистского ига, — сказал барон.

— И только-то? — воскликнул Володин.

— Восстановим на престоле монарха.

— А мне все равно, что монархия, что анархия, но анархия, пожалуй, лучше. Полная воля и рай на земле.

— Вы уже приступили к формированию партизанского отряда?

— Уже слеплен. Триста молодцов, и все как на подбор — отчаянные головы. — Володин распахнул воротник, вытер ладонью вспотевшую грудь. На груди красовалась вытатуированная фраза: «Умру за горячую бабу!»

Врангель поморщился, перевел вопросительный взгляд на генерала Шатилова.

— Мы дадим вам оружия на тысячу человек. Проявите свою доблесть в бою с красными, — почему-то грустно вздохнув, продолжал он.

— Будем рубить, и только! А свой отряд я быстро увеличу, пустите лишь в Мелитополь...

— Почему в Мелитополь?

— Родные места. Там меня всякий сукин сын знает.

— Мелитополь так Мелитополь...

— Хорошо бы воззваньице сочинить ко всем дезертирам, пленным, перебежчикам. Печатное слово действует на умишки, как страх божий. У вас писаки отменные, пусть что-нибудь пожалостливее накачают, — попросил Володин.

Врангель вызвал начальника пресс-бюро, объяснил, в чем дело.
— Понял. Будет через полчаса.

Минут через сорок Врангель прочитал написанное от руки обращение: «Дезертиры, скрывающиеся в лесах и горах Крыма, в камышах Приднепровья, кто из вас не запятнал себя из корысти братской кровью — вернитесь. Встаньте под знамена Русской армии! С нею заодно и неутомимый Махно, и украинские атаманы. Мы ждем вас, чтобы плечом к плечу биться за поруганную мать-родину, за осквернение храма божьего, за распятую Русь».

— И складно, и со слезой, — похвалил Володин, вперяя в барона рыжие глаза. — С такими словами будем рубить, и только, — повторил он любимую фразу.

После ухода Володина генерал Шатилов уныло заметил:

— Вчера я видел, как отряд этого батьки маршировал по улицам Севастополя. Банда головорезов!

— И что же из этого следует? — недовольно спросил Врангель.

— А то и следует, что Володин нас продаст, Махно предаст...

В конце июля Врангель перешел в наступление. Поначалу Русская армия имела успех. Пользуясь тем, что красные вели изнурительные бои с белополяками, Врангель захватил Северную Таврию, овладел Каховкой и Александровском, но понес большие потери: тысячи офицеров и солдат полегли в степных сражениях. Стремительное продвижение Врангеля приостановилось, и тогда-то части Юго-Западного фронта перешли в контрнаступление.

Красные снова освободили Александровск, а Врангель отошел к Мелитополю и Большому Токмаку.

Начались упорные бои за Каховку. Второй стрелковый корпус генерала Слащева отчаянно сопротивлялся, конница его наносила огромный урон красным, особенно сильные удары приходились на долю 15-й дивизии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В ночные окна постукивал дождь, ветер то и дело распахивал форточку, брызги обдавали головы командиров. Они сидели за столом, покрытым военными картами, над ними покачивались клубы табачного дыма.

В просторном, когда-то богато обставленном кабинете было неуютно, грязно, паркет чернел от мокрых следов.

Командиры давно знали обстановку на фронте, но всех терзал один и тот же вопрос: когда и где произойдет решительная схватка с противником.

Одним казалось — решающая битва будет на левом берегу Днепра, в районе станицы Волноваха, где Врангель сосредоточил свежие кавалерийские силы и бронемашин.

Другие думали, что сражение начнется на правобережье: противник переправился через Днепр в тридцати верстах от Никополя.

Третьи считали, что все решит столкновение под Александровском.

— Что бы мы сейчас ни говорили, а последнее слово за новым командующим фронтом, — сказал начальник штаба Иван Паука, сдержанный, спокойный, немногословный латыш, проводя ладонью по карте, словно стирая с нее красные и синие стрелы предполагаемых сражений.

Паука обладал незаменимыми качествами для начальника штаба: собранностью, точностью, прямоотой.

— Когда прибудет новый командующий? — спросил начальник оперативного отдела Харламов.

— Пока неизвестно, но прошу командиров быть начеку...

— А что, у нового командующего скверный характер? — снова поинтересовался Харламов.

— Не знаю, какой у него характер. Никогда не видел в лицо Фрунзе, но напоминаю старую поговорку о новой метле.

Ветер хлопнул форточкой, облако дыма качнулось, дождевые брызги усеяли оперативную карту. В кабинете сразу стало свежее.

Дверь приоткрылась, в кабинет вошел невысокий мужчина в солдатской шинели.

— Сюда нельзя посторонним. Здесь заседание, — холодно сказал Харламов.

Вошедший снял мокрую фуражку, вытер мокрое от дождя лицо. На Харламова глянули светлые глаза; взгляд был таким открытым и приветливым, что Харламов невольно улыбнулся.

— Что вам угодно? — уже мягче спросил он.

— Здравствуйте, товарищи! Я Михаил Фрунзе. Только что из Москвы.

Командиры вскочили с мест. Паука, испытывая неловкость, что проморгал командующего, сказал растерянно:

— И вы один? В полночь? С вокзала?

— Нет, со своим товарищем. Вот он, знакомьтесь.

Порог кабинета переступил Иосиф Гамбург.

— Все же досадно, что не предупредили о своем приезде, — опять заговорил Паука, но Фрунзе, скосив на него глаза, ответил:

— Теперь не до церемониальных встреч. Давайте посмотрим, что творится на фронте.

Незаметно, но быстро скованность командиров исчезла и возникла та дружеская атмосфера, в которой легко и просто работать. После докладов начальника штаба Пауки и начальника оперативного отдела Харламова командующий долго молчал. Все ждали, что он выразит неудовольствие туманными сведениями о положении на фронте или предъявит строгие, трудновыполнимые требования.

— Да-а, — сказал командующий. — Сперва исследуем, осмыслим, что нужно делать, а потом уже будем действовать.

Южный фронт был образован из 6, 13 и 2-й Конной армий. С польского фронта перебрасывалась на юг 1-я Конная, формировалась новая — 4-я армия. Плеяда прославившихся военачальников стала во главе армий — Уборевич, Буденный, Миронов, Корк; эти имена о многом напоминали противнику.

Через два дня после приезда в Харьков Фрунзе телеграфировал Ленину: «Положение на фронтах характеризуется упорным стремлением противника, очевидно прекрасно осведомленного о наших планах, разрушить их путем ударов в направлениях наших группировок... Предполагаю со своей стороны, впредь до окончания подготовки общего наступления, нанести ряд коротких ударов... Переход в общее наступление зависит от времени подхода 1-й Конной».

Фрунзе созвал военный совет.

— Предлагаю стратегический план по разгрому Врангеля, — заговорил он тихо и ровно. — Концентрическими ударами мы ликвидируем угрозу вторжения его армий в Донбасс и на Правобережную Украину, окружим главные силы в степных районах севернее Крымского полуострова и уничтожим их. Главный удар нанесем с Каховского плацдарма. Я рассматриваю Каховку как исходную точку для направления на Перекоп...

Военный совет одобрил замысел Фрунзе.

Но прежде чем наступать, нужно было создать численное превосходство над противником. Партия бросила на юг своих лучших комиссаров и агитаторов, поток добровольцев увеличивается с каждым днем. «Врангель еще не добит — добей его!» — призывали агитаторы на бесчисленных митингах. Непрерывно работали заводы и фабрики, увеличивая выпуск военного снаряжения. Вся республика стала еще напряженней, еще суровой, и вновь мучительные вопросы: жизнь или смерть? мы их или они нас? — встали перед Россией.

Еще Каховка, Сиваш, Перекоп не имели исторического звучания, еще слава легенд и песен не вставала над ними, но уже нарастало томящее предчувствие неизбежного. Потом, когда все столкнется, завихрится, размахнется необозримо, когда радио возвестит о победе красных, — мир замрет от одной неумолимой фразы: «Невозможно победить народ, сражающийся за свою свободу!»

Вот тогда-то появятся и песни, и легенды, а маленькие географические точки России приобретут бессмертную славу.

А пока ничего этого нет.

Пока же невысокий человек с русой аккуратной бородкой сидел над оперативными картами и, напрягая все свои духовные силы, анализировал, осмысливал, постигал уязвимые места противника и слабые стороны своих армий. Ум, воля, страсть его сошлись в одном стремлении к победе.

Историки не знают тех мгновений, когда духовная сила одного становится материальной мощью многих, поэты только предчувствуют материализацию идей. Но и историков и поэтов всегда волнуют эти мгновения, когда идеи превращаются в действие и действие приносит успех.

Врангель начал наступление на Мариуполь...

В помощь 13-й армии Иеронима Уборевича, сдерживающей противника, Фрунзе послал войска из своего резерва, в числе их 9-ю дивизию Николая Куйбышева.

Эта дивизия нанесла такой удар по противнику, что Врангелю пришлось оттянуть свою восточную группировку назад. Донбасс был спасен. Фрунзе в особом приказе отметил первый, окрыляющий успех: «На долю 9-й стрелковой дивизии выпала ответственная задача своей грудью прикрыть Донецкий бассейн — источник света и тепла для всей нашей страны... Пока в рядах Красной Армии будут такие геройские полки, как 77-й, легший костыми на поле брани, но ни пяди не уступивший врагу, — она будет непобедима!»

Готовя свои армии к решающей битве, Фрунзе спешил укрепить и тыл. Нужно было срочно ликвидировать бесчисленные шайки «зеленых», состоявшие из кулаков, украинских националистов, левых эсеров, бежавших на юг из центра России.

И еще нужно было обезвредить Нестора Махно.

Военный союз Врангеля с Махно, основанный на политическом вероломстве и коварстве, оказался непрочным.

— Махно — мой союзник? Ну и что ж? Я возьму в союзники самого дьявола, лишь бы он бил красных, — говорил барон своим генералам.

— Мы еще подурчим и генералов и комиссаров, — говорил Махно своим.

Махно всячески лавировал, приспособляясь к политической и военной обстановке. Момент, один момент двигал всеми его мыслями и поступками. Махно шел с Врангелем, пока считал это выгодным для себя. Как только красные одержали первые победы, как только армия Махно оказалась зажатою между войсками противных сторон, он стал искать выход из опасного положения.

Он обратился к Реввоенсовету Южного фронта с предложением перейти в подчинение Красной Армии.

— Соглашение с Махно облегчит наши действия против Врангеля, — сказал Фрунзе на заседании Реввоенсовета.

Реввоенсовет поддержал Фрунзе, Центральный Комитет партии одобрил решение использовать Махно против Врангеля.

Второго октября в Старобельске было подписано соглашение, по которому «повстанческая армия» Махно вошла в ряды войск Южного фронта.

Начались новые бои с Врангелем.

Восьмого октября врангелевцы переправились через Днепр у острова Хортица и захватили большой плацдарм на правом берегу реки.

Фрунзе разгадал замысел барона: не в Донбассе, а на Правобережье Украины барон решил нанести свой главный удар.

— Врангель начал решительное наступление. Он рассчитывает уничтожить правобережную группу войск до подхода наших подкреплений. Наступление его имеет и огромное политическое значение, ибо состоит в теснейшей связи с мирными переговорами в Риге. Врангель надеется сорвать переговоры, и в этом ему помогают Франция и Англия. Армии Южного фронта должны ликвидировать врангелевскую попытку сорвать заключение мира с Польшей, — говорил Фрунзе члену Реввоенсовета Гусеву и добавил непреклонным тоном: — Республика ждет от нас исполнения долга...

Его все больше тревожило, что подкрепления, направленные с Юго-Западного фронта, запаздывают. Он сообщил об этом Ленину.

Ленин немедленно направил требовательную телеграмму Реввоенсовету 1-й Конной: «Крайне важно из всех сил ускорить передвижение вашей армии на Южный фронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими».

Фрунзе получил ответ Ленина в час, когда к нему пришел возбужденный Гамбург.

— Какой-то писатель сказал: стиль — это человек. Мудрое изречение! Великих писателей отличают по их стилю, великих политиков — по идеям, которые они претворяют в действие. И еще точностью в исполнении своих обещаний. Ленин говорил мне: обращайтесь в любой час и я окажу любую помощь. Вот этому стилю, этой быстроте и точности надо учиться у Ленина. А мы иногда обещаем и забываем про свои обещания. Чем это ты взволнован, Иосиф? — спросил Фрунзе.

— И ты не догадываешься чем? Странно! У меня не хватает ни сапог, ни шинелей, бойцы идут в бой босыми, и это в осеннюю-то грязь, под непрерывными дождями! На учете каждая шинель, а ты приказал выдать несколько тысяч комплектов военного обмундирования махновцам. Это волкам-то из днепровских камышей! Мы их оденем-обуем, а они... Э, да что говорить! Верить в искренность махновцев все равно что идти по горящему торфяному болоту.

— И я не верю Махно, но есть такая тонкая штукавина, как политика. Сейчас нам необходимо иметь союзником Махно.

— Ко мне явился его атаман Каретников — нахальный, развязный тип. Рука не поднимается выдать ему шинели и сапоги.

— А ты все-таки дай.

Бои за Каховский плацдарм продолжались.

Части 6, 13 и 2-й Конной армий разбили врангелевские дивизии, проникшие на правый берег Днепра. Шестая армия, отразив все попытки противника захватить

Каховку, перешла в наступление и разгромила 2-й корпус Врангеля. Эти поражения заставили барона перейти к обороне на всем фронте.

Окрыленные успехами, Фрунзе и Гусев послали Ленину срочное донесение. Ответ был сдержанный, предупреждающий: «Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма».

— Вылил Ильич на наши головы ушат холодной воды, — сказал Фрунзе.

— Чтобы эти головы не кружились, — заметил Гусев.

Всю энергию, всю волю направил Фрунзе на исполнение ленинской директивы. Умудренный опытом борьбы с Колчаком, басмачами, эмиром бухарским, он создал особую группу войск, перевел свой штаб из Харькова в Апостолово и 26 октября снова созвал военный совет. В Апостолово прибыл и главком Каменев.

К этому времени красные полукругом охватывали главные силы врага. Они угрожали противнику с севера, нависали с востока. У Никополя стояла 2-я Конная армия, а 6-я армия и подходившая 1-я Конная готовились нанести удары со стороны Каховки и Берислава.

Уборевич, Корк, Буденный, Миронов, Лазаревич были готовы к этому генеральному сражению.

Все ждали только приказа командующего.

А он склонялся над оперативной картой. Еще, еще, еще рассматривал эти так называемые перешейки, за которые не должен ускользнуть Врангель.

— Перешейки, — сердито произнес он, напрягая все воображение, чтобы это скучное слово стало зримым, выпуклым во всей своей географической сложности. — Перешейки, — повторил он. — Это те пути, что ведут из Северной Таврии в Крым. Это Перекоп, Чонгар, Арабатская стрелка, узкие проливы, еще более узенькие полоски земли в проливах, охраняемые сотнями орудий и пулеметов...

Но вот оперативная карта стала наливаясь водой Сиваша, вспучиваться вязким илом мелководий. Появились глубокие протоки, искусственные рвы земляные насыпи, опутанные джунглями

колючей проволоки. Возникли мосты над Чонгаром, Перекопский перешеек, соединяющий Крым с Северной Таврией, от Перекопского залива до Сиваша пересеченный Турецким валом.

Фрунзе оторвался от карты, утомленно закрыл глаза. «Турецкий вал... Его возвели когда-то турецкие султаны, укрепили крымские ханы. Служил вал надежной защитой во время войн», — подумал он и спросил у Пауки:

— Не помните, когда генерал-фельдмаршал Ласси обошел Турецкий вал?

— Кажется, в 1737 году, когда русские войска переправились на полуостров по Арабатской стрелке, — ответил Паука.

Это было во время первого похода генерал-фельдмаршала. Тогда Ласси быстро овладел Крымом.

— Да, это было так, Михаил Васильевич.

— История всегда чему-нибудь да учит. Особенно история войн, — задумчиво проговорил Фрунзе. — Нет, ему невозможно ускользнуть за перешейки, — опять сказал он, думая о Врангеле, но не называя его по имени.

— На войне бывают всякие неожиданности. Случайность, оплошность, чья-то небрежность — и победа может обернуться поражением, — возразил Паука.

— Это — трезвое замечание. Я очень прошу вас всегда откровенно высказывать свое мнение. — Фрунзе подумал и добавил: — Взаимопонимание между командующим и начальником штаба совершенно необходимо. Утром я телеграфировал Ленину, что решающие бои произойдут в последние дни октября. Сообщил, что в разгроме противника у нас нет сомнения, но с ходу взять перешейки вряд ли удастся. Ответа от Ильича нет?

— Пока еще нет.

Наступило молчание; каждый думал о своем.

«Зря я написал Ильичу, что на немедленный захват перешейков у нас не больше одного шанса из ста. Этакое признание встревожит его и наверняка возмутит», — думал Фрунзе.

«В Мелитополе Врангель свел все свои силы в две армии и создал ударную группу. Барон взял на себя командование всеми боевыми действиями и укрепляет Перекоп. Разведка доносит, что французские и английские инженеры возводят самые современные фортификационные сооружения на Турецком валу», — думал Паука.

— Готовясь к решительному сражению, Врангель все же предусмотрительно обеспечивает пути отхода, — сказал он после паузы.

— Врангель — самый опасный противник из всех, с какими нам приходилось иметь дело. Если бы ему удалось наступление на правобережье Днепра, все наши ударные резервы были бы опрокинуты, — ответил Фрунзе.

— Есть сведения, что Врангель приказал повесить махновского атамана Володина, — сообщил Паука.

— И за что же?

— И за измену, и за грабежи, и за насилия. Володин в Мелитополе совершал такие злодеяния, что даже Врангель не вытерпел.

— А как наш махновец Каретников? Все еще настаивает, чтобы его отряд величали армией?

— Требуется, но я против, Сергей Иванович Гусев тоже. Ведь это же смех — двухтысячный отряд величать армией, да еще имени батьки Махно.

— Сейчас не время спорить по таким пустякам. Пусть будет махновская армия, лишь бы дрались хорошо. А где теперь сам батька?

— Разведка не успевает следить за его передвижениями. Он перемещается с сумасшедшей быстротой, летучие отряды его появляются в самых неожиданных местах и все так же грабят население и по-прежнему нападают то на нас, то на белых. Махно — коварный и ненадежный союзник.

— Потому следите за атаманом Каретниковым в оба.

— А вы знаете, Михаил Васильевич, батяно выпустил свои денежные знаки и на них отпечатал стишок: «Ой, жинко, веселись, у Махно гроши завелись», — смеясь сказал Паука.

— Занятно. Дайте посмотреть.

— К сожалению, не имею. Наши бойцы использовали их на цигарки...

Сумерки сгущались за окнами салон-вагона, на стеклах дотлевали последние блики заката. Становилось все холоднее.

Фрунзе придвинул к себе еще не подписанный приказ по войскам Южного фронта, поставил число, время, место: «26 октября, 17 часов. Апостолово». Еще раз перечитал написанное; все было точно, ясно, определено. Перед каждым командармом, комдивом поставлена боевая задача, каждый должен проникнуться ответственностью за все, что ему предстоит совершить...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Орудийные громы накатывались из глубины осенних степей то справа, то слева, подавляя пулеметную лихорадку, беспорядочную винтовочную трескотню. Зарницы орудийных разрывов обагрляли рваные тучи на горизонте, земля подрагивала от топота конской лавины, натужного рева моторов, тяжелой поступи танков и броневиков.

Дул пронзительный ветер, дождь сменялся снежной крупой.

Маленькая станция Апостолово, с ее жалким вокзалом, глинобитными домиками, заржавленными рельсами тупиков, на которых стоял поезд Фрунзе, стала местом событий громадных масштабов. Отсюда по армиям, по дивизиям шли приказы, направляющие ход военных операций, сюда стекались донесения обо всех молниеносно изменяющихся обстоятельствах и событиях. Отчаянные кавалерийские атаки, отступления, неудачи, грозящие катастрофой, решающие перегруппировки сил — все анализировалось, осмыслялось, определялось здесь.

Фрунзе то и дело выходил из салон-вагона, прислушиваясь к далеким звукам сражения. Засунув руки в карманы солдатской шинели, надвинув на лоб шлем, он то шагал по перрону, то оставался с нетерпеливым, тревожным выражением лица. Каждый раз перед боем он испытывал это непонятное мучительное ожидание и никак не мог преодолеть тревогу.

В десять часов Паука доложил:

— Только что получено сообщение от Уборевича. Тринадцатая армия теснит Донской корпус противника...

В полдень Фрунзе узнал, что занято уже семь населенных пунктов. Противник отступает на Мелитополь, но отчаянно сопротивляется.

В три часа дня командующему сообщили, что 2-я Конная армия перешла через Днепр в районе Никополя. В первом же бою захвачено много пленных.

Вечером командарм 1-й Конной донес, что переправился через Днепр у Каховки.

Ночь остановила наступление.

Фрунзе сидел за столиком в салон-вагоне с неотвязной думой об одном и том же:

«Врангель отступает по всему фронту. Но слишком большие потери несем, слишком дорогой ценой дается успех. А ведь успех — это еще не победа. Барон сопротивляется с мужеством отчаяния. Недаром предупреждал Ильич, что Врангель — это не басмачи, не Ханжин, не Дутов. И все-таки наше кольцо сжимается, шансы на победу растут с каждым часом. Напрасно все-таки я отправил Ильичу телеграмму...»

Уже второй день, как она послана, а ответа от Ленина все нет и нет.

Усталость наконец овладела им, он положил голову на стол.

Брезжил хмурый рассвет, но ни начальник штаба, ни адъютант не решались нарушить краткий сон командующего.

В салон-вагон вошел Гусев, положил руку на плечо Фрунзе:

— Телеграмма от Ленина...

Он проснулся, мгновенно выпрямился, провел ладонью по вискам.

— Ответ на нашу?

— Ответ...

Неприятным себе самому голосом Фрунзе прочел:

— «Возмущаюсь Вашим оптимистическим тоном, когда Вы же сообщаете, что только один шанс из ста за успех в главной, давно поставленной задаче. Если дела так безобразно плохи, прошу обсудить архиспешные меры подвоза тяжелой артиллерии, постройки линий ее подвоза, доставки саперов и прочее».

— Ленин снова дал нам урок серьезного отношения и к слову, и к делу, — сказал он, глядя на Гусева.

Телеграмма взволновала, расстроила, но и придала ему новые силы.

С поражающим всех военных специалистов искусством и неутомимостью проводил он боевые действия, мгновенно реагируя на изменяющуюся обстановку. Он оказывал помощь войскам в те минуты, когда они в ней особенно нуждались, изменял планы сражений, вносил коррективы в действия военачальников.

Его политическая зоркость и воля помогали и штабу, и командармам разрабатывать все новые и новые варианты окружения и наносить неожиданные удары.

Буденному он приказал захватить Сальковский и Арабатский перешейки, взорвать мост через Генический пролив и войти в Крым. Такой рейд буденновской конницы отрезал Врангелю все пути на полуостров. «Если 1-я Конная выполнит поставленную перед ней задачу... то весь цвет армии Врангеля будет нами окружен со всех сторон и уничтожен», — телеграфировал он Ленину.

В тот же день командарм 6-й армии Корк получил приказ приступить к подготовке артиллерийской атаки на Перекоп. Фрунзе требовал немедленно занять северное побережье Сиваша, переправиться через него и овладеть всем районом перешейков.

Теперь, казалось, барону не вырваться из смертного круга.

Врангель понял свою обреченность, но все же решил разорвать железное кольцо. Он отдал приказ об отходе войск в Крым, и все главные его силы устремились к Чонгару.

На этом единственном пути их встретили конники Буденного и пехотинцы Корка. С невероятными потерями пробивались врангелевцы к мосту. Только по нему еще можно было прорваться за бастионы Турецкого вала.

Врангель получал непрерывные донесения, и каждое новое было страшнее предыдущего. Двадцать тысяч его солдат сдались в плен, сто полевых орудий захвачены красными, почти все танки — новое и грозное оружие — уничтожены. Теперь уже ничто не поможет ему, если не произойдет чуда.

И чудо произошло.

Единственный мост через Генический пролив оказался целым и невредимым. По этому-то мосту и прошли главные силы Врангеля.

Никогда еще не видел член Реввоенсовета Гусев в такой ярости командующего.

Багровый от возмущения, с гневными глазами, Фрунзе говорил так, словно бросал в Гусева булыжники:

— Врангель вырвался из окружения! Зажатый со всех сторон, отрезанный от всех перешейков, он все же пробился в Крым. С колоссальными жертвами, но пробился. Нельзя не признать, что это замечательный отход. Я приказал взорвать мост, но моего приказа не исполнили. Что это? Небрежность? Оплешность? Недомыслие? Сергей Иванович, что же это такое? Теперь нам придется атаковать в лоб твердыни Перекопа. Что я сообщу Ленину? Что?!

— Сообщи ему правду, — угрюмо ответил Гусев.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Бывает такое смутное состояние, которое называется сумерками души. Врангель находился в таком состоянии.

«Война продолжается, но уже без всяких перспектив. У нас остались только мечтания: отсиживаясь за перекопскими укреплениями»

ниями, ждать, что большевики рухнут сами по себе. Белые должны пережить красных — эта психология овладела всем моим генералитетом. Красным не взять Перекопа. Перекоп — это неколебимая стена, которую невозможно сбить лобовыми атаками. Об этом кричат крымские газеты, о том же дает интервью генерал Слащев», — думал барон и, придвинув к себе ворох свежих газет, развернул еще пахнувший типографской краской номер «Времени». Под огромными заголовками во всю полосу газета опубликовала выдержки из интервью с генералом. Слащев утверждает, что население Крыма может спать спокойно. Белая армия так велика и сильна, что на защиту полуострова хватит и одной пятой ее состава. «Войска всей красной Совдепии не страшны Крыму», — заключал генерал Слащев.

Врангель поморщился: «Вот уж действительно бурбон. Ничего не понял, ничему не научился. Красные разгромили корпус Слащева, мне пришлось заменить его другим генералом, а он еще дает хвастливые интервью!»

Барон не верил ни генералам, ни газетам: уж кто-кто, а он-то знал трагическое положение дел. Он продолжал просматривать убористые колонки текста со смешанным чувством тоски, обреченности и злости на недалёковидность своих помощников и восхвалителей.

Вот передовая из «Таврического голоса»: «Испытанная, закаленная в боях армия генерала Врангеля не знает поражения. Стратегические таланты ее вождей вызывают изумление всей Европы. В эти дни перестанем шептать пересохшими губами злые, пугающие слухи... Клеймите позором этих людей с фантазией, помутившейся от страха, с осовелой, мертвой душой».

А как вдохновенно пишет «Вечернее слово»: «Красные в ближайшие дни попытаются штурмовать перекопские позиции, чтобы поскорее добиться своей конечной цели. Со своей стороны, мы могли бы только порадоваться подобным попыткам красных. Пусть себе лезут и разбивают головы о перекопские твердыни. Да,

это верно, мы отошли к Перекопу. Но отошли в полном порядке, не оставив никаких трофеев неприятелю!»

— Ах, болваны! Какие болваны! — ругался барон, отшвыривая газеты.

Вошел генерал Шатилов, барон спросил раздраженно и насмешливо:

— Читали, что пишут и бравый наш генерал Слащев, и наши газеты? Перекоп невозможно взять лобовыми атаками...

— Фрунзе может его обойти через Сиваш. Боюсь, красные ринутся, по двум направлениям: на Армянск и через Сиваш на Перекоп.

— Когда прибудет Кубанская дивизия?

— Она уже прибыла и заняла свои позиции. Но кубанцы ненадежны, ваше превосходительство.

— Теперь все ненадежно.

Врангель приказал подать автомобиль и вместе с Шатиловым отправился на осмотр перекопских укреплений, и прежде всего Турецкого вала. Вал — земляная насыпь высотой двенадцать аршин, шириной двадцать пять — был блокирован бетонными оружейными заграждениями в несколько рядов. Сооружения и окопы, воздвигнутые в тесной огневой связи, и предоставляли возможность отражать противника с флангов. Тяжелая, легкая артиллерия, многочисленные ряды пулеметов держали под прицельным огнем все пространство перед собой. Перед Турецким валом чернел глубокий, наполненный водой ров.

В тылу Перекопа воздвигнута новая оборонительная полоса — Юшуньские позиции. На Арабатской стрелке, прикрытой французскими и английскими кораблями, построен ряд укрепленных линий, железнодорожный мост через Сиваш взорван, мост через Генический пролив сожжен.

Осмотр укреплений поднял настроение Врангеля, он уже не так безнадежно взглянул на положение дел. Повеселел и генерал Шатилов; сейчас обоим не казались легкомысленными заявления газет и генерала Слащева.

— Надо взбодрить войска и укрепить население вашим авторитетным словом, — посоветовал Шатилов.

— Пусть будет так. Пусть завтра газеты опубликуют мое заявление: многое сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым и ныне для врага неприступен, — согласился Врангель.

Было холодно, ветер гнал воду с моря, и Сиваш становился глубже, взбухая илом и грязью.

«Директива армиям Южного фронта. Ст. Апостолово, 5 ноября, 3 часа 15 минут. Первый этап по ликвидации Врангеля закончен. Комбинированными действиями всех армий фронта задача окружения и уничтожения главных сил врага к северу и северо-востоку от крымских перешейков выполнена блестяще...

Армиям фронта ставлю задачу: по крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее убежище контрреволюции. Во исполнение чего приказываю:

Командарму-6... ударить в тыл перекопским позициям, одновременно атаковав с фронта...»

Написав эти строки, Фрунзе отложил перо и задумался.

Командарм-6... Август Иванович Корк. Скромный человек с тихой улыбкой. «Какую тяжелую ответственность возлагаю я на твои плечи!..»

Перед ним словно на экране возникло ясноглазое лицо Корка.

«Атаку производить решительно, сосредоточив для удара крупные силы. Иметь дальнейшей задачей решительное наступление на Евпаторию, Симферополь, Севастополь», — дописал Фрунзе первый пункт директивы.

«Сосредоточить для удара крупные силы... Легко сказать! Я передаю в подчинение Корка махновцев; если атаман Каретников начнет выкидывать фокусы, Корк сумеет привести его в чувство. Еще дам Корку Вторую Конную армию Миронова».

Он продолжал писать директиву, за каждой строчкой ее видя не только естественные препятствия или укрепления, воздвигнутые

противником, но и командармов, комдивов, комбригов, которые поведут на штурм перекопских твердынь свои полки. Каждого из них он знал в лицо, верил в их талант и мужество. Все они — его друзья-соратники. Он любит этих людей суровой, мужественной любовью воина и революционера и верит, что они скорее погибнут, чем струсят или поддадутся панике.

Семен Буденный, Иероним Уборевич, Василий Блюхер, Владимир Лазаревич, Иван Грязнов — они для него и боевые соратники, и верные друзья.

«Командарму-4 продолжать энергичное преследование разбитого противника, стремясь на его плечах ворваться в Крым, и обеспечить плацдарм на южном берегу Гнилого моря... С утра 8 ноября перейти в решительное наступление на Симферополь, Феодосию».

Командарм-4 — Владимир Лазаревич — опытный, самостоятельный военачальник, умеет действовать по собственному усмотрению, без подсказок, без понуканий. «А инициатива, особенно военная, в решающие мгновения решает все», — подумал Фрунзе.

«Начальнику морских сил Черного и Азовского морей не позднее 9 ноября сосредоточить флотилию в Геническе, имея задачей обеспечить с моря операцию 4-й армии... Командарму 1-й Конной спешно привести в порядок конницу и готовиться к переправе через Сиваш у Чонгарского полуострова...»

С командармом 1-й Конной Буденным он подружился еще в семнадцатом году, в Могилеве. Тогда по его совету Буденный на станции Орша окружил казачьи эскадроны; корниловцы, шедшие на Петроград, сложили оружие перед ним.

Командуя 1-й Конной, он наносил удары по конным корпусам Шкуро и Мамонтова, вместе с частями 8-й армии освободил Воронеж, который с такой упорной яростью защищали деникинцы...

Директива для армий Южного фронта была разослана всем командармам, и в тот же день Фрунзе перевел свой штаб в Мелитополь.

«Победа или смерть» — девиз древний, но каждый раз при новых обстоятельствах он вызывает в сердцах особый, тоже новый, несравнимый с прежним порыв. Победить во имя свободы, народного счастья или же умереть ради них — вот какой смысл приобрел древний девиз для армий Южного фронта.

К берегам Сиваша подошли оборванные, разутые, голодные, безмерно уставшие красноармейцы. Непрестанно сражаясь, терпя поражения, одерживая победы, они оставляли на своем пути убитых, обмороженных, раненых товарищей и без сомнений в правоте своего дела приготовились к штурму последних позиций контрреволюции.

Огонь одного желания горел в каждом сердце — скорее, как можно скорее покончить с Врангелем! Накануне третьей годовщины революции во всех частях произносились одни и те же требовательные, непреклонные слова: «Даешь Перекоп!»

Особый энтузиазм охватывал всех, когда появлялся Фрунзе; командиры и бойцы верили в своего командующего, как и он верил в их несокрушимое мужество. Фрунзе не произносил речей; он ободрял словами бойцов, отдавал распоряжения командармам. Говорил спокойно, изредка улыбаясь, и улыбка этого человека, уверенного в победе, воодушевляла сильнее самых красноречивых фраз.

Вместе с командирами дивизий, которым предстояло переправиться к Литовскому полуострову, Фрунзе поехал на берег Сиваша.

Берег был полог, но пересечен оврагами, желтые заросли редких кустов шуршали над темной водой, темнели узкие тропы, исчезающие в топком иле или же переходившие в броды. Лишь местные рыбаки знали эти броды, но редко пользовались ими. Рискованно для жизни: сбился с брода — и угодил в бездонную яму. Особенно опасно пробираться здесь при сильных ветрах и в густые туманы. А теперь еще на другом берегу Сиваша окопался противник и непрестанно ощупывает пространство прожекторами.

Наступило седьмое ноября — день третьей годовщины революции. Ветер стих, над Сивашем повис густой, вязкий туман; его завесы напозлали с моря, прикрывая вражеские позиции. Проекторы прорывали туманные толщи, но мертвящий свет их обессиленно сникал в камышах, в береговых обрывах.

Фрунзе остановился в сельце Строгановка, чтобы непосредственно руководить штурмом. Он нетерпеливо ждал вечера, хотя и не выдавал своего настроения; почти каждый час доносили ему обо всех изменениях, происходящих в передвижении войск.

В десять часов вечера войска начали переправу. Первыми спустились в ледяную воду разведчики, за ними пошли стрелки, пулеметчики понесли на руках пулеметы, саперы укладывали на дно Сиваша бесчисленные связки камыша. Связисты, подняв над головой телефонные провода, стояли по колено в воде, образовав живую линию передачи.

Осторожно двинулись полевые орудия, повозки со снарядами. Колеса вязли в глубоком иле, артиллеристы вытаскивали лошадей и орудия и снова шаг за шагом продвигались вперед.

В два часа ночи первые штурмовые группы добрались до Литовского полуострова и залегли у проволочных заграждений. Штыками, лопатами рвали бойцы колючую проволоку, расширяя проходы между ее рядами.

И все мучительно ждали сигнала ракеты, которая должна была взвиться в непроглядное небо.

И она взлетела, рассыпав сноп алых брызг.

В ночной волглой тишине особенно громко прозвучала короткая команда;

— На штурм!

Словно буйный поток хлынул в проходы заграждений — и тотчас же слепящий свет прожекторов ударил по лицам красноармейцев, заработали пулеметы, засвистели осколки гранат. Врангелевцы в упор расстреливали атакующих. Первая штурмовая группа была уничтожена, но из Сиваша появлялись все новые бойцы и, преодолевая заграждения, устремлялись к вражеским окопам. Бе-

лые батареи повернули орудия на полуостров и открыли огонь; фонтаны воды и грязи взлетали над Сивашем, обрушиваясь на бойцов, на лошадей. Страшно кричали люди, дико ржали кони, омерзительно свистели снаряды, трещали пулеметы.

Красные достигли вражеских окопов, и завязалась рукопашная схватка. Дрались прикладами, кололи штыками, стреляли из револьверов, и, не выдержав напора, врангелевцы начали отступать.

Поздним утром красные обошли перекопские позиции и приблизились к укреплениям Юшуни.

Врангель бросил в атаку свежие силы, и они начали теснить красных назад, к Сивашу.

Получив донесение о контрнаступлении противника, Фрунзе послал на помощь десантникам новую бригаду. Дивизии 6-й армии Августа Корка, истекая кровью, с трудом удерживались на краю Литовского полуострова.

Ночью с моря подул ветер. Он нарастал с невероятной силой, гоня воду Азовского моря в Сиваш; под диким этим ветром сгибались деревья, хлопали ставни, срывались с хат соломенные крыши.

В полночь в штабе 15-й дивизии зазвонил полевой телефон. Фрунзе выслушал новое донесение и несколько мгновений молчал. Ответил чужим голосом:

— Приму срочные меры...

Повернулся к стоявшему рядом Пауке:

— Уровень воды в Сиваше поднимается. Броды затапливаются. Дивизии на Литовском полуострове отрезаны от нас. Немедленно направить на помощь 7-ю кавалерийскую дивизию и махновцев.

Минут через пять в штаб явился атаман Каретников.

— Мои люди не могут бродить по Сивашу, — объявил он. — Недополучили шинелей, а ветрище-то вон какой: ложись грудью — удержит.

— Ответьте-ка, атаман, как поступает батька Махно с теми, кто не исполняет его приказов? — сдерживая раздражение, спросил Фрунзе.

— Таких смельчаков нет.

— Ну а все-таки если найдутся?

— Батка расстреливает собственноручно.

— Ну так вот, если не исполните моего приказа, я тоже вас расстреляю. Даю пятнадцать минут на сборы...

Каретников надвинул кубанку на лоб.

— Ежели так, то выступаю...

Фрунзе попросил связать его с Блюхером.

— Блюхер у телефона, — сказал Паука, передавая телефонную трубку.

— Пришел твой час, Василий. Вода заливает Сиваш, наши на Литовском полуострове погибнут, если не поможем. На рассвете в лоб атакуйте Турецкий вал...

Он стоял у стола, положив руку на военную карту, стискивая пальцами карандаш, и машинально начертил на карте пять волнистых линий. Прислушался к напряженному ветру и представил себе картину предстоящей атаки Турецкого вала.

Волнистые линии обратились в пять «волн», и каждая имела свою задачу — еще утром они с Пауком и Блюхером разработали этот план атаки.

Первая волна атакующих — разведчики, саперы, бойцы, обученные резке колючей проволоки. Они расчищают проходы в проволочных заграждениях.

Вторая — по два батальона стрелков от каждого полка первой линии. Эта волна, преодолев заграждения, подкатывается к Турецкому валу.

Третья, сливаясь со второй, захватывает Турецкий вал.

Четвертая волна, эшелонированная в глубину, состоит из четырех ударных полков. Они развивают успех первых волн и преследуют противника.

И наконец, волна пятая — два кавалерийских полка атакуют сломленного, уже отходящего врага.

Но все же это только оперативный план, пусть продуманный, пусть предельно ясный, а все-таки — на бумаге. Хорошо, что ко-

мандиры знают, что им делать каждое мгновение, но ведь и у противников есть планы.

Фрунзе мысленно видел, как по Сивашу передвигается дивизия Блюхера. Сиваш наполняется морской водой, и все непроходимое становятся броды, бойцы спотыкаются, падают, поднимаются, снова бредут, сгибаясь под тяжестью оружия и мокрой одежды. Они молчат, уверенные, что своим молчанием сохранят тайну переправы, но может ли быть совершенная тишина при переправе многих тысяч людей, животных, орудий, броневиков, повозок с боеприпасами?

Ветер улегся. Скоро рассвет. Фрунзе посмотрел на телефон, на Пауку. Тот стоял, скрестив на груди руки, в светлых глазах пробежали огоньки мигающей свечи. О чем думает он?

«Конечно, о том, о чем я сам: скольких храбрецов недосчитаемся мы в этот роковой рассвет? Какой ценой заплатим за штурм Турецкого вала?»

Опять слабо, но тревожно зазвонил телефон; в трубке послышался далекий голос Блюхера:

— Переправились. Пятьдесят пять орудий готовы открыть огонь по Турецкому валу, но штурмовать невозможно. Туман. Такой туман — не вижу своей руки.

— Ждите, пока туман рассеется.

Туманные полотнища стали редеть, появились синие проталины неба, очертания вала, колючая путаница заграждений, орудия, нацеленные на плоский, голый берег Сиваша.

По команде Блюхера пятьдесят пять орудий ударили по Турецкому валу одновременно, и тотчас хлынула на него первая волна атакующих. Немедленно загремели орудия белых, сплошным огнем отрезая путь. Снаряды рвались и справа, и слева, и в центре «волны», разбрасывая, кромсая, уничтожая все и вся. Бойцы первой «волны» погибли, даже не достигнув намеченной цели.

На штурм поднялась вторая «волна». Поддержанная броневиками, она преодолела только первую полосу заграждения. Врангелевцы смели и ее.

Грохот, крики, скрежет, треск разваливали небо над сивашской равниной, все смешалось с кровью, грязью, дымом, — казалось, небо обрушивается на красных и белых, а люди потеряли инстинкт самосохранения.

Блюхер лежал в яме, пытаясь связаться с Фрунзе, и невольно прижимался к земле, когда над ним свистели осколки.

— Первые две волны атакующих погибли, — доложил он, услышав голос Фрунзе.

— Приостановить атаку до вечера. Берегите бойцов. Предложите врангелевцам капитуляцию на почетных условиях.

Блюхер подозвал комиссара 1-го ударного полка.

— Согласны ли вы добровольно пойти на верную смерть? Нужно передать противнику письмо.

— Давайте письмо.

— Вас наверняка убьют по дороге.

— Письмо!..

Комиссар дошел до противника, передал письмо, получил отказ и вернулся к Блюхеру. Из бойцов своего полка он один остался живым.

С вечерней темнотой началась новая атака. Третья «волна» красноармейцев захватила вторую полосу укреплений, но дальше продвинуться не могла.

После полуночи Блюхер в четвертый раз поднял полки на штурм. Гром ночной канонады заглушал слова команд, но бойцы уже не нуждались в приказах, они рвали заграждения, по горло в воде переходили глубокий ров, лезли по скользкому скату на вершину вала. Их расстреливали в упор, сбрасывали штыками в ров, но на месте погибших возникали другие.

«Сегодня в смертельной схватке сошлись мужество нашей идеи и храбрость их отчаяния», — думал Блюхер.

Перед ним только что стоял ротный командир, тяжело раненный в плечо. Кровь стекала по шинели, лицо было искажено болью. Он что-то кричал, но что — Блюхер не слышал. Махнув рукой, командир повел роту в атаку и упал, сраженный пулей. А сей-

час сообщили, что полковой комиссар бросил на колючую проволоку свою шинель и перевалился через нее на вершину вала. Красноармейцы устремились за ним. Комиссара убило осколком снаряда.

Пространство перед Турецким валом превратилось в сплошную стену огня. Блюхер отдал приказ о последней атаке грозного вала.

В третьем часу ночи 455-й и 456-й полки одновременно ворвались на Турецкий вал, за ними поднялись красноармейцы 453-го и 454-го полков.

В то же самое время противник был атакован с Литовского полуострова. Врангелевцы в панике покидали окопы, и только разрозненные группы офицеров еще ожесточенно сопротивлялись.

— Перекоп взят штурмом! Наступаем на Армянский базар, — голосом, дрожащим от волнения и радости, сообщил по телефону Блюхер.

Центр сражения переместился на линию Армянский базар — Юшунь, но все попытки захватить Юшуньские позиции были отбиты врангелевцами. На Перекопском перешейке сложилась парадоксальная ситуация: и красные, и белые добились успеха на противоположных флангах и угрожали друг другу заходами в тыл.

Это сразу учел Фрунзе. Он приказал Ивану Грязнову, командиру 30-й дивизии, атаковать противника у Чонгара, где уже вели бой кавалерийские части Буденного.

В ночь на 11 ноября Грязнов начал переправу через Сиваш. Снова дул острый ветер, падала температура, Гнилое море задерживалось ледяной пленкой. Бойцы коченели от ветра и все-таки шли по узкому мостику. Обледенелые бревна раскачивались под ногами, но неудержимая, словно магическая, сила тянула бойцов на вражеский берег.

Они появились там совершенно неожиданно и молча бросились в атаку. Помогая им, заговорила красная артиллерия, и началась новая схватка во мгле ноябрьской ночи. Прожекторные снопы света бегали по Сивашу, орудийный огонь белых сосредоточился на

шатком мостике, но саперы тут же восстанавливали его. Боец за бойцом перебежали на берег.

Внезапное появление бойцов Ивана Грязнова воодушевило 51-ю дивизию. Совместными усилиями они начали теснить противника за Юшуньские укрепления.

Не выдержав этой новой атаки, врангелевцы оставили Юшунь. В образовавшийся прорыв ринулась красная конница.

Миронов погнал противника на Джанкой, Буденный устремился к Севастополю, 4-я армия Лазаревича двинулась на Феодосию.

Все новые победные донесения ложились на стол Фрунзе:

«...Войска 2-й Конной армии и 51-й дивизии освободили Симферополь».

«...6-я армия и 1-я Конная заняли Севастополь».

«...Части 4-й армии очистили Феодосию».

— Враг разгромлен! Довольно русского кровопролития! — воскликнул Фрунзе и радировал Врангелю предложение сдаться. Всем сложившим оружие он гарантировал полное прощение, желающим покинуть Россию — свободный выезд в Европу. «Откажитесь от позорной роли лакеев иностранных империалистов. В настоящий грозный час будьте с Россией и ее народом».

Барон не ответил на его предложение.

Пришло утро 16 ноября.

— Победа, блестящая победа одержана нами, но какой дорогой ценой досталась она! Кровью десяти тысяч лучших сынов оплатил народ избавление от контрреволюции, — говорил Фрунзе, прибыв в Джанкой.

Из Джанкоя он послал телеграмму Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».

Эхо времени

Командующий Южным фронтом тов. М. В. Фрунзе-Михайлов, последовательно исполняя должности командующего войсками 4-й армии, Южной группы Восточного фронта, Восточного, Турке-

станского и Южного фронтов, блестяще выказал на деле свои крупные природные военные дарования.

Приобретая непрерывно теоретические познания, он с большим успехом применял их на опыте, давая Советской

Республике победы над ее врагами на Востоке и в Туркестане и особенно на Юге, где им была разбита наголову армия Врангеля и тем вписано в историю обороны Советской России много славных страниц.

Оценивая такую деятельность командующего Южным фронтом тов. М. В. Фрунзе-Михайлова, Революционный Военный Совет Республики переводит М. В. Фрунзе в Генеральный штаб.

Из приказа Реввоенсовета

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

С победой над Врангелем гражданская война, по существу, закончилась, но на юге страны еще разбойничали шайки анархистов, петлюровцев. Самым опасным оставался Махно, который снова выступил против Советов.

Фрунзе, назначенный на пост командующего всеми вооруженными силами Украины и Крыма, объявил войну бандитизму. Он применил против Махно тактику самого же Махно — действовал небольшими отрядами. Кавалерийские эскадроны, тачанки с пулеметами преследовали махновцев. Был создан особый «летучий корпус», который вылавливал бандитов по степным балкам, по дубравам и степным станицам.

Махно метался, как волк, обложенный красными флажками. Он исколесил пути от Воронежа до Одессы и опять перебрался на Украину.

Фрунзе, узнав, что батька появился под Полтавой, решил сам принять участие в боевых операциях.

В салон-вагоне, прицепленном к бронепоезду, выехал он на станцию Решетилловка. Его сопровождала только охрана да Иван Кутяков.

Как-то на ломберном столике увидел Кутяков потрепанный том философа Монтеня, а на нем фотокапточку.

Иван подошел поближе. С фотографии смотрел на него стеклянными глазами мужчина с бритым лицом. Длинные волосы падали на плечи, тонкие губы кривились в усмешке, и была эта усмешка циничной, жестокой, презрительной и тягостной одновременно.

— Хорош? — спросил Фрунзе.

— Кто это?

— Нестор Махно.

— Разок взглянешь — не забудешь. Страшное лицо! Страшные за ним дела... Сколько может напакостить человек, когда уверен, что ему все дозволено! — сказал Кутяков.

На станции Фрунзе узнал, что Махно вырвался из оцепления и находится где-то совсем близко.

— Приготовить лошадей, — приказал Фрунзе.

Он вышел из вагона с маузером через плечо, потрепал по гриве своего гнедого англо-араба, легко сел в седло.

— Куда же поедем? — спросил Кутяков.

— В Решетиловку. Там наш летучий отряд.

— Как бы не столкнуться с махновцами!

— На всякий случай надо взять карабины.

Искрилось ясное, в обильной росе, июньское утро, в высоком небе белыми островами стояли облака, березовой свежестью обдавал всадников легкий ветерок. Березы по обочинам тракта напоминали шумливые зеленые фонтаны, и Фрунзе испытывал наслаждение от утренней поездки, от солнечного света, улыбчивого молчания земли.

Сперва шли галопом, потом сбавили шаг. Фрунзе, любясь окрестностями, раздумяился, повеселел и, не выпуская поводьев, поглаживал гриву иноходца.

Впереди между березами замелькали хаты, всадники въехали на поросшую травой улицу незнакомого села, которая привела их к площади с почерневшей от времени церковью. На площади строи-

лась большая колонна всадников, погромыхивали тачанки с пулеметами, конная пара натужно сдвигала с места пушку. Над колонной развевалось красное знамя, в сторонке, сдерживая вороную кобылу, гарцевал всадник.

— Это наш летучий отряд, — обрадовался Фрунзе и, прищиприв иноходца, поскакал к колонне.

Кутяков и ординарец поспешили за ним. Фрунзе осадил коня в тридцати шагах от колонны, гарцующий всадник тоже приостановился. Был он в темной бурке, с плеча дулом вниз свешивался карабин. Фрунзе увидел изможденное лицо, длинные волосы, челку, справа налево пересекавшую плоский лоб.

— Кто такие? — спросил всадник хриплым, властным голосом, ловко сдерживая с плеча карабин.

— Да это же Махно! — предупреждающе крикнул Кутяков.

— Скакать в разные стороны! — скомандовал Фрунзе, поворачивая иноходца.

Махно выстрелил, но промахнулся. Иноходец взвился перед плетнем, перемахнул его и помчался по дороге, ведущей на полугую горку. Кутяков ожег плетью свою лошадь и поскакал по развилке, уходящей под гору. Ординарец замешкался и поплатился за это жизнью: махновцы зарубили его саблями.

Кутяков со страхом видел, что махновцы догоняют командующего, и в то же время не мог допустить мысли, что его перехватят или сразят наповал. Он мчался низом, параллельно Фрунзе, соображая, как выручить его из беды, и все же против воли в сознании отпечатывалось все происходящее. Он увидел: седые одуванчики револьверных дымков скользят навстречу махновцам. Это Фрунзе отстреливается от преследователей. Вот он осадил коня, спрыгнул из седла, выстрелил по переднему всаднику. Махновец откинулся, выпал из седла. Новым выстрелом Фрунзе снял второго, вскочил на иноходца и свернул на нижнюю дорогу.

Преследователи начали отставать. Кутяков подоспел к Фрунзе, и они рысью направились к сосновому бору, темневшему у Решетиловки. В сосняке блеснула речушка. Фрунзе остановил коня.

— Не могу ехать. Жжет в боку, да и пить хочется.

Кутяков помог ему сойти с гнедого, снял плащ. На френче расплывалось кровавое пятно: пуля сильно задела правый бок. Кутяков достал из походной сумки склянку йода, вылил на рану, кое-как перевязал. Фрунзе спустился к речке и жаднопил студеную лесную воду.

— Поехали, Михаил Васильевич. Не ровен час, махновцы догонят.

— Ведь надо же, а... Не в таких переделках бывал, а тут чуть-чуть не угодил в лапы Махно, — невесело рассмеялся Фрунзе...

В августе с Махно было покончено. Ближайшие сподвижники батеньки были или убиты, или захвачены в плен.

Сам Махно бежал за границу.

Над Харьковом цветет-переливается летнее утро. В распахнутых окнах штаба командующего всеми вооруженными силами Украины и Крыма легкими парусами надуваются шторы — ветерок без устали борется с ними.

Фрунзе остановился у окна, разглядывая зеленую, в мелькающих экипажах, снующих пешеходах, улицу. К подъезду штаба спешили военные: прищелкивая каблуками, браво прошагал бессменный адъютант его Сергей Сиротинский; размеренной походкой, как всегда сосредоточенный, появился начальник штаба Иван Христофорович Паука. Интересный человек. Он профессионально рассуждает о литературе, о музыке. Он всегда в курсе всех сложнейших военных вопросов и в состоянии дать им самостоятельную оценку, думал Фрунзе. А вот и Гамбург. При его появлении он невольно улыбнулся. Всю жизнь прошли они плечо к плечу, делили радости и печали и последнюю корку хлеба. «Иосиф — единственный, может быть, человек, который знает всю мою жизнь, как и я — его дела и желания». «Мне бы стихи писать, а я все занимаюсь военным снабжением», — пожаловался он на днях. «Лучше быть хорошим снабженцем, чем посредственным поэтом», — возразили ему. Поворчал-поворчал, но согласился.

У подъезда появился военный комиссар Сукеник; у него какой-то встревоженный вид. «Что-то случилось», — сказал себе Фрунзе и, выждав несколько минут, позвал адъютанта.

— Пригласите ко мне Сукеника.

Комиссар вошел в кабинет нахохленный, с тусклым, тоскливым взглядом.

— Что у вас произошло?

Сукеник подал телеграмму.

— «Спасите. Умираем с голоду», — прочел Фрунзе. — Кто и где умирает с голоду?

— Родители моей жены. Живут в Армянске. От этой телеграммы жена упала в обморок. А я... Да что же я могу поделывать?

— Когда получили телеграмму?

— Вчера днем.

— Почему сразу ко мне не обратились?

Комиссар молчал, не находя ответа.

— Что же тут раздумывать. Берите отпуск и поезжайте в Армянск. Я прикажу, чтобы дали вагон-теплушку, немедленно собирайтесь в дорогу.

Комиссар ушел, Фрунзе погрузился в работу, но в кабинет бесшумно проскользнул скульптор.

— Разрешите, Михаил Васильевич?

— Поздно разрешать-то. Опять покушение на мое время? Тоже, нашли объект для творческого вдохновения. Садитесь на свое место и продолжайте работу, а я буду делать свою, — сказал Фрунзе улыбаясь, но серые глаза его неодобрительно глядели на скульптора.

— В этом вопросе вы не правы, Михаил Васильевич...

— Уговор помните?

— Еще бы... Если кто зайдет, я исчезаю.

Скульптор присел к окну, открыл альбом и начал делать наброски к портрету. «Нет в нем ничего воинственного! Круглое лицо, мягкие очертания губ, подбородка, добродушное выражение. Вот только глаза... Они моментально меняют выражение: только

что улыбались и уже серьезные, уже сосредоточенны. А сколько времени понадобилось, чтобы уговорить его позировать! Пришлось ждать неделю, пока согласился.

— Вы цените Родена? — спросил неожиданно Фрунзе.

— Великий мастер, — оживился скульптор.

— Я где-то читал: Родена спросили, как он добывается выразительности в камне.

— И что же он ответил?

— «Беру камень и отсекаю все лишнее».

— Вся тайна в том, как определить, что лишнее.

— Интересные мысли мастеров помогают нам оценивать свои возможности. А чем плох совет художника Ренуара: «Если имеешь таланта на сто тысяч франков, купи еще на пять су»?

Оба рассмеялись: Фрунзе — непринужденно, скульптор — натянуто. Он не знал изречений Родена и Ренуара и теперь смутился своего неведения.

— Вас трудно рисовать, Михаил Васильевич, — признался художник, кладя карандаш.

— А вы не рисуйте тютелька в тютельку. И ради бога, не украшивайте мою личность, а то будет и смешно и неловко...

В кабинет вошел Сиротинский, покосился на художника, доложил:

— К вам просится какой-то гражданин. Всего на пять минут, но от этих минут, говорит, зависит его судьба...

— Кто он?

— Бывший полковник царского генерального штаба.

— На пять минут? Пусть войдет.

— Дело в том, что его сопровождает конвоир. Вел он полковника в Чека, а завел к нам, Полковник-то под арестом, — пояснил адъютант.

— Пропустите их ко мне.

Художник захлопнул альбом, вышел за Сиротинским. Дверь снова приоткрылась, в проеме ее показался высокий человек в

штатском костюме. Остановился у порога, переступил с ноги на ногу. Фрунзе показал ему на стул возле стола.

— Садитесь и рассказывайте, что у вас?

— Моя одиссея длинна, но буду по-военному краток, — волнуясь, начал посетитель. — Я был полковником царского генерального штаба, революция застала меня на турецко-персидском фронте. Летом двадцатого года добровольно вступил в Красную Армию и был командирован в Турцию.

— Простите, как ваша фамилия?

— Готовцев. Дворянин. В Турции меня с женой арестовали, но вскоре освободили и выслали в Севастополь. Тамошняя Чека задержала меня, как не имеющего никаких документов, — их пришлось уничтожить еще в Турции. Из Севастополя отправили в Харьков, здесь держат на станции, в вагоне, но ежедневно водят на допрос в Чека. Сегодня, когда меня вели мимо военного штаба, я попросил устроить свидание с самым высоким военным начальником. И меня привели к вам, — со смутной надеждой, что его поймут и поверят ему, поднял Готовцев глаза на командующего. Поспешно добавил: — Исповедь свою я ничем подтвердить не могу, прошу поверить на слово. Посоветуйте, как выйти из столь нелепого положения.

— Положение действительно нелепое. — Голос Фрунзе смягчился, он явно проникся сочувствием к Готовцеву. — Кем служили на турецко-персидском фронте?

— Начальником разведывательного отдела.

— Можете дать характеристику боеспособности турецкой армии?

— Конечно.

Готовцев дал сведения, заинтересовавшие Фрунзе. Узнав, что Готовцев ходил на военном корабле рекогносцировать турецкое побережье Черного моря, он подробно расспросил и об этом.

— Пришлось мне побывать и в Константинополе, — добавил Готовцев.

— Как там себя чувствует барон Врангель? Каково настроение бежавших с ним офицеров? Как живут гражданские беженцы? — засыпал собеседника вопросами Фрунзе.

— Беженцы в положении ужасном. А Врангеля бывшие наши союзники думают послать на Дальний Восток для новых мятежей против Советов. Об этом говорил мне генерал Шатилов.

— Шатилов — боевой генерал. Сужу о нем по Перекопу.

— Я отнял у вас пятьдесят минут вместо пяти, — воскликнул Готовцев, взглянув на стенные часы.

— Время даром не пропало. Вы рассказали много интересного. Что касается вашего положения — сделаю все возможное. Подождите в приемной.

По ходатайству Фрунзе полковник Готовцев и его жена были освобождены из-под ареста.

День близился к концу, но Фрунзе непрерывно принимал начальников отделов, командиров, комиссаров, обсуждал с ними планы, давал советы, выслушивал противоречивые мнения; со всеми он держался ровно, спокойно.

В седьмом часу вечера зазвонил телефон. Начальник военно-политических курсов «Выстрел» просил приехать на собрание.

— У нас буча из-за генерала Слащева. Только вы можете успокоить курсантов, — говорил он взволнованно.

Фрунзе появился в президиуме собрания, когда страсти уже раскалились до предела. Ораторы — молодые командиры и комиссары — яростно выступали против амнистии Слащева, кто-то даже требовал расстрелять его как врага революции.

На трибуну поднялся Фрунзе; курсанты притихли, ожидая, что скажет командующий.

— Вы требуете казни генерала Слащева, крупного военного специалиста, на том основании, что он враг революции? — Фрунзе окинул взглядом аудиторию и продолжил: — Но он — бывший враг, а мы не мстим раскаявшемуся противнику. Снять с плеч голову — дело не хитрое. Такого военного специалиста, как Слащев, целесообразнее использовать, чем расстрелять... Постановление

правительства — законодательный акт, выступать против него — выступать против закона. Требование казнить Слащева противозаконно, и мы отвергаем его...

Речь командующего охладила горячие головы, слова его произвели большое впечатление на всех присутствующих в зале.

Вишневые деревья в кружеве листьев, пунцовые от поспевших ягод, смотрели в окна, по перилам террасы, воркуя, ходили голуби. Фрунзе, в бухарском халате и войлочных туфлях, сидел у стола; нетронутый бумажный лист белел перед ним, призывая к работе, но он не спешил, наслаждаясь сумерками. Давно не ощущал он такой мирной тишины; и дышалось сегодня легко, и не ныли застаревшие раны.

На столе лежала стопа книг. Утром воры разграбили книжный магазин, красноармейский патруль арестовал грабителей, а несколько изодранных книжек принес в штаб.

Фрунзе стал перелистывать маленькие, скверно изданные книжки: «Врачебное сословие древнего Рима», «Врачебный быт допетровской Руси», «Как лечились московские цари».

В приоткрытую дверь проникали голоса дочки и Софьи Алексеевны. Жена укладывала спать девочку, та отнекивалась. Фрунзе прислушивался к их полупшепоту, но мысли его уносились в прошлое, к осенним лесам Рязанщины. Тогда, на хуторе, в шестнадцатом году, мечтал он написать статью о новой военной доктрине. В тех условиях это были маниловские мечтания, но сейчас дело иное. Теперь у него опыт гражданской войны, опыт Красной Армии, одержавшей блистательные победы над контрреволюцией. Не пора ли создать новую военную доктрину? А в чем практический смысл этой идеи? У современных войн существуют характерные особенности. Прежде в сражениях участвовали небольшие группы населения, для которых война была профессией, сейчас сражаются народы и континенты. В кровавый водоворот втягиваются миллионы людей, война затрагивает все без исключения государственные и общественные интересы. Теперь театр военных действий захватывает громадные пространства и все усложняется оружие.

На террасу вошла Софья Алексеевна.

— Пора спать, Зеленый Листок.

Он взял в ладонь её исхудавшие пальчики, нежно сжал. Он любил жену той незаметной любовью, что проявляется в постоянной тревоге за здоровье, спокойствие, духовные интересы женщины. Военные и государственные заботы постоянно отвлекали его от семьи, и он чувствовал себя виноватым перед Соней.

Софья Алексеевна присела на край плетеного из ивовых прутьев кресла, лицо ее выступало из сумрака белым пятком. «Как хорошо, что она не оказалась мимолетной бабочкой, пролетевшей над моей судьбой, не стала тенью, ушедшей в мою молодость!»

— Ты что, Зеленый Листок?

— Думаю... Когда я один — ты всегда со мной. А когда ты со мной, я испытываю прилив сил: что не удавалось вчера, сегодня делается непринужденно.

— Что-то ты высокопарно заговорил, — рассмеялась она.

— Объясняюсь в любви жене. Да, моя милая, любовь обладает волшебным свойством облагораживать прошлое, украшать настоящее. Ты придаешь мне сил.

— Не преувеличивай моих возможностей. Ведь и я без тебя — птица без крыльев... — В печальных глазах ее мерцал глубинный свет, но пальцы мелко дрожали, выдавая болезненное состояние.

Он поднес ее пальцы к губам и поцеловал.

— В чем истинная красота женщины? Во внешности? Духовная красота, по-моему, выше внешней.

— Не знаю, не уверена. Привлекательная внешность дает женщине чувство уверенности в себе. — Софья Алексеевна мягко улыбнулась. — Красота — это своего рода судьба, не только для женщины, но и для мужчины...

— Такое мне не приходило в голову. Кстати, вспомнилась легенда о мужской красоте. Был необычайный красавец-монах, святой Христофор, его постоянно преследовали женщины. И вот однажды Христофор опустился на колени перед распятием Христа и стал умолять бога избавить его от женского поклонения...

На следующее утро идет Христофор по городу — стройный, красивый, знающий свою неотразимость. Мужчины с завистью любят им, но женщины в страхе отворачиваются от него. Удивленный, Христофор спрашивает у старика: «На кого я похож?» — «На Аполлона». Тогда он подходит к старухе — та в ужасе пятится. «Скажи, на кого я похож?» — «У тебя голова бешеного пса», — крестится старуха. Теперь святой Христофор совершенно свободен, ничто не мешает ему молиться и мечтать, но нет мыслей, нет слов, нет желаний. Пустынно и холодно в окружающем мире, женщины больше не улыбаются ему, не ласкаются ребятишки. Отчаяние подтачивает Христофора, как гусеница прекрасного цветка, он смотрит на встречных женщин: «Я умен, я талантлив, я добр. Разве этого мало для счастья?» — «Ты лишил нас радости наслаждения красотой», — сурово отвечают женщины.

— Замечательная легенда! — воскликнула Софья Алексеевна. — Она говорит о том, что человеку нельзя восставать против своей природы и красоты.

— Ну ладно, моя умница, иди спать.

Фрунзе перешел с террасы в кабинет. Мысль о новой военной доктрине вновь завладела им; он придвинул к себе бумагу, взял перо. Часы показывали четверть третьего, ночь графитной стеной стояла в окнах, а он писал.

Он писал о том, что учению о единой военной доктрине необходимо определить характер будущих столкновений, которые ожидают Красную Армию. «Должны ли мы утвердиться на идее пассивной обороны страны, не ставя и не преследуя никаких активных задач, или же должны иметь в виду эти последние?» — спрашивал он себя. И утверждал, что рабочий класс перейдет в наступление на капитал, отсюда вытекает необходимость воспитывать армию в величайшей активности. Эта мысль вызвала другую, важную и значительную. Формулу царской армии «православие, самодержавие и народность» надо заменить идеями пролетарской диктатуры, международного братства, солидарности пролетариата. Он рассматривал военные доктрины Англии, Германии, Франции,

давал им оценку как завоевательным и колонизаторским. «Эксплуатация колоний была главным источником обогащения британской буржуазии, и поддержание колониального господства составляло ее главнейшую военную задачу». В германской военной доктрине он видел наступательный дух. «Германия превыше всего» — вот тот девиз, который отравлял сознание большинства германского народа в эпоху империалистической войны. А Франция? В чем суть ее доктрины? Французскую военную доктрину «отличало чувство неуверенности в своих силах, отсутствие широких наступательных планов, неспособность смело искать решения боя».

— Побеждает лишь тот, кто имеет решимость наступать. Тот, кто только обороняется, обречен на поражение, — вслух сказал он, перечитав написанное. — Активный характер грядущих войн предъявляет к нашему Генеральному штабу высокие теоретические и практические требования. Красная Армия обязана исполнять свои задачи в любом оперативном направлении и на любом участке грядущего фронта, а границы эти — пределы всего Старого Света.

Он убежден: командиры обязаны знать политические и экономические условия, при которых будут действовать армии в грядущих сражениях.

Статья Фрунзе появилась в журнале «Армия и революция». Это был первый номер первого военного журнала, созданного им в Харькове.

Не успел выветриться запах типографской краски со страниц журнала, как на статью «Единая военная доктрина» обрушил свое язвительное остроумие Троцкий. Он опубликовал специальную статью, выступил с речами на совещаниях в Реввоенсовете, издеваясь и над автором, и над марксизмом как методом научного познания войн.

— Война есть кровавое ремесло, превратиться в науку она не может по своей природе. Как можно приемы военного ремесла строить при помощи марксистского метода? К теории войны марксизм не имеет никакого отношения, — говорил Троцкий.

В защиту «Единой военной доктрины» поднялся Сергей Гусев. Он разоблачил антимарксистские взгляды Троцкого, но полемика продолжалась. О новой доктрине писались статьи, велись дискуссии. Фрунзе выступил на совещании с докладом об основных военных задачах момента. Сдержанно и спокойно отстаивал он принципиальные положения своей статьи. Закончил словами, полными надежды:

— В Красной Армии у нас не хватало иногда, может быть, технических знаний, планомерности, выдержанности, но были решительность, смелость и широта оперативного замысла...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Он снова в куполозвездной столице.

Солнце играло в зеркальных витринах, переливалось в лужах, по Тверской проносились пролетки, тарантасы, между ними мелькали редкие автомобили. Совработники с портфелями, нэпманы в плащах-«макинтошах», красноармейцы в шинелях и шлемах, студенты в толстовках толпились у театров и булочных. Рекламные афиши нашептывали о многоликом мире зрелищ и развлечений.

«Обветшалый «Лес» в новаторской постановке В. Мейерхольда. Красочная буффонада на классическую тему», — соблазняла огромная черная афиша.

«Жил ли Христос?» Диспут. Комиссар Луначарский против митрополита Введенского».

«Впервые на киноэкране! Американский боевик «Багдадский вор». В главной роли непревзойденный Дуглас Фербенкс».

Через всю Тверскую колыхалось красное полотнище: «Англичане — вон из Шанхая!» Революционными событиями в Шанхае жила вся республика, газеты посвящали этим событиям статьи, имена Чан Кайши и Чемберлена не сходили с газетных полос. Фрунзе вспомнил эпиграмму Демьяна Бедного «Обмен телеграммами»:

«Чемберлен. Ну как, у вас погодка какова?

На Бессарабию утратили права?

Демьян. Погодка, мистер, неплохая.

А что вам пишут из Шанхая?»

— Демьян умеет шутить язвительно и тонко, хотя иногда шутит и неудачно, — рассмеялся он.

Фрунзе любил бродить по улицам столицы, не придавая никакого значения ее теперешнему виду. Над этой временной в исторической перспективе Москвой вставала иная — с заводскими трубами, рабочими факультетами, красноармейскими казармами, новыми делами, думами, надеждами, мечтами.

Республика напрягала все силы для обороны от вражеских посягательств, и тяжесть ее легла на плечи Михаила Фрунзе.

Партия доверила ему пост заместителя председателя Реввоенсовета СССР и начальника Главного штаба. Как крупный военный теоретик он возглавил Военную академию. Вскоре он стал и председателем Реввоенсовета, и народным комиссаром по военноморским делам.

Он испытывал и радость, и наслаждение от новизны и свежести своей работы. И действительно, все было ново и свежо, все в армии приобрело красный цвет времени, сверкало особыми яркими гранями, дышало революционным пафосом.

Из Военной академии он изгнал рутинерство; кроме походов Ганнибала и Цезаря красные офицеры изучали военные труды Ленина, искусство русских военачальников — от генерала Брусилова до командарма Тухачевского. Они учились ведению операций и тактике по картам сражений под Уфой и Перекопом.

Чувство нового жило в нем, как живет талант в настоящем поэте. Он предчувствовал грядущие события и умом, и сердцем и требовал от своих помощников такую же предвидения. «Если бы на нас пошло даже не одно государство, а целый ряд государств... если бы им удалось образовать действительно единый антисоветский блок и напасть на нас, то и тогда у нас очень и очень много шансов на то, что это столкновение будет не в их пользу», — предупреждал он.

Человек, прошедший через все мыслимые страдания, полководец, чье имя стало символом побед Красной Армии, верил в мир между народами и государствами и боролся за этот мир. «Если мы всемерно поведем политику мира и в то же время уделим должное внимание вопросам укрепления нашей обороны, то нам не страшны будут никакие грядущие столкновения», — говорил он.

История подтвердила справедливость его слов.

— А мне нравятся вот такие стихи... — Гамбург поднялся со стула, скрестил на груди руки. Прорекламировал с печальным выражением на сухом ястребином лице:

— Смерть и горе царят на земле.

Ты всесильными их не зови.

Все, кружась, исчезает во мгле,

Неизменно лишь солнце любви...

— Незабвенно лишь солнце любви... — задумчиво повторил Фрунзе. — Емко сказано. И не только о любви к женщине, но и к Отечеству, но и к народу. Умеют настоящие поэты в одну фразу вложить столько смысла...

— Настоящие-то умеют, зато мы — поэты жизни и действия. Я вот каждый раз, когда выбирался из тюрьмы, чувствовал и воспринимал мир только глазами поэта. Я видел, что у лесных тропинок необыкновенно зеленый цвет, а у пшеничного поля — теплая позолота. Когда я вернулся в родной дом, то стал под березкой и почувствовал себя таким, каким был в юности. Я будто раздвоился и разглядывал двух непохожих людей. И я молодой спросил себя старого: «Кто ты такой? Я тебя совершенно не знаю». — «Я — это ты, только значительно старше». — «Уйди от меня! Ты страшен...» — «Ну что ты, я повзрослел...» — «Но ты безобразен...» — «Я теперь умнее, а ум — высшая красота...» — Гамбург хохотал, размахивая руками и по-детски откидывая назад голову...

В редкие свободные часы друзья Фрунзе собирались в его квартире на улице Грановского. К нему переехала из Пишпека мать, на свет появился сын, его назвали Тимуром. Бабушка взяла на себя все домашние хлопоты, утомлявшие больную Софью Алексеевну, и в доме воцарился тот незаметный, но успокоительный уют, который есть во всех дружных семьях.

Друзья, как и сам Фрунзе, беззаветно любили литературу, и разговоры часто велись вокруг ее проблем.

— Почему я не вижу сегодня Фурманова, нашего главного литературного спорщика? — спросил Гамбург.

— Скоро появится. Звонил, сказал, что сидит на диспуте то ли футуристов, то ли имажинистов, — ответил Фрунзе.

— Дмитрий теперь комиссарит на литературном фронте. Да и как не драться за новую, пролетарскую литературу. Прочитал я недавно его «Чапаева» — свежо, талантливо, правдиво, — заметил Гамбург.

— Правда главный герой его «Чапаева». Фурманову есть что сказать о революции. Только вот отрывают его от творчества литературные демагоги, — сказал Фрунзе.

— Я вчера посетил так называемое «Стойло Пегаса», — вновь заговорил Гамбург. — На самом деле это — стойло расхристанных анархистов, нэпманских сынков, веселых девиц, которые своими лживыми восторгами сбивают с истинного пути поэтов. Посетители шумят, пьют, скандалят, а поэты читают стихи. Помню одного высокого, бритоголового парня. Он ходил по сцене и изображал великого поэта:

— Я слеплен из самой божественной глины.

Во мне все грядущие боги сольются.

Я воздвигну на всех площадях гильотины

Для рубки голов в честь Революции...

Выступали еще символисты, акмеисты, какие-то «ничевоки». Несли ахинею о чистом искусстве, призывали к сокрушению традиций русской классики и прочее и прочее.

— «Ничевоки», говоришь? Забавно..» — грустно усмехнулся Фрунзе. — Впрочем, «забавно» — не то слово, вернее — опасно! Когда за душой нет ничего, кроме отрицания, тогда такие «ничевоки» становятся анархистами не только в литературе, но и в жизни.

В десятом часу явился возбужденный, усталый, с воспаленными веками, Фурманов.

— Простите за опоздание, но задержался на диспуте. Теперь сожалею о потерянном времени, — с порога сказал он.

— Как прошел диспут? — спросил Фрунзе.

— Дайте ему сперва поужинать, — захлопотала Софья Алексеевна.

Фурманов пил мелкими глотками горячий чай и говорил, обращаясь то к Фрунзе, то ко всем сразу:

— Какой там диспут... Самая идиотская склока, в которой не разберешь, чего больше: иезуитства, хамства или завистливой злобы. С одной стороны мелкобуржуазные молодчики да жрецы «чистого искусства», с другой стороны наши рапповцы, с дубинками в руках стерегущие вход в пролетарскую литературу. Они бьют по голове каждого талантливого писателя, не разделяющего их сектантских взглядов, уводят нас от политики в политиканство, присваивают себе права каких-то диктаторских центров в литературе. По своим групповым интересам приклеивают писателям ярлыки классовых врагов, объявляют то правыми, то левыми попутчиками. — Фурманов отставил стакан с недопитым чаем, вытер покрасневшее лицо носовым платком. — Я сказал жрецам «чистого искусства», что без связи с жизнью станешь пузырьком из-под духов: как будто чем-то пахнет, но как будто и нет. Настоящий художник не блуждает по зарослям и тропинкам «чистого искусства». Художник лишь тогда на верном пути, когда в орбиту своей художественной деятельности включает все главные вопросы человеческой жизни. А наших, которые с дубинками, предупредил: они ве-

дут антипартийную линию в литературе. Михаил Васильевич, — с жаром воскликнул Фурманов, — пора навести порядок в литературном руководстве, — честное слово, пора!

— Я слежу за борьбой в литературе. В классовом обществе — а у нас оно пока такое — не может быть нейтрального искусства, хотя природа художественного творчества выражается в более разнообразных и тонких формах, чем политика, — ответил Фрунзе. — Так вот, слежу и думаю: настала пора навести партийный порядок в вопросах искусства. Во имя нашего советского будущего нужна литература смелых дерзаний, ярких надежд, верящая в народ, в коммунистические идеалы...

Разговор на квартире Фрунзе не прошел бесследно.

В мартовский день двадцать пятого года состоялось совещание литературной комиссии при Центральном Комитете партии.

— Ассоциация пролетарских писателей и ее журнал «На литературном посту» проводят линию административного зажима и захвата литературы в свои руки путем наскоков. Эта политика неверна. Таким путем литературы не создашь. Наша критика должна бороться с контрреволюционными проявлениями в литературе, но быть терпимой к писателям, что идут с пролетариатом. Тон приказа, полуграмотное и самодовольное чванство нужно изгонять из литературной среды. Свободное соревнование разных группировок и течений в области литературной формы — дело само собой разумеющееся, — говорил в своем выступлении Фрунзе.

Мысли его нашли отражение в резолюции Центрального Комитета «О политике партии в области художественной литературы».

Фрунзе выступал перед выпускниками Высших военно-политических курсов. Во время речи острая боль исказила его лицо; побледневший, с широко открытыми глазами, он продолжал говорить, но словно в туман отодвинулись слушатели. Никто не заметил, как плохо ему в эти минуты.

Он с трудом доехал домой. Софья Алексеевна ахнула, увидев посеревшее лицо его, уложила в постель, вызвала врачей.

Врачи настояли на отдыхе, ему пришлось подчиниться. Вместе с женой и детьми он уехал в Крым. Солёный воздух моря, пряные запахи трав, покой и тишина временами помогали ему, но боли повторялись и он часто впадал в забытие. Очнувшись, спрашивал:

— Где мы? Что так ослепительно блещет в окнах?

— Это море, Зеленый Листок, — отвечала Софья Алексеевна.

Он приподнимал голову, вглядывался в морскую даль, переводил взор на берег, где, вскинув густые кроны, пошатывались от ветра кипарисы, и опять казалось ему: все кипарисы на морском берегу развертываются как зеленые знамена жизни.

За окном кровенели осенние клены, печально было в старом больничном парке, зябко засеивал землю дождь.

Михаил Фрунзе полулежал в кресле-качалке, испытывая неловкость от больничного халата. Белый покой палаты погружал в дремоту, но ум Фрунзе, привыкший к постоянной работе, сопротивлялся. Память тасовала годы, события, встречи, — они текли неосознано, бесконечно далекие и невозвратимые. Перед глазами проносились безмолвные конники, пролетали бесшумные тачанки, шли в атаку полки, поднимались и падали знамена. Вспоминались окровавленные уфимские степи, знойные пески Ферганской долины, гнилые воды Сиваша, разрушенные города, горящие села, бойцы с искаженными от гнева лицами, ликование народных собраний. Вспоминались и стихийные митинги, и речи, полные огня, и добровольцы, примыкавшие к регулярным войскам, и красные командиры, и белые генералы — храбрые защитники революции и заклятые ее враги.

Из глубин памяти возникали слова, фразы, изречения полководцев, политиков, поэтов, вызывая то радостное изумление, то невольный протест.

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой...» — это Гёте, могучий поэт. «Его крылатые строки всю жизнь были моим девизом», — благодарно подумал он.

«Мир устал от моих дел, я устал от моего безделья...» — вот слова, выразившие всю суть деятельности Наполеона, его так достойно начатой и так жалко оконченной жизни.

«Все средства хороши для достижения цели...» — так поучал когда-то своего князя Макиавелли, но мы отвергаем такой коварный совет. Подлые средства борьбы убивают не только идеи, но и саму революцию. Люди, следующие таким советам, становятся преступниками перед народом и историей.

Мысли его изменились. Он стал думать о самом важном и близком, чем жил в последние годы.

«Некстати я захворал, столько начатых дел пришлось отложить. Если будет новая война, то это будет война танков, самолетов, страшных сюрпризов техники. Тогда уже будет мало одной революционной сознательности и доблести: нужно техническое переоснащение армии. Это не фантазия, не праздная мечта, это — дело, не терпящее отлагательства. Спешить надо всегда сейчас и никогда потом», — повторил он любимый свой афоризм.

В такое время заболеть... Врачи настаивают на немедленной операции: язва желудка. «А не преувеличивается ли опасность? Я чувствую себя совсем хорошо, — возможно, врачи ошибаются».

Ложиться под нож хирурга нет желания: какое-то нехорошее предчувствие угнетает его. «Как жаль, что уехала Соня. Но нельзя было не отправить ее в туберкулезный санаторий. Бедная, она, наверно, умирает от страха за мою жизнь. Напишу ей успокоительное письмо».

Он стал искать бумагу и карандаш, перебирая на столе книги Клаузевица, маршала Фоша, дневники Наполеона.

Парк расплывался в мутной мгле, еле слышно постукивал в стекла дождь, неприятно стрекотала одинокая сорока.

Он писал: «Я чувствую себя абсолютно здоровым, и как-то смешно не только идти, но даже думать об операции». Он закончил письмо, запечатал конверт. «Едва ли мои слова успокоят Сонию, но пусть знает, что я не волнуюсь».

Осторожно скрипнула дверь, в палату вошел Иосиф Гамбург в белом халате внакидку.

— Как самочувствие, Михаил? — бодрым, но не совсем естественным голосом спросил Гамбург. — Вид у тебя хороший, операция не страшит?

— Я солгу, если отвечу «нет», — просто ответил он. — Вот что, Иосиф, прошу тебя, в случае неблагоприятного исхода обратиться к Центральному Комитету с просьбой: пусть похоронят меня в Шуе. Я люблю этот городок особой любовью и хотел бы лежать в его земле...

— К чему печальные мысли... Уверен, все будет чудесно...

— Ты обещаешь? — уже настойчиво спросил он.

— Обещаю, но...

— Еще прошу передать письмо Соне. — Он взял конверт, протянул Гамбургу. — Скажи — я помнил о ней, о детях до последней минуты.

— Нет, так нельзя. Если ты сомневаешься в исходе операции — откажись. Никто силой не заставит. Я пришел, чтобы развеселить тебя. Посмотри, что пишут о тебе англичане. — Гамбург вытащил из кармана английский журнал. — Вот, читай статью «Новый русский вождь».

Фрунзе пробежал глазами статью. Там было написано, что карьера Фрунзе обращает на себя внимание, что в нем течет кровь потомков древних римлян. Мать его — крестьянская девушка из Воронежа. В настоящее время Воронеж является городом, который дает имя области, граничащей с территорией донских казаков в Южной России, поэтому есть полная возможность предполагать, что в этой крестьянской девушке текла казачья кровь, а стало быть, в ней есть боевые качества. Соединение отдаленных римских предков с казачьей кровью очень легко может создать гения.

— Какой вздор! Сколько чепухи пишут люди... — Фрунзе отложил в сторону журнал.

— Да-с, крепко завинчено. Военная гениальность Фрунзе — результат слияния крови донской казачки с кровью римского цен-

туриона, — рассмеялся Гамбург, стараясь придать своему голосу беззаботность,

Дежурная сестра объявила, что время свидания истекло. Фрунзе обнял на прощание Гамбурга, поцеловал его в щеку.

— Крепись, Михаил. Я буду сразу же после операции.

Дождь прекратился, с кленов медленно осыпались листья, и все тона, все оттенки сквозили в листопаде. Ему пришло на ум: в горах Тянь-Шаня только начинается осень. Яблони отягощены плодами, и каждое яблоко словно маленькая красная планета. По горным склонам спускаются сады, звездные скопления висят над его детством в Пишпеке. Если пойти из Пишпека в горы, можно добраться до Иссык-Куля, но идти и долго, и тяжело, и опасно. «Путник, идущий над пропастями Тянь-Шаня, помни, ты лишь слеза на реснице».

Он с тоской смотрел на падающие листья. Подул ветерок, листья закружились сильнее, и вот уже листопад забушевал за большими окнами. Он взгляделся в оранжевое круженье, и вдруг из него проступили Небесные горы. Появились пики, ледники, пропасти; ширясь в размерах, росло горное озеро.

Над поверхностью озера летел орел. Летел над самой водой, едва шевеля крыльями. Время и бури сломили неукротимую волю, солнце погасло в зорких глазах

— Здравствуй, орел моей юности! Ты еще жив, дружище?

И почудилось ему — из сумеречной глубины гор сверкнула молния, орел метнулся ввысь, но, сложив крылья, рухнул в желтую мглу озера...

Революция подняла на высоты истории целый ряд выдающихся личностей. Их имена давно стали символом нашей революционной славы. У исторических личностей все значительно, все важно, даже промахи их, даже ошибки. Борьба за преобразование общества определяет значение выдающегося человека в истории, но для такой борьбы нужны ум, и талант, и энергия, и умение ориентироваться в сложных событиях жизни.

Иногда биография одного человека заключает в себе и мир, и время, в которое он жил.

Михаил Фрунзе принадлежит к таким людям.

Прямо или косвенно он участвовал во всех исторических событиях Великой Революции. Нескончаемой чередой накатывались на него военные грозы, он постоянно сражался с опаснейшими врагами Советов и не любил принижать силу и ум своих противников, — это означало бы принижение народной победы.

Народный герой — такое почетное звание было ему присвоено особым постановлением правительства и выгравировано на шашке с золотым эфесом, — он вышел из народа, жил для народа, побеждал во имя народа.

За каждым поступком Фрунзе стоит его сложный и одновременно цельный характер.

Вот он, двадцатилетний юноша, в камере смертников владимирского острога, дважды приговоренный к казни, изучает английский язык.

И он же, рискуя жизнью, бежит из пересыльной тюрьмы и опять начинает подпольную партийную работу.

И он же, выслеженный жандармами, бросает оружие, чтобы в перестрелке случайная пуля не попала в детей.

И приходит на собрание взбунтовавшихся командиров и подчиняет их своей воле.

На поле боя останавливает дрогнувших красноармейцев, и снова ведет в атаку, и побеждает противника.

И разоружает мародеров, ограбивших бедняка дехканина.

И один, преследуемый махновцами, отбивается от них в полтавской степи...

Революция дала ему чрезвычайную власть, но он больше миловал, чем казнил.

Он одержал много славных побед, не потерпев ни одного поражения, и даже враги признавали, что он великий полководец Русской Революции. Он был командармом, командующим фрон-

том, наркомом, председателем Реввоенсовета, но оставался скромным и доступным для всех.

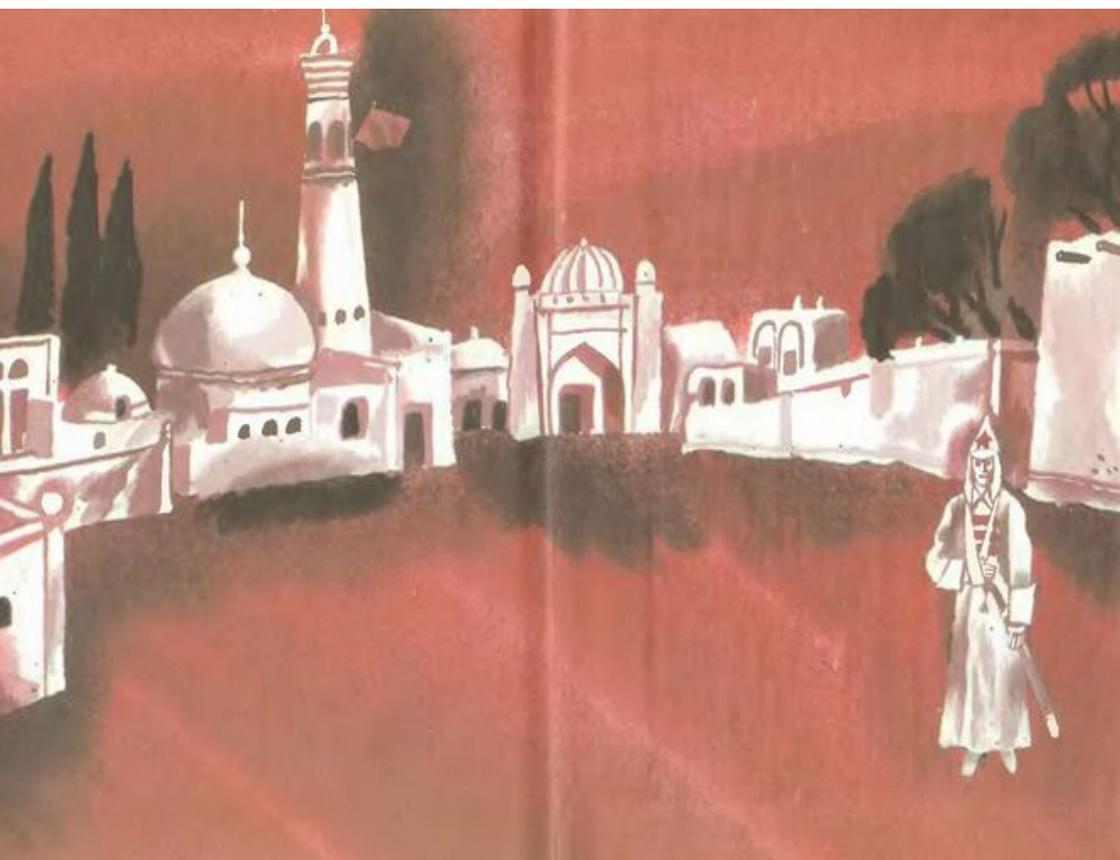
Он воспитал плеяду замечательных советских военачальников, под его водительством сражались Тухачевский, Уборевич, Блюхер, Буденный, Чапаев, Примаков, Корк. Невозможно, описывая его жизнь, умолчать о боевых соратниках или смертельных врагах его.

История — это прошлое, без которого немислимо настоящее. Корни будущего питаются соками минувшего. Невозможно наблюдать могучий поток истории, не зная его истоков, нельзя почувствовать силу и величие грозы, не замечая ее молний.

На все исторические события люди смотрят глазами того времени, в котором живут, вот почему и события и герои — современники новых поколений. Документы революции — вечные хранители правды, в них запечатлены и трагические мгновения, и звездные ее часы.

Герои революции уходят, но продолжают жить в памяти поколений.

Москва — Сугоново на Тарусе
1977—1979 гг.



Примечания

1

— Мы скажем: пора русским и немецким рабочим воткнуть штыки в землю. Нет смысла умирать за интересы толстосумов.

— Вы недурно говорите на языке Шиллера и Гёте. Где учились?

— На каторге, в Сибири...

2

Товарищи! Красные солдаты! (татар.).

3

Бедняк (каз.).

4

Манап — глава рода (каз.).

5

Ой, беда, беда! Помоги, красный молодец! (узб.)

6

Здесь — комиссар (тадж.).

7

Мир вашему дому! (тадж.)

Солдат (тадж.).